

В номере:
«Ход коня», «Тень»,
«Сумерки кумира»
рассказы Петра Муравьева
Марина Москвина
«Дни трепета». Роман

Зима
95

Виктор Дос
«Китайские страсти»

Вилли Чурклянд
Четыре новеллы

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ[©]

новым
годом!



ЭЛЬ ГРЕКО
«Погребение графа Оргаса» (Фрагмент)
(Смотрите нашу вставку)



Портрет дамы Дель Ермелино

ЭЛЬ ГРЕКО (1541—1614)

ЮНОСТЬ[©]



С. Красаускас. 1962 г.

Январь

(472)

1995

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Елена ДУБЧЕНКО
заместитель
главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
Николай НОВИКОВ
главный художник
Юрий ПЕТЕЛИН
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заместитель
главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ

Редакционный совет:
Геннадий ГОЛОВИН
Сергей ДЫШЕВ
Сергей ЕСИН
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР
Представитель журнала в Париже
Валерий ПРИЙМЕНКО

Центральный федеральный
бюджет
Издатель Р. М. Ленин



Петр МУРАВЬЕВ

Петр Александрович Муравьев — давний эмигрант, живет вдалеке от Родины, в контрастно-громыхающей Америке, но помнит о России, бережет ее язык, пишет рассказы, повести, пьесы, стихи, рисует. Лет ему уже немало, за плечами не только писательский труд, но и преподавательский — прядется живая нить, связующая поколения.

Рассказы его — традиционные для русской литературы, с крепкой сюжетной оснасткой, с философией, с психоанализом, но есть и знаменья новейшего времени, к счастью, плодотворные. Остается добавить лишь, что с сочинениями его друга Николая Ульянова, известного писателя, чьи романы «Атосса» и «Сириус» украсили страницы нашего журнала, читатели уже знакомы.

Рассказы

*** ХОД КОНЯ**

*** ТЕНЬ**

*** СУМЕРКИ КУМИРА**

ХОД КОНЯ

Я должен был сделать этот ход; выбора у меня не было. И не потому, что не знаю других ходов, — отлично знаю: и прямые, и вкось; длинные — через всю доску, и короткие — в одну клетку, что предоставлены маленьким воинам, устилающим своими трупами поле шахматного сражения.

Но все эти варианты не для меня; я подчинен иной закономерности: две клетки вперед, одна направо или налево и... стоп! — ни шагу дальше! Любое нарушение такой последовательности — намеренное или случайное — привело бы к анархии, а я уж не раз бывал свидетелем того, как династии и королевства рушились из-за анархии, хотя, пожалуй, не по одной этой причине. Вообще же, если начать серьезно размышлять об этом предмете, то увидим... Но — постойте! Куда это я понесся, словно позабыв, что длинноты губительны не только для сочинителя, но и для шахматного коня!

С этого, собственно, и следовало начать. Да, я шахматный конь — белый конь — так меня называют, хотя я не совсем белый, скорее желтый или кремовый — цвета кости, из которой я выточен. Возраст мой — почтенный, и имя знаменитого Каллипсо, из-под резца которого мы вышли, давно предано забвению. Но я его хорошо помню; когда, созданный из мертвой кости, я ожил в своем совершенстве, дотошный мастер еще немало меня помучил, ковыряясь у меня в глазу, вздыбливая гриву и придавая мне горделивую осанку.

Что я понимал? Мне казалось, что он жесток, и только со временем я оценил его вкус и старания. Помню, однажды какой-то бледный высокий человек, увидев меня, воскликнул:

— Какая восхитительная работа!

Такая оценка вызвала бы дрожь умиления у кого угодно. Но я лишь снисходительно улыбнулся: этот человек не знал, что я и раньше был таким! И мой добрый мастер тоже не подозревал, что я лишь ожил под его резцом. Смею ли я роптать на него за это?

Как видите, признание вырвалось у меня само собой; искренность нередко становится игрою случая. Впрочем, я и не думал прятаться за шахматной доской; я лишь опасался, что чрезмерные подробности усложнят ход повествования. Но раз так получилось, извольте, я расскажу все сначала.

Итак, я не всегда был шахматной фигурой; когда-то я был настоящим конем.

Первые проблески памяти относятся к тому времени, когда я веселым жеребенком носился с табуном по зеленым лугам Ломбардии. Мать моя была сухопарая и не очень красивая, и только ее тонкие ноги выдавали знатное происхождение. Отца я долгое время не знал, но однажды мать, остановившись, с дрожью в голосе сказала:

— Вот! Это — он! — и указала головой в сторону белого коня царственной осанки.

Я тотчас сообразил, в чем дело, и с веселым ржанием устремился к родителю. Но как только потерся мордой о его шею, он фыркнул и, ухватив меня зубами за загривок, основательно потрепал, а затем, забыв обо мне, погнался за красивой серой кобылицей.

Тогда я понял, почему у матери были такие грустные глаза.

Больше я о нем не вспоминал, или нет, раз-таки вспомнил — это когда мать как-то, насмешливо посмотрев на меня, сказала:

— Чего горбишься? Или хочешь, чтобы тебя отдали в цирк? — И в ее голосе послышалась затаенная гордость.

Но цирк меня не интересовал, волновало меня другое. В то время я был уже взрослым конем, и в одной упряжке с матерью таскал большую нарядную коляску, набитую веселыми бездельниками.

И вот, помнится, путь нам преградила странная процессия. Впереди медленно-медленно двигалась черная карета, влекомая шестериком удивительных лошадей. Да разве это были лошади?! Нет, это были какие-то высшие существа, строгие, торжественные, покрытые донизу тяжелой черной парчой, с золотой бахромой, с золотыми же кистями по краям, и еще какими-то чудесными узорами. Пышные султаны украшали их головы, а ниже, сквозь узкие прорезы, словно из другого мира, смотрели невидимые, но всевидящие глаза.

И как они ступали! Медленно, шаг за шагом, словно не шли, а двигались по воздуху, так что легкое цоканье копыт казалось неправдоподобным. Толпы народа с непокрытыми головами сопровождали карету.

— Это похороны! Видишь — гроб! — шепнула мать.

— А эти, — мотнул я головой в сторону шестерика, — кто они?

Мать снисходительно улыбнулась.

— Это самые обыкновенные лошади, основательно разряженные...

Дальше я не слушаю; я только подумал про себя, что женщины лишены воображения и многого не понимают. Вслух я ничего не сказал, да и мог ли я огорчить мою мать! — она тогда уже страдала одышкой.

Жизнь моя с тех пор превратилась в сладкий сон: день и ночь я грезил загадочными красавицами: я похудел и ослаб, и душистый овес, которым потчевал нас дюжий конюх, казался мне отрубями, что подмешивали к корму крестьяне.

Я был настолько увлечен мечтой, что и не заметил, как ушла моя добрая мать. Помню лишь, как сквозь сон, раннее хмурое утро; их было двое — конюх Марсель и еще кто-то — коренастый, в грязном кафтане, с круглой головой, спрятавшей промеж плеч. Вид у обоих был заговорщицкий; они пошептались и подошли к матери. Коренастый осмотрел ее, ощупал круп и сказал равнодушно:

— Да, этой пора! — и стал отвязывать повод.

По-видимому, мать что-то знала, чего не знал я. Вот она подняла голову и ткнулась мне мордой в шею.

— Прощай, сынок! Будь умницей! — шепнула она и понуро поплелась за коренастым. Больше я ее не видел.

Как я упомянул, я был молод и не ломал себе голову над загадками жизни. И уж совсем не думал о том, чтобы воспользоваться дельным советом и стать «умницей». Скорее наоборот, но вот об этом «наоборот» и пойдет дальше речь.

На другой день, когда меня вместе с пегим коньком впрягли в коляску, я знал, как поступлю.

Хозяева расселись по местам, как всегда нарядные и шумные; не хватало одного — младшего сына, блестящего гусара, приехавшего домой в отпуск. Но вот и он — в голубом мундире, с тяжелым, расшитым золотом, ментиком, перекинутым через плечо. Легко и свободно он вскочил на подножку и уселся возле матери.

Кучер тронул вожжами. Мой пегий товарищ, основательно застоявшийся в конюшне, бодро рванулся вперед... Тут и началось. Я резко сдержал рывок, так что коляска дрогнула, а затем медленно и торжественно, чуть выбрасывая одну ногу, потом другую, двинулся шагом. Все во мне замерло; какая-то незнакомая музыка властно заполнила пространство вокруг. Я шагал как во сне...

Но вот кожаный ремешок полоснул меня по крупу, и еще, затем больно, как укус шмеля, достал промеж глаз... Я мотнул головой, затем услышал шум — от удара — и, обернувшись, увидел, как с кучера слетела шапка. Гневный голос офицера прокричал:

— Болван! Разве можно бить такого коня!

Карета остановилась, и молодой красавец подбежал ко мне. Он ласково взял меня за морду:

— Не сердись, брат! Ну что поделаешь с этими олухами! — И стал растирать мне ушибленное место.

* * *

Положение мое чудесным образом изменилось. Из меня решили сделать верховую лошадь. Сам Жан — так звали гусара — занялся моим перевоспитанием. Сотрудничество наше было искренним и легким; я быстро научил его, как со мной обращаться, а он, гордый своим умением, как-то сказал матери: — Этот конь — клад! Он слушается каждого слова! — чем вызвал у меня улыбку.

Но сейчас нам было не до пустяков: в воздухе собиралась гроза! Судьбы королевства, в результате неоплатных долгов короля, принимали неожиданный оборот. Монарх наш проиграл соседу-императору не только замки и поместья с королевой в придачу, но еще и трех любовниц. Положение сложилось щекотливое и выход оставался один — война!

Народ обожал короля-рыцаря, и хоть по-прежнему отказывался платить подати, выставил внушительную армию из двух конных и трех пехотных полков.

В день Святого Стефана наше воинство вторглось во владения императора!

О, это было лихое время!

Сражения велись по всем правилам военного искусства, то есть, когда одна армия наступала, другая тотчас отступала, и наоборот. Поэтому жертв с обеих сторон было немного, и после самых жарких схваток, на поле битвы оставалось не более полдюжины отрубленных голов и столько же рук, да и эти печальные случаи происходили скорее по недоразумению:

Когда наши воины дочиста разграбили приграничные владения императора, а неприятель проделал то же у нас, патриотический пыл утих, и начались переговоры. Затем между сторонами был подписан мирный договор, по которому наш добрый монарх отдавал императору какой-то полуразвалившийся замок, золотую шкатулку, в которой драгоценные камни были ловко подменены безделушками, и одну из трех любовниц. Правда, в последнем пункте тоже не

обошлось без подвоха, но император ничего не заметил — к тому времени он был очень стар.

Последовали пышные празднества, пиры, награды. Они вконец истощили королевскую казну, и взоры нашего монарха, по тем временам неплохо разбиравшегося в экономических вопросах, обратились к западным границам. Вскоре наша армия, не слишком обремененная обозами — ростовщики королю больше не доверяли, — двинулась на соседнее королевство.

Через несколько дней мы повстречались нос к носу с противником.

Не знаю, как описали это сражение историки, но по моему скромному разумению, нас раскатали в пух и прах.

Уже в начале битвы пали наши знамена, были убиты барабанщик и трубач, а наш полководец, с рассеченной головой, выпал из седла и, сжимая в руке саблю, неподвижно лежал на траве, среди танцующих коней и мечущихся пехотинцев.

Мой славный Жан показал чудеса отваги: он отбивался от наседавшего врага, и его сабля нанесла немалый урон неприятелю. Мы с ним слились в одно, и это одно вертелось волчком, кидалось вперед и отскакивало, повсюду оставляя трупы и вызывая смятение.

Но вот перед нами возник вражеский стрелок; черное дуло мушкета почти уперлось в грудь моему господину. Я знал, чувствовал, что он ничего не заметил, — да и до того ли ему было — в тот самый момент он рубил наскочившего на него с пикой драгуна. Я заржал и поднялся на дыбы; мушкет метнулся выше, раздался выстрел, что-то заклокотало в горле, ноги стали расходитьсЯ, и я, охваченный одной лишь тревогой — как бы не рухнуть на всадника, — стал медленно оседать.

Потом ничего не было, была пустота, но так как пустота не может длиться вечно, я снова открыл глаза и увидел, далеко внизу, поле сражения. Убитых и раненых уже унесли, и только трупы лошадей — их было немного — лежали там и сям.

— Ничего, старина, вот мы и опять вместе! — услышал я голос господина. Его колени подбадривающе сдвинули мне бока, а рука ласково трепала по загривку. — Едем, брат, путь далек! — добавил он.

Значит, все хорошо?! От радости я хотел было заржать, когда, глянув вниз, увидел нечто страшное: на примятой траве, с раздутым животом и широко раскинутыми ногами, лежал белый конь; шея его была покрыта запекшейся кровью.

Черные вороны, неуклюже копошась, что-то клевали у него на голове. Вот они недовольно закаркали и, оторвавшись от темных впадин глаз, тяжело взлетели и опустились на ветку дуба. А из кустов вынырнули два тупомордых волка и, не спеша, с зловеющей осторожностью стали приближаться к трупу.

Так вот оно что, вот где я!.. И Жан тоже... Мой прыжок не уберег его!.. Забыть, поскорей забыть! — торопил я себя, не подозревая, какой ценой дается забвение...

* * *

Но вот я опять очнулся. Это было странное ощущение, потому что я был другим. Ног не было, я

был неподвижен и нем, хотя видел и слышал. Я стоял на большом рабочем столе, окруженный причудливыми белыми фигурами. Поодаль расположилась другая группа, очень похожая на нас, но черная. Я тотчас почувствовал, что между сторонами залегла скрытая вражда. Но рассмотреть тех и других мне не удавалось — мешало что-то в правом глазу.

И только я об этом подумал, как сухая рука схватила меня и подняла в воздух.

— Что брат, свербит в глазу? — услышал я насмешливый, но не без приятности голос. — Сейчас мы тебя подправим!

Пораженный и обрадованный тем, что могу передавать мысли, я беззвучно заржал, но в следующий момент пожалел о своем даре. Острый резец впился мне в глаз и, причиняя нестерпимую боль, сталковыряться там, что-то выцарапывая.

Хоть ног у меня не было, мне все ж, видимо, удалось побрыкаться, иначе зачем бы мой мучитель приговаривал:

— Потерпи, браток, сейчас закончим!

Он закончил, и я ясно увидел его. Это был человек немолодой, с румяными щеками, из которых торчали рыжеватые пакли бакенбардов. Брови были густы и свисали, закрывая глаза. Зато растительность на голове была жидкой и украшала лишь часть черепа, больше по сторонам. Вообще же, по виду, моего мастера можно было бы принять за пирожника или корчмаря, если бы не блестящие глаза, в которых дрожали мятежные искры.

Я мельком оглянулся по сторонам и заметил расставленные вдоль стен глиняные и мраморные скульптуры; другие, видимо, неоконченные, стояли на соседнем столе...

— А, здравствуйте, Николо! — с этими словами мой хозяин повернулся навстречу входившему в мастерскую человеку, еще молодому, высокому и щегольски одетому.

— Здравствуйте, Калипсо! — ответил тот. — Что это вы, все шахматами заняты?

Мастер развел руками:

— Что делать! Жить нужно!

— А ваши скульптуры?

— Бросьте, Николо! Вы же знаете, что на мои работы покупателя нынче нет. Сейчас вы у нас законодатель; вы и еще этот, Скарцел.

— Но я слышал, что вы вылепили отличную статую Сильвии?

— Пустое, уверяю вас! Присядьте, а я принесу вина. Вчера привезли бочонок с Сицилии. — С этими словами хозяин оставил гостя и вышел из мастерской.

Тот оглянулся вокруг и, заметив в углу нечто покрытое холстом, быстро подошел и сдернул покров.

Взору моему представилась статуя девушки. Признаться, я куда лучше разбираюсь в лошадях, особенно молодых кобылицах, но научился ценить и красоту человеческого тела, потому что красивое, по моему, встречается повсюду среди обилия форм, созданных природой. Так вот, мне сразу почудилось, что открывшаяся моему взору статуя удивительно хороша: волнующая нежность сквозила в каждой линии тела; голова чуть склонилась вниз, а на лице, задумчивом и непорочном, лежала мечта, прекрасная в своей недосказанности.

Я перевел взгляд на гостя; в его поведении было что-то странное. С минуту он неподвижно стоял, словно ослепленный, потом отступил на шаг, другой, и вдруг вынул платок и стал вытирать лоб, хотя в помещении не было жарко. Приглядевшись, я заметил, что он бледен. Губы его что-то беззвучно шептали. Вот он повернулся и, странно поникший, пошел к выходу. В дверях столкнулся с мастером, который нес полный ковш.

— Куда это вы? — удивился тот. — Сейчас будем пить молодое киянти! — Он взял гостя под локоть, но тот, не отвечая, рванулся и выскочил за дверь.

Мастер пожал плечами и направился к столу. Заметив открытую статую, остановился, что-то соображая. Затем подошел к нам и уселся. По тому, как рассеянно он наполнял кружку, я понял, что он о чем-то усиленно думает. Вот взгляд его остановился на мне, черты его лица потептели, он отхлебнул из кружки и протянул ко мне руку.

— Хорош конь, хорош! — бормотал он, вращая меня и оглядывая со всех сторон. — Небось, Николо такого не вырежет!

Онпил много и долго, и скрытая горечь проступала в его чертах.

Но вот он поднялся из-за стола, и я увидел в лице у него что-то мятежное. Он подошел к статуе и, схватив с полки деревянный молоток, замахнулся... Я в ужасе зажмурился и только слышал глухие удары и еще мелкий стук от разлетающихся по мастерской глиняных осколков. Когда я снова открыл глаза, мастер сидел перед нами, упершись подбородком в руки. Глаза его покраснели, и из них текли пьяные слезы.

Наутро, отряхнувшись от впечатлений вечера, я осматрелся и стал знакомиться с соседями. Одного я узнал сразу — это был конь, такой же как я, но в чем-то отличный: у него не было прошлого. Несмотря на это он был хвастлив и разговорчив. Для начала он спросил:

— Ты видел вчера этого старика, — он имел в виду мастера, — он взбалмошен и пьяница!

Возмущенный, я не ответил и повернулся к другой фигуре. Это оказался офицер; своей осанкой он напоминал мне Жана.

— А кто те двое? — спросил я, смутно угадывая в головных уборах фигур что-то знакомое.

— Это король и королева.

— Они и раньше были?

— Нет, они только что созданы, но это не мешает им требовать для себя царских почестей.

— Значит, все как и там?

— Совершенно верно! — И офицер вытянулся в струнку, почувствовав на себе взгляд монарха.

— А эти маленькие? — продолжал допытываться я.

— Эти... что ж, эти, известно — простой народ — солдаты! — Офицер оглянулся и шепотом добавил: — С ними нам не следует якшаться!

— Значит, совсем, как... — начал было я, но тут же сообразил, что повторяюсь, и потому спросил: — А зачем мы, собственно, здесь?

— Чтобы защищать его величество! Видишь тех, черных?

— Как же, один из них только что показал мне язык.

— Вот-вот, вскоре мы их основательно поколотим.

— А где мы будем драться?
— Узнаешь, а сейчас молчи! Его величество сегодня в плохом настроении.

* * *

Ждать пришлось недолго; уже на следующий день к мастеру зашел приятель, и они уселись за доску. Поначалу я не мог понять, насколько все это серьезно, но вскоре убедился, что дело это нешуточное. Слишком дерзко вели себя черные, опасность нависала то здесь, то там, и наш король, бледный и растерянный, уже дважды искал спасения за спиной у туры. Привыкнув к тому, что исход сражения решается не полководцами, а историками, я мало интересовался результатами битвы и больше был захвачен ее процессом. Я тут же выяснил, что успех зависит не только от игроков, но и от нас самих. Поэтому, когда мне удалось лихим наскоком снять вражескую королеву, я не без основания приписал удачу себе. Под конец я так разгорячился, что решил снять и черного короля — деваться ему все равно было некуда — но, взглянув на его посеревшее от ужаса лицо, раздумал и предоставил мастеру принять почетную капитуляцию.

Когда игроки покинули мастерскую, из лагеря неприятеля послышалась брань. Это королева отчитывала своего короля за глупость, а воинов — за малодушие.

* * *

Через неделю мастер изменил нам: он продал обе армии богатому купцу. Совершенно непонятно — зачем мы тому понадобились! Шахматное искусство не процветало в его доме, и мы подолгу стояли без дела, переругиваясь с противником и накапливая новые обиды. Изредка нас беспокоили дети, по-видимому, принявшие нас за кегли, и белые деревянные шары с треском сбивали нас с ног. Больше всего приходилось на долю королей и королев; сперва нас это коробило, но потом мы привыкли, и даже радовались, что достается не нам.

Такое неопределенное состояние длилось недолго. Вскоре корабль нашего хозяина был захвачен пиратами, дела его пошатнулись, и дом со всею утварью был продан с молотка.

В дальнейшем судьба наша складывалась сумбурно. Мы переезжали с места на место, меняли кров и хозяев, обленились, и наш воинственный пыл сменился расслабленным добродушием, не побуждающим воинов.

Потом наступила длительная темь, и нашу шкатулку, в которой была заключена судьба двух враждующих королевств, швыряло, как швыряет ореховую скорлупу по волнам океана. Впрочем, это, кажется, и был океан, потому что многих, включая королеву, мutilов, король лежал бездыханный и бредил лимонным соком, а маленький пехотинец — самый скромный и законопослушный, вообразил, что он в таверне и, пьяно икая, подпевал:

Шестнадцать человек на ящике с мертвецом;
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

На него шикали, но безуспешно.

* * *

Очнулись мы среди успокоительной прохлады,

заполнившей большое красивое помещение — должно быть, лавку. Кругом было великое обилие предметов — своеобразных и ценных. По стенам были развешены картины, а на столах, полках и на полу стояли статуи, лежали пестрые ковры. В стеклянных ящиках, переливаясь цветами радуги, сверкали драгоценные камни, блестели золотые кольца, браслеты и цепи.

В знатную компанию попали мы!

В помещение входили нарядные кавалеры и дамы и, не торгуясь, покупали все, что им нравилось. День был погожий, и солнечные лучи, проскальзывая между занавесками, придавали помещению фантастический блеск.

Вскоре в дверях появился пышно одетый человек в сопровождении еще двоих. Они долго расхаживали меж столов и полок. Неожиданно остановились перед нашей доской. И опять я услышал знакомый возглас:

— Какая чудесная работа!

Оба монарха зажмурились от удовольствия, а их супруги кокетливо поджали губки. Но человек, игнорируя их, протянул руку ко мне.

— Изумительно, просто изумительно! — бормотал он, осматривая меня со всех сторон. — Ба! Да это работа славного Калипсо! — прибавил он, заметив мелкую надпись на моем подножии. Он обернулся к своим спутникам и что-то им сказал.

Вернувшись на место, я был ошарашен холодным приемом со стороны своих же соратников: многие смотрели на меня косо, королева дулась, а король, фыркнув, обратился ко мне:

— Белый конь, почему у вас в гриве репейник?!

Надо же додуматься! — Ну какой может быть репейник у шахматного коня? Я хотел было ответить резкостью, но в это время с противоположной стороны доски донеслось:

— Выскочка!

Голос был женский, и я тотчас его узнал, а потому не удивился. Черная королева мне и раньше казалась несколько вульгарной.

* * *

Очередное путешествие не было долгим, и вскоре мы снова вылезли на свет и осмотрелись. Нет, такого нам еще не доводилось видеть! Это был настоящий дворец, с колоннами, гобеленами, богатой росписью стен. Высокие золоченые кресла, украшенные слоновой костью, стояли вокруг тяжелого стола; другие, поменьше, окружали маленькие столики, отделанные по краям черпаховой броней. Статуям и вазам не было числа.

Мы стояли, ошеломленные роскошью, а наш король, растроганный, обратился к нам с короткой прочувствованной речью:

— Достойна похвалы заботливость тех, кто приготовил нам, — он имел в виду собственную персону, — подобающее нашему высокому званию помещение. Надеемся, что оказанный нам почет укрепит вас в чувствах преданности скипетру и короне... — Он запнулся и бросил недовольный взгляд в сторону черного короля, который, обратившись к своим подданным, слово за словом повторял речь нашего монарха.

Но до ссоры не дошло, потому что послышался шум, двери раскрылись, и в зал вошел полный, приятной внешности человек в красной мантии и зо-

лотой короне, надетой поверх белокурого парика.

Сомнений быть не могло — это был король. Рядом с ним, чуть отставая, шла молодая женщина с красивым светлым лицом.

Король взял ее под руку и подвел к шахматной доске.

— Посмотри, Мэри, что я получил!

Красавица всплеснула руками:

— Какая прелесть!

Они тут же уселись за доску. Уже через полдюжины ходов выяснилось, что оба играют прескверно. Мы буквально сбились с ног, стараясь выправить что можно, но наши тревожные сигналы не доходили до игроков. Одновременно по несколько фигур находились под ударом, короли охрипли от команд, пехота с обеих сторон была перебита, и вообще на доске творилось что-то невообразимое.

— Шах и мат! — вдруг воскликнула Мэри и передвинула фигуру на доске, но, заметив растерянность короля, добавила: — И какой же вы хитрец! Ведь я отлично видела, что последние ходы вы сделали для моего спасения.

По-видимому, король был удовлетворен таким оборотом дела.

— Ну, вот, всегда что-нибудь выдумаетесь! — сказал он с деланным смущением и притянул к себе юную фаворитку.

* * *

Как-то во время очередной партии в зал вошел человек и почтительно замер в отдалении. Король недовольно поднял голову от доски.

— Что там еще?

— Ваше величество, в стране беспокойно! — отвечал вошедший, но король прервал его:

— Опять вы за свое! Вы плохо знаете моих подданных — они любят меня.

— Но, ваше величество...

— Никаких «но»! И не беспокойте меня; вы видите — я отдыхаю!

Подобные сцены стали повторяться чаще. А однажды мы услышали глухой нарастающий гул, доносившийся с улицы. Теперь мы стояли у окна, куда перенесли наш столик, и отлично видели происходящее на улице. Толпы народа собирались на площади, что-то кричали, чего-то требовали. Более дерзкие подбегали к дворцовой изгороди и, глядя на окна, показывали кулаки. Двое вскочили на изгородь, но их оттуда сбили стражники.

Покричав, народ разошелся, но на другой день все повторилось, только толпа была многочисленней. Король, не закончив партии, ходил по залу расстроенный. Мне было жаль его; я понимал, что искусство управления подданными дается ему так же плохо, как и искусство шахматной игры.

И так изо дня в день. Постепенно брожение в стране стало сказываться и на нас; что-то тревожное поселилось между нами. Помню, как один из пехотинцев, самый строптивый, в разгар сражения повернулся к соседу и сказал:

— Все эти войны — войны между монархами. — И так как никто не остановил наглеца, он мечтательно добавил: — Погодите, буржуи!

Я заметил, что наш монарх побледнел; с тех пор мы старались не отлучаться от него, и это, естественно, нарушало ход игры.

Но вот наступил страшный день: какие-то гряз-

ные, грубые люди ворвались во дворец и увезли короля — прямо от шахматной доски. Вожак, красномордый парень, подошел к нам и, окинув быстрым взглядом поле сражения, коротко обронил:

— Ну и дураки! — Я так и не понял, к кому это относилось. Он принялся расставлять фигуры таким образом, чтобы с одной стороны оказались пешки обеих армий, с другой — фигуры, тоже обеих цветов. Недоброе предчувствие шевельнулось во мне. Я взглянул на наших монархов — они стояли рядом — и прочел на их лицах обреченность.

Расставив столь нелепо фигуры, красномордый позвал товарища.

— А ну, давай! — сказал он с ухмылкой. — Сыграем-ка партию! — и уселся со стороны пешек. Другой сел напротив.

Нет, никогда еще этот благородный поединок не был подвергнут такой чудовищной профанации, как в руках этих варваров. Чего они не вытворяли, каких коленец не выкидывали! Пешки шли на нас сплошным строем и на лицах у них проступала бессмысленная жестокость. Правила игры не соблюдались; каждая жертва в наших рядах вызвала дурацкий смех новых хозяев. Вот очередь дошла до черного короля — он был сбит своим же пехотинцем и с треском полетел на мраморные плиты; кусок короны откололся, и монарх, опозоренный, лежал лицом вниз на полу.

Нас оставалось немного, когда я увидел белого пехотинца-смутьяна, подступавшего к нашему королю. Я изловчился, вывернулся в мозолистой лапе моего командира и, прыгнув наискосок, сбил с ног нахала.

Красномордый удивленно поднял голову:

— Ты что это... против народа? — спросил он товарища, нехорошо ослабев.

Но тот и сам был смущен неожиданным оборотом.

— Черт! Я... не знаю, как это вышло, — забормотал он.

— Не знаешь? А ход откуда знаешь? Небось с буржуями якшался, а?

— Ничего не якшался. Я...

— Ладно, расскажешь кому нужно, идем! — Вожак грузно поднялся из-за стола и, подталкивая незадачливого партнера, тронулся было к двери, когда что-то вспомнил; вернулся и сильно, наотмашь ударил лапой по струдившимся возле короля фигурам.

— У, сволочи! — бормотал он, злорадно наблюдая, как мы беспорядочно запрыгали по полу. В тот же момент я больно ударился головой о мраморную колонну и потерял сознание.

Пришел я в себя от прикосновения теплых ладоней: старик камердинер при свете свечи ползал на коленях, заботливо собирая в шкатулку разбросанные на полу фигуры. Видно, он был неравнодушен к лошадам, потому что отставил наш четверик в сторону и, прежде чем опустить крышку, добродушно прощался:

— Не тужите, братки, придет и ваше время!

* * *

Сбылось пророчество старого слуги, хотя ждать этого дня пришлось долго, ах, как долго! Был длинный сон, странное состояние — что-то среднее

между летаргией и бесцветным прозябанием, когда жизнь — или то, что откликается на жизнь, — дает себя чувствовать лишь внешне, не затрагивая сознания и не оставляя воспоминаний. Как долго это длилось? Не знаю, и никто не знает, а если и думает, что знает, то потому лишь, что не сознает, что нет у времени ни начала, ни конца, и скрытый ход событий не подчинен никаким часовым механизмам.

А ведь это любопытно! Откуда пришли ко мне эти мысли? Не помню, чтобы мне доводилось размышлять об этом предмете раньше. Или, может быть?.. Полно, кому интересны философские отвлечения шахматного коня, да еще такого, у которого в гриве запутался репейник?!

Шутиливое воспоминание вернуло меня к действительности. Я осмотрел себя, но никаких изъянов не заметил. Вот только уши — они у меня тонкие, с острыми краями... Но нет, и с ушами все в порядке. Осмотрелся кругом: фигуры стояли на местах, потягиваясь и разминаясь. А это что за чучело? Вместо знакомого пехотинца-бунтаря я увидел жалкую фигурку — явную подделку самой недоброкачественной работы. И еще что-то: откуда-то доносился противный запах клея! Что бы это могло быть? И только я об этом подумал, как услышал крик, а затем тяжеловесную брань. Это его величество ругал какого-то сапожника, который... Я взглянул на моего короля и едва сдержал улыбку: аляповато склеенный из трех кусков, с проступающим из трещин клеем, он выглядел кособоким и жалким. Нет, что-то изменилось, и не к лучшему! Раньше сапожники шили сапоги, но чтоб сапожники лечили королей!..

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я стал осматриваться. Это была антикварная лавка, но поскромней; и соседи были публика незначная: какой-то мужик, вылепленный из глины, раскрашенный как праздничный пряник, плохонькая статуя из дутой бронзы, надломленный подсвечник и две грубые вазы — для тех, кто не умеет отличать стекла от хрусталя, ну и тому подобная дешевка — как мало напоминало это былую роскошь! На полках лежала пыль, она покрывала нашу доску да и нас самих — видно, спрос на этот товар был невелик и вещи застаивались здесь подолгу.

Вошедшая женщина с девочкой рассматривала фиолетовую вазу; старик хозяин — я только сейчас его заметил — маленький, сухой и горбатый — что-то блял и непрестанно дергал головой. Летали мухи, а бурый таракан бодро перебежал доску и обнюхивал черную туру.

Новая жизнь не приносила ярких впечатлений. Мы маялись от скуки, переговариваясь между собой, вяло переругивались с противником; офицер скучно и монотонно муштровал новобранца. Дважды к нам приценивались покупатели, но сделка не состоялась: хозяин был зажимист и упрям.

Прошло много дней, когда однажды, под вечер, в лавку зашел человек. Был он высок, статен и отлично одет. Последнее обстоятельство заставило хозяина прервать погоню за тараканом; он подбежал к посетителю.

— Чем могу служить? — начал он подобострастно, но человек отстранил его движением руки и не спеша проследовал вдоль полок, рассеянно рассматривая незамысловатый товар.

Чем ближе он подходил, тем больше мне нравился. В осанке, в посадке головы, в движениях незнакомца было что-то открытое и благородное. Вот уж он совсем близко; я видел его лицо, несколько бледное, не слишком молодое, но и не старое — лет тридцати пяти. В выражении его было что-то мечтательное, свойственное людям, чей внутренний мир никогда полностью не совпадает с внешним.

О последнем говорили и глаза: светлые, посаженные глубоко, они производили впечатление загадочной полупрозрачности, за которой таилась волнующая жизнь, быть может, страсть. Мне сразу подумалось, что это художник, поэт или музыкант.

Увидев нас, незнакомец остановился и снял ближайшую фигуру, потом другую. На лице у него появилось удивление.

— Откуда это у вас? — спросил он хозяина. Тот сразу насторожился.

— Это — старинной работы. Не правда ли, хороши?

— Хороши! Сколько вы за них хотите?

Ах, этот старый мошенник! Он назвал цифру вдвое против того, что просил на прошлой неделе! Но покупателя это не смутило; он достал бумажник и отсчитал деньги.

— Пришлите их мне с посыльным завтра! — коротко сказал он и положил сверх банкнот визитную карточку.

Наше новое жилище хоть и не отличалось роскошью, было обставлено не без изысканности. Это была гостиная в небольшой квартире. Все здесь — мебель, ковры, картины — было подобрано со вкусом и создавало какой-то задумчивый уют.

Поначалу все складывалось беспорядочно: исчезли оба короля и новоиспеченный пехотинец, пропала доска, и мы стояли прямо на полке, испытывая растерянность.

Впервые я ощутил привязанность к королю: как-никак, правитель он был добрый, и если подчас излишне полагался на свое красноречие, то греха в том не было. А репейник я ему давно простил.

Поэтому я был искренне обрадован, когда дня через четыре он вернулся. Его было не узнать: от трещин и следа не осталось, ушел запах клея, и вообще он выглядел молодцом. Вернулся и черный король в искусно починенной короне, появился пропавший пехотинец — теперь он ничем не отличался от других. Вместе с ними королевствам были возвращены их владения; мы стояли на тщательно отполированной доске с привычными белыми и черными квадратиками.

В тот вечер мы заснули, убаюканные затянувшейся тронной речью нашего монарха; он не мог уступить в этом своему коронованному собрату.

Утром произошло удивительное: хозяин расставил нас на доске и, достав с полки книгу, уселся играть — сам с собой! Правда, ходы он вычитывал из книги — это я тут же сообразил, но все же это было странно, да и, пожалуй, обидно, потому что такого рода игра не представляла нам свободы. Вскоре, однако, я почувствовал, что скрывавшиеся в книге игроки понимали толк в шахматах; некоторые ходы мне весьма понравились, другие — озадачили. Оказалось, это — целая наука, сложная и многообразная. Мой бедный король! Он не был

рожден полководцем, и теперь смущенно сопел, стараясь скрыть свой конфуз.

Я был посмышленнее и вскоре научился угадывать ходы; когда вражеская пешка подступила ко мне, я и бровью не повел, несмотря на панические сигналы монарха. Я знал, что снять меня решится только простак, а кто станет учиться у простаков? Хотя, впрочем, бывает, что и учатся.

Наш хозяин разыгрывал партию за партией. Он ничего не ел, только пил крепкий кофе.

Уже под вечер зашел человек, полный и жизнерадостный. Усевшись в кресло напротив, он глянул на доску и весело спросил:

— Ну, как, гроссмейстер, готовитесь?

Так вот к кому мы попали! Гроссмейстер! Неожиданное открытие захватило меня врасплох, да и не одного меня: их величества тоже стояли с раскрытыми ртами.

Хозяин кивнул, а гость полюбопытствовал:

— Чью партию разыгрываете?

Хозяин назвал имена, потом, помолчав, добавил:

— Мне в этой партии не даст покоя один ход.

— Какой?

— Ход белого коня, смотрите! — Он передвинул ряд фигур на доске. — Вот этот! — с этими словами он медленно переставил меня.

Гость внимательно посмотрел на доску.

— Помню, как же! Это был отважный, но гибельный ход! Вскоре после него белые капитулировали.

Хозяин улыбнулся.

— Это еще вопрос. Тут не все ясно.

— Что вы, Гарс, это доказано!

...Итак, его звали Гарс. Славное имя! Да и сам он славный; я тут же подумал, что, наверное, люблю его. Вот он говорит:

— Этот ход, Вальдо, не просто отважен, он красив и загадочен. Обратите внимание, какое напряжение создается на доске!

— Что толку, если конь нейтрализован?

Но Гарс словно не расслышал реплики. Он сказал задумчиво:

— Прекрасное должно быть совершенным. Нужно только проникнуться этим сознанием; тогда придет ясность, понимаете?

Вальдо рассмеялся.

— Вы фантазер, Гарс! Надеюсь, вам не придется делать этот ход завтра.

— Ладно! — Гарс примирительно улыбнулся. — Идемте-ка ужинать! — Он поднялся, вышел в спальню и через минуту вернулся в пиджаке и галстуке.

В ту ночь я не сомкнул глаз. Услышанное не выходило из головы. «Прекрасное должно быть совершенным!» Над этим стоило поразмыслить. И еще этот загадочный ход — мой ход! Сознаюсь: честолюбие мне не чуждо — так ли это страшно?! Да и кто доказал, кто осмелился утверждать, что за честолюбием не скрывается подчас более сложный механизм, направляющий творчество?!

На другой день мы узнали ряд интересных подробностей: Гарс участвовал в турнире на мировой чемпионат! Положение его блестяще, и он вышел в финал турнира.

И еще что-то: когда вечером к Гарсу зашли друзья, с ними появилась и «она». Что это была именно «она», об этом красноречиво говорили



Рисунки Дмитрия Преображенского

взгляды, которыми они с Гарсом обменялись. Звали ее Веста, была она высока — под стать хозяину — и ослепительно красива. Именно эта ослепительность и помешала мне изучить в подробностях черты. Одно лишь я успел подметить: выражение ее лица часто менялось, и за внешним, кажущимся вдохновением неожиданно проступало что-то плотоядное.

Вечером, когда они с Гарсом остались наедине, он сказал:

— Ты должна быть моей, Веста!

А она, мягко уклонившись от его объятий, ответила:

— Об этом — когда окончится турнир!

Он встал не без досады и прошелся по комнате. Потом остановился и спросил с легкой иронией:

— Это что — условие?

Она не ответила, поднялась и сняла с кресла свой плащ.

— Ты меня проводишь, Гарс?

Состязания продолжались ежедневно, и к списку побед моего хозяина прибавились новые. Дважды он брал нас с собой, и мы сражались в настоящем международном матче.

Должен сказать, что в обеих партиях Гарс показал себя с самой блестящей стороны. Как красиво он играл! Некоторые его ходы вызывали в зале шепот восхищения. Он сознательно отказывался от избитых проторенных путей и, движимый вдохновением, шел особой дорогой. Как любил я его в эти моменты! Он сидел, бледный и строгий, и его глаза, как два бездонных озера притягивали меня.

Дома он подолгу корпел над доской, упорно изучая странный ход коня. Мы уже разыграли немало вариантов, но появлялись новые. Иногда Гарс устало поднимался и нервно ходил взад и вперед, или брал на руку пиджак и уходил из дому.

По вечерам он с нетерпением ждал прихода гостей, чаще — напрасно. Когда она приходила, он нервничал и осыпал ее упреками.

— Я не могу без тебя жить, Веста! Ты должна стать моей! — говорил он просительно и нетерпеливо.

А она отвечала:

— Еще недолго ждать, Гарс! Потерпи! — И загадочно улыбалась.

После таких разговоров он мрачнел, движения его становились беспокойными, речь — прерывистой. Вдохновение покидало его и последующие победы давались с трудом и не отличались яркостью. Он мучительно переживал упадок сил и, стараясь его преодолеть, истязал себя ночными бдениями над шахматной доской.

Время шло, приближался решающий день.

Несмотря на недомогание, Гарс добился еще нескольких побед, и хотя последние две партии сыграл «вничью», вышел благополучно к завершительному матчу.

В последние дни он был сам не свой: поднимался засветло и, усевшись за доску, разбирал все новые комбинации.

Вечером, накануне матча, он уснул за доской. Я остался стоять и еще долго обдумывал дальнейшие ходы, но безрезультатно; мешал неприятный холодок, исходивший от двух вражеских фигур, придвинувшихся ко мне вплотную. Вреда они мне принести не могли, а все же...

Наконец я тоже заснул, вернее, провалился в хаос смутных воспоминаний. Здесь было все: и вздутый живот мертвого коня, и вороны, копошащиеся у него на голове, последние звуки трубы, взметнувшийся вверх темный ствол мушкета, и выстрел — последнее, что я запомнил, потому что потом... Или нет, не последнее; еще вспомнилось, как ноги моего господина сдавили мне бока и звон его клинка прыгал как искра в наступившем мраке. Или мне это только снится? Жан жив, он еще отбивается, это не мой прыжок привел к его гибели! Мой ход был верен, другого не было, а вот он не уберется! Значит...

Я открыл глаза: Гарс беспокойно спал в кресле. Что ему снилось? Наверное, Веста! Фигуры на доске застыли в глубоком сне. Таким же покоем были охвачены те, что выбыли из строя; один из них — белый офицер, чем-то напоминавший Жана. Он был сбит вражеским конем, и никто не поддержал его. Да и откуда могла прийти помощь? Королева? Она была занята охраной супруга! Тура? Как же! Ведь это она и спровоцировала его на гибельный ход, чтобы улучшить свое положение. Женщины от природы тщеславны, и наша тура уступает в этом только черной туре — длинноносой старухе с злыми бегающими глазами. О, ее стоит послушать: она никому не даст открыть рта и всех обрывает криком: «Подождите!», а как заговорит, так только и слышишь, что белое есть белое, а черное — черное. Это потому, что ее кругозор ограничен шахматной доской.

Вот еще второй конь — он мог бы угрожать левому флангу черных, и тогда... Впрочем, на плохого коня неразумно делать ставку; к тому же он поэт и вечно занят подбором рифм. На днях он сотворил такое:

Мчатся кони, быстры кони!

Мчатся, гривы раздракони!

Затем, соблазнившись экзотикой, переделал двустиише:

Мчатся кони, борзы кони, —

Зебры, лошади и пони! —

и тому подобное — все больше о лошадях. Нет, пусть уж стоит себе на месте!

Остается пешка — о ней как будто позабыли. А она могла бы прийти на помощь офицеру, и тогда черный конь не снял бы его. Правда, дальше не все ясно, потому что вражеская королева может устремиться в образовавшийся прорыв. Или нет, не может, потому что... Шаг за шагом разыгрывал я — в воображении новые варианты, устраняя нескончаемые трудности и преграды.

Уже светало, когда я благополучно разрешил последнюю комбинацию — самую трудную! Я понял — это пришло неожиданно, — что после 47-го хода черный офицер не сможет выступить в защиту королевы! Тут и скрывался ключ к решению проблемы! Значит, мой ход был верен и вел к победе! От радости я заржал и затем, напрягшись вовсю, стал посылать Гарсу позывные сигналы. Он спал беспокойным сном, но я тотчас заметил, что мои призывы доходят до него: он повернулся в кресле, вздохнул, слегка пошевелил губами. Я еще напрягся. Напрасно: голова его снова упала на грудь — он был переутомлен.

Я и сам ослабел и чувствовал, как закрываются у меня глаза. Больше я ничего не мог сделать. Я странно отяжелел, попытался расправить плечи, встряхнуться, но вместо этого стал медленно проваливаться в бархатную темноту.

Матч начался утром. Первая партия показала, что противник у Гарса серьезный. Техник игрой он владел в совершенстве, действовал внимательно и систематично, не подвергая себя риску, полагаясь на испытанные комбинации. Излюбленным его приемом было усложнение ситуаций, где только возможно. Это рассеивало внимание противника, не позволяя ему сосредоточиться на одной стратегии.

Такая тактика поначалу выбила Гарса из колеи, но затем он оправился и посредством двух блестящих ходов вышел из положения. Вскоре он выиграл партию.

Точно таким образом он выиграл на следующий день и другую.

Третья была сыграна вничью.

А затем последовали неудачи: Гарс проиграл подряд три партии. Я даже не берусь в точности объяснить, чем это было вызвано, хотя мне и показалось, что он, не доверяя утомленному воображению, перешел к систематическому методу игры, что лишало его главного его оружия.

После десятой партии у обоих противников было по пяти очков; таким образом очередное сражение — оно было назначено на завтра — могло оказаться решающим.

Проснулся я, когда Гарс, побритый и одетый, ставил нас в коробку; руки у него дрожали — видно, сон не принес ему отдыха. Окончательно я пришел в себя уже в коляске; я знал, куда мы едем: матч должен был начаться в половине одиннадцатого.

На этот раз зал был переполнен и атмосфера

была напряженной. Публика рассаживалась по местам, корреспонденты газет приготовили блокноты; взоры были устремлены к столу, где распорядитель расставил нас в боевом порядке на большой шахматной доске. На момент мне почудилось, что я увидел высокую прическу Весты. Как счастлив был я, что Гарс играл в этой партии белыми!

Первые десять-двенадцать ходов не дали преимуществ ни одному, ни другому; потом перевес оказался на стороне черных, а еще через два хода Гарс теснил противника на правом фланге. Затем опять установилось равновесие сил, и игроки, морща лбы, подолгу обдумывали ходы. По всему было видать, что сражение будет длительным и жестоким.

Гарс был бледен и беспокоен, каждую минуту закуривал новую папиросу и тут же оставлял ее догорать в пепельнице.

Это случилось, кажется, после тридцать шестого хода. До этого я был настолько увлечен отдельными комбинациями, что не следил за общим положением на доске. Теперь же, внимательнее оглянув поле битвы, я заметил что-то знакомое. Да нет, не может быть! Я закрыл глаза и снова открыл: сомнений не было, это — то самое! Я взглянул на Гарса и понял, что он тоже видит. На его посеревшем лице проступили мелкие капли пота.

Вот он остановил свой взгляд на мне.

— Я не могу! — сказали его глаза.

— Можешь! — беззвучно отвечал я.

— Ход офицером менее рискован, — продолжал он.

— Прекрасное не боится риска, — подбадривал его я, — нужно уметь верить!

Он еще что-то сказал, чего я не расслышал; сзади раздались возмущенные крики:

— Не мешай ему, слышишь, не мешай! — шипели белые фигуры.

Я отвечал:

— Этот ход единственный и лучший!

— Это гибельный ход! Это доказано!

— Для вас доказано, потому что все вы — ничтожества! Я... — Крики возмущения покрыли мой голос. Среди них я расслышал окрик короля:

— Белый конь, я вам приказываю!

Но я не слушал. Я с презрением отвернулся и тут же столкнулся взглядом с Гарсом.

— Я боюсь, — умоляюще говорил он, — я не выдержу... Веста...

А я, оправившись, отвечал:

— Не бойся! Победа — это средство, а не цель.

Слава не приходит к тому, кто топчется по проторенным дорожкам!

Гарс вытер лоб платком и нерешительно протянул руку ко мне.

— Бери же, бери! — надрывался я.

Он взял; его пальцы были холодны и дрожали. На момент нехорошее предчувствие шевельнулось во мне, но я отогнал его.

— Ставь! — прокричал я, намеренно тяжелея в его руке.

Все замерло и на доске и в зале, когда я опустился на черный квадратик. Противник недоуменно

взглянул на Гарса, затем склонился над доской.

Поначалу все шло, как я задумал, но затем, с усложнением ситуации, Гарс начал выказывать колебания. А с этим нарушалась и связь между нами, и мои сигналы уходили в пространство.

Вот наш офицер под ударом.

— Пешку! — кричу я. — Пешку!

Но Гарс не видит; он смотрит мутным взглядом в сторону, затем медленно протягивает руку к туре.

Больше я не мог выдержать. Я закрыл глаза и теперь был в неподвижности чувств, как в трансе. Я знал — это конец! Только раз взглянул — не на доску, а в зал: Веста сидела рядом с богато одетым мужчиной; он что-то ей шептал, а она улыбалась.

Иначе и не могло закончиться — я это предчувствовал: ночью состоялся суд! Он длился недолго, все было ясно, и бедный офицер — он успел искренне привязаться ко мне — напрасно пытался меня защищать. Сознаюсь, я мало ему помог; на все вопросы обвинителя я отвечал презрительным молчанием и тоскливо поглядывал на диван. Гарс, одетый, лежал, не подозревая, что происходит. Пустая бутылка и стакан стояли рядом на полу. Он бредил, но слов нельзя было разобрать.

Потом послышались крики, гневные голоса — впрочем, может быть, я путаю, может, ничего этого не было, а было раньше? Не помню, помню лишь, как откуда-то, словно с потолка обрушился на меня сухой как выстрел приговор:

— За измену короне — осужден на смерть!

Пошляки! Они даже это слово не сумели выговорить должным образом!

Наступило глухое молчание. Я стоял и смотрел поверх их голов, не замечая их, но зная, что они — все! — устали на меня. Я испытывал на себе странное давление. Постепенно оно усиливалось, я чувствовал, что задыхаюсь, происходящее казалось мне фантазмагорией: ведь я не знал, что у них такой запас злобы, и уж совсем не подозревал, что взгляд может стать инструментом убийства! Кто дал им право? Я обернулся к офицеру: он смотрел в сторону; в глазах у него стояла мутная горечь.

Что-то оборвалось во мне. Я ухватился зубами за собственную гриву, но тут же почувствовал, что цепляюсь за воспоминание; то реальное, чем я был, отступило назад, мягкое спокойствие охватывало меня, и я, удивленно разглядывая безжизненные фигурки, уже поднимался вверх.

Я попал в туман; он окутывал пространство вокруг, оставляя там и здесь случайные просветы. Впервые я ощутил, что могу двигаться, хотя проку в том было мало: вместо твердой доски с ясными квадратами, под ногами была вязкая мгла, стекавшая сверху. К тому же угнетало состояние невесомости; чтобы преодолеть его, понадобилось до боли напрячь воображение.

Я двинулся вправо, потом влево, еще влево... Напрасно — выхода не было! В отчаянии я хотел — была не была — помчаться напролом, когда услышал голос — кто-то звал меня!

Еще через момент знакомая рука ласково трепала меня по загривку.

— Вот мы и опять вместе! — сказал он, а я, сраженный неожиданным открытием, только и мог пролепетать:

— Значит, мой ход...

Он перебил меня:

— Не горюй, ход был отличный!

— Тогда почему ты здесь?

Он тихо засмеялся:

— Разве для мечтателя существуют «здесь» и «там»? Главное — куда ход ведет. Посмотри-ка туда! Видишь?

Я взглянул, куда он указывал: далеко впереди медленно нарастало удивительное сияние!

Мы шли в задумчивости, спотыкаясь о вершины небоскребов, и пролетавшие птицы радостно щелбетили нам вслед.

— Птицы... — начал я нерешительно, — каким образом они видят нас?

— Это не птицы, это — дети. Дети всегда узнают мечтателей.

Мне стало грустно.

— Да, но дети растут, а мечтатели старятся! — слабо откликнулся я.

Он не отвечал.

— Мне жаль детей! — робко настаивал я.

Он остановился.

— Чего же ты хочешь?

— Может быть... вернемся?

И вдруг он рассмеялся:

— Знаешь, я сам только что об этом подумал! Мне хотелось бы переиграть последнюю партию. Там, кажется, возможен еще один ход — лучше! Идем!..

И мы медленно и осторожно стали спускаться вниз.

Т Е Н Ь

Когда Кукушкин вышел из кинематографа, его слегка мутило. Сеанс затянулся, да и накопившаяся за неделю усталость давала о себе знать: в ногах чувствовался неприятный зуд, а в висках копошились мурашки. «Кофейку бы...» — мечтательно подумал он, но, взглянув на часы, только вздохнул: последний автобус отходил через полчаса.

Шагая по улице, Кукушкин рассеяннo глядел перед собой и чуть настораживался, когда навстречу попадались группы гуляк, чаще — подростков-негров. И под стенами зданий их стояло немало, и вид их не внушал особого доверия.

Усталость, а может быть, и еще что-то, мешали проследить до конца какую-то ускользающую мысль, какую-то странную неудовлетворенность, оставшуюся от просмотренного фильма. Показывали «Преступление и наказание» — в отечественной постановке. Кукушкину вспомнилось, что — когда он, недавно, смотрел «Братьев Карамазовых» и «Идиота», у него осталось точно такое же чувство, как и сегодня. «Ведь не удастся что-то во всех этих постановках!» — размышлял он. «Но почему? Говорят, что много, де, монологов, диалогов, сложных мыслей. Что дается при чтении, плохо укладывается на сцену... Так ли это?»

Кукушкин вздрогнул: кто это сейчас сказал «так ли это»? Это не он сказал. Он обернулся по сторо-

нам, но никого не обнаружил, и только его вытянутая тень — от уличных фонарей — держалась рядом, справа, по-видимому, боясь отстать и затеряться среди небезопасных улиц.

И еще одна — слева — эта, наверное, от витрин. Он посмотрел направо: витрин не было, были глухие стены с темными провалами потухших окон. Еще раз глянул налево: что за вздор! — эта другая шла рядом и, что самое поразительное, вела себя вроде как бы самостоятельно. Кукушкину даже почудилось, что тень идет не совсем в ногу с ним, чуть забегает вперед, а сейчас, гляди-ка, почесала у себя в затылке...

— Тыфу, ты, черт!

Видно, последнее восклицание решило дело, потому что, как только оно вырвалось, он услышал сдержанный, несколько иронический, а впрочем, не лишенный приятности голос:

— А вот это вы напрасно!

— Что напрасно? — Кукушкин даже приостановился и теперь уже совсем ясно заметил, что тень, не рассчитав, прошла пару шагов и только тогда, спохватившись, прыгнула назад. — Кто ты такой? — спросил он.

— Гм!.. — Тот — потому что теперь не оставалось сомнений, что это был кто-то, а не просто тень — тот кисло рассмеялся. — Прежде чем отрекомендоваться, — сказал он, — позвольте заметить, что мы с вами, в некотором роде, на брудершafft не пили, и, как воспитанный человек, вы должны понимать... — Говоривший выдержал паузу, вполне достаточную, чтобы позволить собеседнику осознать свою оплошность.

Кукушкин смутился.

— Прошу прощения, — сказал он, — но все-таки, кто же ты... виноват, кто же вы?

— Кто я? Гм! Начистоту, значит? Ладно, будь по-вашему! — Тень почесала у себя за ухом. — Видите ли, в прошлом, у вас, или, вернее, у нас на родине, меня звали запросто, ну, сами знаете как...

— Это, то есть, чертом? — догадался Кукушкин.

— Именно так. Только что тогда в этом смысле-ли! Черта по Домострою толковали. И так его, беднягу, затуркали, что он сам в себя верить перестал, учиться бросил, домовому завидовал. И вообще стал страшным провинциалом, подвизающимся больше на ролях интригана и мошенника. То ли дело здесь, на Западе: тут дьявол — это звание, что-то вроде докторской степени, культура, почет. А у нас? Рожки да копытца, скучные пакости, мещанство. Да что там толковать! Помнитесь, один из наших «Фауста» прочел; так, поверите ли — сам себе хвост от зависти отгрыз!

Кукушкин улыбнулся.

— А теперь там, на родине, разве вам не свободней? — неуверенно спросил он.

— Теперь? Свободней? Вы, гражданин, в своем ли? Там же нас отменили! Научно, так сказать, доказали, что ад и без нашей помощи построить можно! — Говоривший доверительно нагнулся к уху Кукушкина. — Знаете что? — только уговор — не болтайте! Сейчас наши сами изучают, как это все у нас в отечестве вершится. — Он слегка прыснул: — Помните басню о монахе и черте?

— Какую басню? Не припомню.

— Как же! Ну, о том, как послушник, в пост, тайком, в келье яйцо на свече пек. А игумен тут

как тут — «Ах ты, такой, сякой!» А тот: «Прости, отец, нечистый попутал!» А черт за дверью прятался. Как выскочит, хвост от обиды опух... — «Врет, кричит, врет! Первый раз в жизни вижу, чтобы яйца на свечке пекли!» Здорово, а?

Кукушкин поморщился: словоохотливость нового знакомого начала его раздражать.

— Послушайте, — сказал он, — ведь это анекдот.

— Вы думаете? — охотно согласился другой. — Что ж, вам со стороны виднее. Только, знаете, и в анекдотах иногда... — Он не закончил фразы и, спохватившись, заторопился: — Как же это я! Позвольте, наконец, представиться! Впрочем, имя мое вам ни к чему. Замечу лишь, что я, значит, тоже из этих самых... только с высшим образованием, по литературе, значит.

— Вот почему мы с вами сегодня встретились, — сообразил Кукушкин. — Так вы и фильм, значит, смотрели? Кстати, где вы там прятались? Я вас что-то не приметил.

— За воротником у вас, — смущенно сознался разговорчивый знакомец, — вот, дайте, поправлю, а то я, вылезая, чуть примял здесь.

Кукушкин почувствовал у себя на шее легкое дуновение, но из вежливости даже не поежился. И вдруг, вспомнив, взглянул на часы: стрелки показывали десять и до отхода автобуса оставалось, таким образом, четверть часа.

— Простите, — начал было он, но спутник, догадавшись, хлопнул себя по лбу.

— И какой я стал забывчивый! Сейчас устроим! — Он с чем-то повозился и затем весело сообщил: — Все в порядке! Проверьте ваши часы!

Кукушкин посмотрел на часы и ахнул: они показывали девять.

— Как же вы это? — удивленно спросил он.

— Секрет изобретателя! — рассмеялся другой. — Теперь мы с вами и потолкуем обо всем, не спеша... Так вот, уважаемый, вы, помнится, о Достоевском рассуждали, о постановках его творений, то есть. Трудное это дело, согласен: и монологи, и диалоги, и авторские ремарки, как тут на экран перенесешь, не обкорнав до кочерыжки! А без этих пояснений, согласитесь, все предстает в преувеличенном виде.

— То есть, как это в «преувеличенном»?

— Да все эти раскольничьих, рогожины, на-стасьи филипповны!.. Ведь таких в нормальном быту днем с фонарем не сыщешь! Как же их на сцене выведешь?

— Вы хотите сказать, что Достоевский...

— Ну да, хочу сказать, что Достоевский... — бесцеремонно перебил Кукушкина собеседник. — Ведь он не французов — своих описывал, а у нас, как вам известно, склонность к гиперболам — характерная национальная черта. Либо все очень уж хорошо, до слезливости хорошо, либо — безнадежно плохо. Немец, например, увидит двух прохвостов и скажет: вот два прохвоста! Американец заметит двух мошенников и скажет: вот мэр города и адвокат! Англичанин... ну, тот, пожалуй, ничего не скажет. А русский увидит и закричит: караул! Прохвост на прохвосте сидит, прохвостом погоняет! И о том не подумает, что и гнать-то нечем — ведь прохвостов-то двое!

Тут Кукушкин потерял терпение и, не без резкости, ответил, что Достоевский — гений и подхо-



дить к нему с такой обывательской меркой по меньшей мере неумажительно. Но это замечание отнюдь не захватило его спутника врасплох.

— Правильно! Хорошо! — почти закричал тот. — Я же к тому и веду: что можно гению... или как это?... «что можно Юпитеру...» и пр. и пр. Достоевский, видите ли, огонь с водой смешает, а другой возьмется — только пар пойдет, как из чайника. На днях одного вашего поэта читал — не помню где уж. Все, как будто, прекрасно, и вдруг, в одном стихотворении, то самое — огонь и вода! И получился чайник, не смешалось, значит. А поэт талантлив хоть куда, да вот только не соразмерил сил своих с амбициями! — Тень замолкла, явно довольная своей тирадой.

Воспользовавшись этим, Кукушкин взял слово:

— Итак, — сказал он, — из всего сказанного вами следует, что постановка произведений Достоевского вообще невозможна?

— Экий вы торопливый, — укоризненно отвечал тот, что прятался за тенью. — Повремените с итогами, я еще главного не сказал... Да что вы все на часы смотрите! Обещал же — устрою!

Теперь Кукушкин уже без удивления заметил, что находится в самом начале пути. Тень слева не жалась к его локтю, а шагала вполне самостоятельно, так что, расходясь с встречными прохожими, Кукушкин оставлял с левой стороны больше места. Такая заботливость показала его спутнику забавной. Он засмеялся:

— Не беспокойтесь! — сказал он. — Нам не при-
выкать стать. — И затем, уже вполне серьезно, продолжал: — Есть у Федора Михайловича статейка, кажется, от 1874 года. В ней он разбирает русских художников, а именно картины, что были приготовлены для Венской международной выставки. И вот стоит наш писатель перед картиной художника

Ге «Тайная вечеря». Хорошо? Хорошо! Талантливо? Да! Реалистично? Как будто! Но что это? Разве это Учитель с учениками? Нет, это просто группа приятных молодых людей, собравшихся, чтобы поужинать. Почему же так получилось? И вот тут, понимаете ли, писатель высказывает гениальную мысль об «историческом реализме». Всякое историческое событие, говорит он, в позднем изображении, должно отразить все то, что за истекший срок из него произошло. Иначе человеческое сознание не в состоянии воспринять его. А на картине, говорит, две тысячи лет отсутствуют. И получилось, что реалистическое, на первый взгляд, изображение оказалось вовсе не реалистичным в современном, так сказать, понимании. Вот в чем штука! — Говоривший пуливно оглянулся по сторонам и уже шепотом прибавил: — Только это все между нами. Мне по моему положению не полагается на такие темы... — Он слегка замаялся и замолк.

Кукушкин смотрел на спутника широко раскрытыми глазами.

— Интересно, — пробормотал он, — очень интересно, но какое отношение все это имеет к постановкам Достоевского?

Теперь в голосе того, другого послышалось нетерпение.

— Ах, какие мы непонятливые, — начал он. — Так ведь столетие прошло, да какое! Две мировых войны, дюжины революций, концлагеря, атомная бомба, полеты на Луну... — ведь мир перевернулся вверх ногами! Но главное — открытия в области психологии — психоанализ, патология и пр. и пр. Ведь мы живем в эпоху менсонов, наркоманов, психопатов разных. А тут на экране перед нами кривляются такие же невротики и истерички, давно уж подведенные под соответствующую научную классификацию и едва ли способные довести до нас хоть крохи идейных замыслов. — Тень перевела дух и затем, уже спокойнее, продолжала: — Заметили ли вы, почтеннейший, что с самого начала второй части фильма, то есть как раз там, где Раскольников временно отходит на задний план, все в зале облегченно вздохнули? Так оно и понятно! Ведь никакого преступления, собственно, и не было. Был невменяемый неврастеник, дергающийся, таращащий глаза где нужно и где не нужно, точно так, как Рогожин и Настасья Филипповна в «Идиоте». Ну можем ли мы их, таких вот, принять за глашатаев идей великого писателя?

Кукушкин молчал. И не потому лишь, что ощущал странное смятение в мыслях, а и оттого, что по мере приближения к центру города, они вступали в полосу света и обычного городского шума, мешавших сосредоточиться. Вокруг двигались толпы гуляющих, слышался громкий говор, назойливо гудели такси, а городские автобусы, дребезжа оконными рамами, с несносным завыванием отходили от остановок.

К тому же по правую руку возникли ярко освещенные витрины и теперь тень слева представлялась вполне отчетливой и естественной. На какой-то момент это даже навело Кукушкина на мысль, что все происшедшее было просто галлюцинацией. Но лишь только он так подумал, как услышал возле себя знакомый голос:

— Что же вы на все это скажете?

Кукушкин пришел в себя. Он сказал:

— Может быть, актеры не на высоте? Или режиссер чего-то не учел? Ну, хотя бы этого самого... как его, — он пощелкал в воздухе пальцами, — исторического реализма?

— А если бы учел, тогда что, героев наших в больницы, в психиатрички?

На это Кукушкин возмущенно воскликнул:

— Позвольте, но ведь это далеко не все, что имел в виду писатель!

— Что же он еще имел в виду?

— А то, что душа человека — это поле битвы Бога с дьяволом, то есть со злом!

Тень скрипуче засмеялась:

— Вы эту справочку как нельзя кстати привели, — отпаривала она. — Ведь если прав был Федор Михайлович насчет исторического реализма, то и для зла пора уж другое словцо подыскать. Может быть, словцо это и есть — «болезнь»? А коли так, то и бороться с ним надлежит психиатрам и хирургам. А высшие силы здесь ни при чем?

Тут Кукушкин не на шутку рассердился. Человек он был верующий, каждое второе воскресенье выстаивал в церкви обедню, и потому выслушивать дальше всю эту чертовщину совсем его не устраивало. К тому же он заметил, что было уже за десять и ему следовало поторопиться. И потому он раздраженно сказал:

— Не пойму, чему вы, собственно, радуетесь. Если все так, как вы уверяете, то и здесь вас отменят, вместе с вашим высшим образованием. И останется вам разве что — вставлять палки в колеса тем же психиатрам и хирургам!

Тень помолчала, затем обиженно процедила:

— А вот это с вашей стороны невежливо — переходить на личности. Я к вам со всем доверием, а вы... Хорош гусь! В будущем буду... — Но Кукушкин не дал болтуну договорить. Он сказал:

— Счастливо оставаться! И не задерживайте меня, через десять минут отходит мой последний автобус.

Тогда тень желчно хихикнула:

— Ладно уж. Счастливого пути! Но прежде чем суетиться, проверьте-ка лучше ваши часы!

Кукушкин поднес руку к глазам и... обмер: часы показывали далеко за одиннадцать. Окончательно раздосадованный, он повернулся налево и хорошенько сплюнул. Но тени и след простыл: вместо нее он угодил себе же на туфлю. И еще что-то: откуда-то вдруг пошел тяжелый дух и прохожие, подозрительно оглядываясь по сторонам, морщились и ускоряли шаг.

СУМЕРКИ КУМИРА

Когда б Архипелаг-Гулаги, Дахау и Аушвицы возникли в странах, забытых Богом и историей, не озаренных светом культур и религий; когда б чудовища происходили от чудовищ, отмеченных неопровержимым клеймом злодейства... тогда трагедия человечества и не стала бы таковой — в историософском ее понимании. Скорей была бы она массовой драмой, вызванной факторами антропологическими, знакомыми еще пещерным векам.

И, однако, трагедия истории налицо: если в далеком прошлом человек произошел от косматых

чудищ, то современные монстры, наоборот, вышли из людей, принадлежащих к высокой цивилизации, из людей внешне обыкновенных, без специфических черт, которые бы указывали на их жестокую сущность.

Робеспьеры и Мараты, Сталины и Дзержинские, Гитлеры и Гиммлеры, — так ли уж отличимы они, в быту, от многих, с кем мы сталкиваемся при ежедневном общении?

Достоверно известно, что иные из них любили детей, трогательно чтить родителей, не могли без содрогания видеть страдания животных. Да и вдали от власти, оставаясь на первоначальных своих ролях, — адвокатов ли, мастеровых, городских служащих или непризнанных художников, — смогли ли бы они вывить в себе то страшное, что незримо гнездилося в них, и что теперь, вместе с гекатомбами жертв, поглощено равнодушной историей?

Они ушли, но призраки рокового двойничества остались. Пусть под иными именами, еще не опознанные, они тут, рядом и, быть может, сами того не подозревая, ждут, когда придет их черед.

Исторические образы тиранов и злодеев давно уж выписаны. Но не поняв, не углубив человеческих черт в портретах этих оборотней, мы никогда не получим ответа на мучительный вопрос: как могло это случиться?

Сегодня Гитлер проснулся, как и обычно, в 11 часов утра. С большим усилием он поднялся и сел на кровати, свесив ноги. В голове стояла тяжелая муть, в глазах рябило, левая рука произвольно жалась к животу и дрожала мелкой дрожью.

Он напрягся, вспоминая: лег он, как всегда, в пять часов утра; было тихо — вот уж вторые сутки как прекратились англо-американские налеты. И все-таки он дважды просыпался. Раз даже встал и прошел в кабинет к карте Восточного фронта; долго смотрел на нее, недоумевая, каким образом враг прорвался к Одеру! Ведь там оперировали лучшие эсэсовские дивизии! Затем вспомнил, что красные давно уже переправились через Одер.

После этого он снова уснул, но сон был тревожным и не принес успокоения.

Возможно, что сновторное, которое оставил ему доктор Морелль, было уже не то? Морелль, вместе с другими, улетел накануне в Берхтесгаден. Гитлер его не удерживал, но как был бы он признателен, если бы тот остался! «Впрочем, думал он, Морелль не один; все рады покинуть своего вождя в трудную минуту. И Геринг, и Гиммлер... Особенно эти двое. О, да, они прилетели, чтобы поздравить его с днем рождения, но надо было видеть их физиономии при прощании! А генерал Кристиан?! Как отвратительно он смеялся, когда жена его отказалась покинуть бункер вместе с ним! Жалкие карьеристы, паразитировавшие на теле Рейха!»...

Гитлер всунул ноги в ночные туфли и медленно, с трудом, поднялся. Двигаться сразу он не мог: левое плечо проваливалось вниз, под ним скрючивалась и вся левая сторона тела. И нога начинала дрожать — вот-вот подогнется, и тогда он опять осядет на кровать.

Эти симптомы инвалидности появились у него — а может, только усилились? — с того злополучного дня — в июле прошлого года, когда только чудо спасло его. Каждый раз, вспоминая об

июльском покушении, Гитлер чувствовал, как сжимаются в бессильном гневе челюсти, поднимается к лицу кулак, а каблук зло и капризно бьет в пол.

Но теперь у него не хватило бы на это и сил.

Осторожно ступая, он подошел к столу и оперся о него. Постоял немного и затем, как будто успокоившись, прошел через приемную в уборную.

Правой рукой он еще владел в достаточной мере и потому без особых затруднений совершил несложный обряд умывания. Затем провел мокрой ладонью по волосам и затылку, наскоро пополоскал душистой жидкостью рот и горло, после чего дольше обычного растирал грубоватым мохнатым полотенцем голову, шею, лицо.

Только закончив всю эту процедуру, он поднял голову к зеркалу. То, что он там увидел, его не обрадовало.

К глубоким не по возрасту морщинам, к нездоровой желтизне кожи и свисавшим под глазами темным мешкам он давно привык, но вот выражение глаз в последнее время его пугало. Как будто это было не одно выражение, а два: невероятного напряжения и... апатии. Сегодня это странное сочетание проступало с особой силой.

Как эта новая черта отражалась на его контактах с подчиненными, он давно уже заметил. Правда, ему все еще удавалось высказываться с прежней силой убеждения, но он никак не мог остановиться взглядом на глазах собеседника; смотрел куда-то в пространство, так, что слушатель под конец начинал косить, словно стараясь поймать ускользающую нить.

Это именно и случилось вчера, на дневном совещании с фельдмаршалом Кессельрингом, командующим Западным фронтом. Гитлер настаивал на контрнаступлении армии генерала Штейнера. Кессельринг возражал, причем более решительно, чем сделал это в марте, когда Гитлер потребовал повторения Арденнской операции. Другие генералы молчали. Возбешенный, Гитлер закричал:

— Где же ваши армии, генерал?

Кессельринг склонился над картой и стал что-то объяснять, но Гитлер резко оборвал его.

— Довольно! Довольно!

Последние минуты он стоял, зацепившись ступней за ножку стола, чтобы скрыть досадную дрожь в ноге. Теперь он тяжело опустился на стул и только пробормotal:

— Война проиграна! Проиграна!.. — Затем, обратившись к Борману, прибавил: — Совещание окончено. Прошу всех оставить меня!..

Вспомнив эту сцену, Гитлер скрипнул зубами и, оторвавшись от своего отражения, повернулся и вышел из уборной. Он пересек приемную и вошел в кабинет.

Кабинет был невелик — 10 футов на 15. Обстановка поражала скромностью: простой письменный стол, под стать ему кресло-стул с полумягким сидением; еще несколько стульев напротив, а также вдоль стен. Слева от двери — высокая полка, наполовину пустая. Стены были увешаны картами Западного и Восточного фронтов. Стол закрывала карта «большого» Берлина с окрестностями. Поверх нее лежала другая, поменьше — карта «Цитадели», той части столицы, где предстояло дать окончательный отпор «большевистским ордам», как Гитлер именовал наступающую Красную Армию. Что

это будут красные, в том уже не было сомнений: еще в середине апреля англо-американские армии фельдмаршала Монтгомери прочно остановились на Эльбе, хотя дорога на Берлин была открыта.

На полках красовались две фотографии: матери Гитлера и... бывшего личного его шофера Мориса, того самого, с которым в 1930 году Гитлер застал на месте преступления свою племянницу Гели Раубаль.

Единственным украшением неуютного, выкрашенного в серый цвет кабинета был портрет Фридриха Великого, кисти мало известного художника Антона Графа. Портрет висел справа от карты Западного фронта. Перед портретом стоял походный стул.

Здесь и находилась последняя ставка фюрера, верховного командующего вооруженными силами Рейха. Вместе с двумя такими же неуютными залами конференций, столовой и другими служебными и жилыми помещениями, все это составляло комплекс в тридцать комнат, спрятанный на глубине 55 футов под старым зданием Канцелярии.

Сюда, по настоянию своих приближенных, Гитлер переселился в январе из наземного бункера, примыкавшего к новому зданию Канцелярии.

Наземный бункер был просторней и удобней, но тяжелые двухтонные торпеды, какими с прошлого года стал пользоваться американский воздушный флот, сделали это убежище беспокойным. Там все еще были расположены многочисленные службы и частные квартиры крупных партийцев и генералов. Там же поначалу устроилась и Ева Браун, прилетевшая в марте из Берхтесгадена...

Гитлер подошел к письменному столу. Поверх карт стоял календарь; дата была сегодняшняя — 23 апреля, понедельник. Видимо, здесь уже побывал фельдфебель Миш, верный ординарец и связист фюрера.

Как всякий деспот, Гитлер ценил верность прежде всего; за нее он многое прощал — своим, конечно. Простил когда-то Магде Геббельс ее попытку бегства в Швейцарию, а мужу ее — скандальный роман с чешской актрисой Лидой Баровой, прощал Герингу его лень и бестолковость в деле командования воздушным флотом. Простил Морису, соблазнившему Гели Раубаль; правда, тут не совсем было ясно, не выступила ли любимица фюрера сама в роли соблазнительницы. И Шпееру простил — такое, что никому еще не прощал и никогда бы не простил...

Странно, именно сейчас, когда он, нагнувшись над столом, рассматривал карту «Цитадели», Гитлер — в который раз — возвращался мыслями к своему «архитектору». Имя Шпеера вызывало в нем чувство какой-то болезненной утраты...

«Война проиграна!» — фраза, которую Гитлер впервые бросил в лицо своим генералам, придумана была не им и не вчера. Еще в марте он слышал ее из уст Альберта Шпеера, когда тот вернулся из своей инспекционной поездки по Саару.

Гитлер знал — агенты Бормана доносили ему о каждом шаге Шпеера — чем занимался тот в свою поездку. Еще раньше Гитлер подготовил приказ, вводящий в действие «политику голой земли» — тотальное уничтожение всех промышленных, аграрных, водных ресурсов Германии, разрушение

фабрик и заводов, шахт, водоемов, электростанций и железных дорог. Пустыня, голая земля — вот что должно было достаться врагу вместе с остатками народа, который не сумел до конца выстоять в борьбе с плутократами и ордами варваров. Только такой «вагнерианский» конец оправдал бы германскую нацию в глазах истории.

Когда Шпеер узнал о готовящемся приказе, он примчался к Гитлеру, но тот отказался его выслушать. Шпеер покинул Берлин.

Он носился от гауляйтера к гауляйтеру, с заводов на фабрики, с фабрик на шахты, повсюду требуя неповиновения готовящемуся приказу.

Гитлеру это было известно, но он ничего не предпринимал против мятежника. Другая тайная мысль волновала его: восстание ли это против его мероприятий или против него самого? Первое он мог простить, второе — никогда! Приказ оставался лежать на столе неподписанным.

Но вот, 26 марта Шпеер вернулся в Берлин. Прямо с дороги, даже не приведя себя в порядок, он спустился в бункер. Гитлер знал о его возвращении; взвинченный, он метался по кабинету, стараясь представить себе, во что выльется эта встреча.

Но он умел, когда нужно, овладеть собой. Когда Шпеер вошел, они некоторое время молча стояли друг против друга. Потом Гитлер сказал:

— Шпеер, мне все известно.

Шпеер отвечал:

— Я знаю, мой фюрер.

— Вы знаете, что вам за это грозит?

— Знаю.

Гитлер медленно обошел вокруг стола и остановился перед гостем, не отрывая от него тяжелого взгляда.

— Шпеер, — глухо сказал он, — вы же верите, что не все еще потеряно?

— Нет, мой фюрер! Война проиграна. Я не хочу вас обманывать, как это делают некоторые подхалимы.

Гитлер хотел было протянуть к Шпееру обе руки; но левая не поднялась, вместо этого часто задержалась. От бедра вниз исходила нехорошая пульсирующая немота. Чтобы не потерять равновесия, он тяжело шагнул назад и прислонился к столу.

— Шпеер... послушайте... — Он сам не узнавал своего голоса, таким он был неровным и просительным. — Вы ведь еще можете... хотя бы питать надежду? Ведь есть же хоть какая-то надежда?

Шпеер хотел что-то сказать, но Гитлер остановил его:

— Нет, не отвечайте! Не сейчас. Завтра... завтра скажете. А сейчас идите и... подумайте! Если завтра решите, что еще можете надеяться, меня это удовлетворит и... все останется по-старому. А сейчас уходите!

Последние слова он выкрикнул почти на истерической ноте и повернулся к гостю спиной...

Теперь, припомнив эту сцену, Гитлер не чувствовал раздражения. Таковы уж были его отношения с этим человеком, с которым они столько помечтали о перестройке послевоенной Германии, о новом Ренессансе в архитектуре городов, — Линца, Мюнхена, Берлина...

Когда на следующее утро Шпеер явился с ответом, Гитлер едва мог скрыть волнение.

— Да, Шпеер, я вас слушаю.

И опять, как и накануне, в воздухе повисло почти физически ощутимое напряжение. Наконец, Шпеер сказал:

— Мой фюрер, я останусь вам верен до конца. Для Гитлера и этого было достаточно.

— Спасибо, Шпеер. Я знал, что вы меня не разочаруете.

Он взял со стола кожаную папку и протянул гостю.

— Здесь проект приказа. Ознакомьтесь и внесите поправки, какие сочтете нужными.

К вечеру новая редакция приказа была готова. Согласно ей, германская промышленность должна была быть не уничтожена, а «парализована». Рас-тяжимость этого термина проглядывала весьма недвусмысленно, но Гитлер и бровью не повел. Он молча взял ручку и проставил внизу все еще значительные буквы: «А.Г.»...

Странно, все это произошло только месяц назад, но было тогда вполне реальным. Теперь это событие представлялось в каком-то тумане, как, впрочем, и многое другое, что недавно тоже было настоящим, а теперь...

Вглядываясь в эту мутную пелену, Гитлер подчас недоумевал, где были призраки, а где реальность. Они были неотличимы. Армии и дивизии, которыми так легко командовалось отсюда, из недр этой железобетонной пещеры, вдруг оборачивались миражами, тысячи танков становились сотнями, сотни — десятками, с карт исчезали города и провинции...

А совещания шли и дальше, по-прежнему поступали военные сводки, выслушивались доклады. Карты становились новой действительностью; то, что было там, наверху, было ей враждебно, противоречило ей.

Противоречили ей и генералы, отказывающиеся переходить в контрнаступление, и командующие воздушными соединениями, оправдывающие свое бездействие нехваткой топлива, гауляйтеры, неспособные реорганизовать промышленность в условиях тотальной бомбежки.

А то вдруг, ненадолго, приходило просветление, и тогда, наоборот, призраки наверху становились реальностью, а то, что было здесь, кругом и на картах, теряло свою эмпиричность и, сдавленное низкими потолками, расплывалось бесшумными привидениями по мертвому улею.

Вот уж некоторое время Гитлер стал подмечать, как трудно ориентируются в Бункере те, кто прибывают оттуда, сверху. Слово попадают в иной мир, с иным законом притяжения, другим языком, неизвестными средствами коммуникации. Обычный разрыв между штабом и действующей армией был хорошо Гитлеру знаком не только сверху, но и снизу, со времен еще 1-й мировой войны, в которой он подвизался ефрейтором. Но теперь было не то. Теперь в глазах пришельцев «оттуда» сквозило новое выражение — недоумения, страха, недоброго предчувствия, какое возникает у людей суеверных, когда они вдруг ощущают, что мир потусторонний посягает на реальность их бытия.

Атмосфера призрачности стучалась. Апофеозом ее было недавнее появление еще одного персонажа — Евы Браун! Для многих, даже своих — это Гитлер сразу подметил — она была привидением, облекшимся в плоть лишь для того, чтобы поставить на

их пути еще одну, может быть, последнюю веху.

Приезд Евы в Берлин не был для Гитлера неожиданным. И все же, где-то в глубинах сознания, копошилась до самого последнего момента, не надежда, нет, а странная неуверенность в правильности принятого решения — устроить свой триумфальный конец здесь, в столице.

Берлина Гитлер не любил, как вообще не любил севера Германии, Пруссии. За эти долгие месяцы он ни разу не выехал на осмотр смертельно изувеченного города, ни разу сам, по собственной инициативе, не поинтересовался судьбами населения, жертвами, понесенными от вражеских бомбежек.

Юг, Бавария, Тироль, Оберзальцберг с его горным гнездом — Берхтесгаденом, вот что влекло его далекими упоительными воспоминаниями о былом могуществе и славе.

Там не было удручающих развалин, вокруг синели горы, был заготовлен еще один «последний редут» — не хуже этого, — где можно было б воздвигнуть себе не менее эффектный исторический памятник. В воображении рисовалось будущее славное имя, которое придет на место Берхтесгадена — Гитлерберг!..

12-го апреля произошло важное событие, всколыхнувшее жизнь обитателей Бункера: скончался американский президент Рузвельт, верный союзник Сталина и заклятый его, Гитлера, враг.

В тот день Геббельс примчался в Бункер с гороскопом фюрера, составленным еще в 1930 году и хранившимся у Гимmlера.

Согласно гороскопу, после поражений в начале 1945 года, должен был наступить, в апреле, перелом в военных действиях, которые закончатся полной победой Германии.

Выслушав своего министра, Гитлер улыбнулся — впервые за последние недели.

— Итак, — сказал он, — союзнички вскоре начнут в упор расстреливать друг друга?

Геббельс сиял. Он отвечал:

— Да, столкновение неизбежно!

В тот вечер Бункер бурлил как пчелиный улей, праздная смерть врага. Геббельс подогревал всеобщий психоз огненными тирадами.

А Гитлер? Он сидел у себя на походном стуле перед портретом Фридриха и... вспоминал.

Какая и вправду изумительная аналогия: 1762-й год; великий прусский король, потерпев поражение, дает последний отпор врагам в крепости Бреслау. Отсюда же он пишет свое знаменитое письмо маркизу д'Аржансону. Все, казалось, кончено и помощи ждать неоткуда.

Но вот, неожиданно умирает русская императрица Елизавета. На трон вступает Петр III, друг Пруссии. Союз России с Австрией и Саксонией расторгнут. Король спасен!

Гороскоп... Смерть Рузвельта... Фридрих Великий... Все это, конечно, выходило за пределы рас-судочных суждений, но в обстановке, какая сложилась в тот критический момент, только иллюзия могла хоть частично рассеять сгустившийся мрак подземелья.

Не раз в последовавшие часы бесшумно проникали в кабинет к фюреру тени Миша, Геббельса и Бормана. Входили и так же бесшумно исчезали. Ночное совещание не состоялось. Гитлер неподвижно просидел до утра перед портретом, не

отрывая остекленевшего взгляда от своего кумира.

Увы, дальнейшие события не подтвердили оптимистических предвидений гороскопа.

На другой день пала Вена. Еще через несколько дней Красная Армия стояла у Франкфурта на Одере.

А англо-американцы застыли неподвижно на Эльбе. Ставка на их конфронтацию с красными оказалась, таким образом, битой. Ничто больше не могло спасти Рейх.

Вечером 15-го апреля Гитлер поднялся наверх, к своей возлюбленной.

Только что началась очередная воздушная бомбежка, и верхний бункер дрожал как от землетрясения.

— Мне будет спокойней, если ты вернешься в Берхтесгаден, — сказал он ей.

Ева Браун отвечала:

— Я останусь с тобой.

Он, конечно, и не ожидал иного ответа.

— Ты знаешь, что это значит? — спросил он.

— Знаю.

— Мне придется сойти со сцены до конца действия.

— Я сойду вместе с тобой.

Гитлер прошелся по комнате и опустился в кресло. Подперев голову руками, он смотрел в пол, прислушиваясь к гулу от взрывов. Затем он сказал:

— Помни, что это твое решение, а не мое. Но если ты раздумаешь...

Но она уже была рядом. Опустившись на пол, она обхватила его колени. Она сказала:

— Впервые я запрещаю тебе говорить дальше!

Он усмехнулся, но ничего не ответил.

В тот же вечер Ева перебралась в нижнее помещение.

Гитлер взглянул на часы: двенадцать. В час — совещание, а еще нужно одеться. Он протянул руку и нажал кнопку на столе. В последнее время ему при утреннем туалете обычно помогал Арндт, двадцатилетний солдат, вернувшийся с фронта после тяжелого ранения. Но его еще накануне отправили в Берхтесгаден.

Поэтому на зов фюрера отозвался Миш; уже через несколько секунд он стоял в дверях кабинета.

Гитлер молча повернулся и направился к себе в спальню. Миш последовал за ним.

Без посторонней помощи Гитлер уже не мог одеться. Только в лежачем положении удавалось натянуть брюки, а затем носки и мягкие новые ботинки. После этого Миш осторожно поднимал своего господина и усаживал боком на стул. Дальнейшая фаза облачения была не легче. Левая рука никак не попадала в рукав френча, а попав, нередко застревала, согнувшись, в подкладке. Да и другая вела себя капризно, устремляясь на помощь к первой. Миш терпеливо, как больничная нянька, возился над скрюченной фигурой, невозмутимо выслушивая раздраженное брюзжание человека, никак не соглашающегося примириться со своей инвалидностью.

Когда оба рукава были заполнены, Гитлер поднялся и, опершись на спинку кресла, дождался пока Миш застегнет на все пуговицы его обычное обмундирование: черные брюки и серый, военного покроя, френч.

Последний не блистал свежестью: на нем про-

ступали два пятна, посаженные вчера за ужином. Гитлер их и сам заметил раньше, но сейчас, когда Миш захотел их подчистить, он недовольно буркнул:

— Не надо!

Отказался он и от бритья, рассчитывая побриться к вечеру.

— Передайте генералу Кребсу, что совещание состоится в Малом зале конференций, — коротко обронил он.

Малый зал меньше всего походил на зал — 20 футов на 17, с таким же низким потолком. Тот факт, что он был избран, указывал на то, что совещание будет ограниченным как по составу, так и в отношении поставленных на обсуждение вопросов.

Ровно в час, выпив до этого чашку кофе, Гитлер входил в Малый зал. Все были в сборе. При появлении фюрера разговоры стихли. Движением руки он приветствовал присутствующих и уселся в кресло, стоявшее боком к залу и так же боком к главной стене с картами.

— Слово за вами, генерал Кребс!

Кребс, начальник генштаба сухопутных войск, подошел к карте Восточного фронта и дал сводку последних событий на этом участке. Гитлер слушал молча. Затем, перейдя к карте Западного фронта, Кребс пространно описал стратегическую обстановку здесь, объяснив, каким образом немецким армиям удалось прочно остановить неприятеля.

Гитлер знал, что это не так; понимал и то, что и участникам совещания это ясно. В другое время он и сам был бы не прочь поверить в оптимистические спекуляции, теперь же это было ни к чему. Он нетерпеливо заерзал в кресле.

— Короче, генерал!

Кребс вытянулся и щелкнул каблуками.

— Я, собственно, кончил...

Тогда Гитлер обратился к генералу Монке, коменданту Канцелярии:

— Будьте добры, генерал, прочесть мой приказ.

Монке снял со стола свернутую роликом карту, развернул ее и повесил на стену. Это была карта «Большого Берлина». На ней неправильным пятиугольником была выделена территория «Цитадели», последнего опорного пункта немецкой армии.

Монке никогда не был близок к Гитлеру. Но он был старым фронтовым офицером. И этим, и резкими заостренными чертами лица, он импонировал фюреру, презиравшему, за редкими исключениями, всех штабных генералов.

Поэтому, в обход других более видных кандидатов, он назначил командующим обороной «Цитадели» Вильгельма Монке.

Монке коротко и толково сформулировал стратегию «Операции Клаузевиц», закончив утверждением, что Берлин станет кладбищем для тысячи советских танков.

При последних словах Гитлер, до того слушавший совершенно апатично, дважды кивнул. Он знал из недавнего специального доклада, что немецкие панцерфаусты, фабриковавшиеся, кстати, тут же в подземных мастерских Берлина, оказались в уличных боях самым действенным противотанковым оружием.

Он, однако, ничего не сказал. Когда Монке закончил, Гитлер обратился к участникам совещания:

— Замечания есть, господа?

Тон, каким был задан вопрос, сам по себе ис-

ключал возможность дальнейшего обсуждения. Все молчали.

Гитлер медленно поднялся с кресла и, вяло отсалютовав своим соратникам, пошел, было, к выходу, но на полдороге остановился. Он обернулся к Монке:

— Генерал, будьте добры последовать за мной.

Когда они вошли в кабинет, Гитлер прошел к столу и оперся на него.

— Генерал, — начал он, — мне незачем напоминать вам о сложившейся обстановке. И однако, я должен поговорить с вами об одном важном деле. Как солдат с солдатами, понимаете?

— Яволь, мой фюрер!

Гитлер продолжал:

— Как вождь немецкого народа, я хотел бы закончить жизнь в рядах моих воинов. Но возможность ранения и пленения исключает такой вариант. Я не должен попасть в руки врагу ни живым, ни мертвым. Поэтому мне предстоит сойти со сцены заранее. Надеюсь, вы поняли меня?

И опять Монке, подтянувшись, отвечал:

— Понял.

— Так вот, генерал. Все, о чем я вас прошу, это предупредить меня за сутки до того, как вы сочтете окончательно невозможным гарантировать мою безопасность. В этом и заключается моя последняя к вам просьба и... приказ! Это все. Вы можете идти.

Монке молча отсалютовал и, четко повернувшись кругом, вышел из кабинета.

Оставшись один, Гитлер опустился в кресло у стола, немного помедлил и нажал на сигнальную кнопку. Вошел Миш, как всегда аккуратный и подтянутый. Гитлер спросил:

— Есть вести о «десятом номере»?

Эвакуация Канцелярии — штата и документов — в Мюнхен и Берхтесгаден была в разгаре. «10-й номер» был транспортер, на котором были отправлены ящики с записями служебных и частных разговоров фюрера. Судьба этих документов его беспокоила.

Миш отвечал:

— Вестей все еще нет. Ни в Мюнхене, ни в Оберзальцберге не принято никаких сигналов. Полагают, что самолет вынужденно приземлился из-за неполадок в моторе.

— Так... Передайте, чтобы мне принесли обед сюда. И скажите Борману, что я хочу его видеть.

В последние недели Гитлер редко выходил к общему столу. Присутствие людей его угнетало. Вот и теперь, когда Миш принес ему на подносе обед, как обычно, вегетарианский, приготовленный личным поваром фюрера — Констанцией Манциали, Гитлер уселся за небольшим столиком и принялся за трапезу.

Вкусовые ощущения у него, вследствие употребления сильных доз лекарств, почти атрофировались, да и аппетит появлялся редко; он ел как автомат, плохо разбираясь в поглощаемой пище.

То же произошло и сейчас. Поковырявшись в овощах, он отодвинул тарелку и собирался уже приняться за рисовый пудинг, когда услышал легкий стук в дверь. Затем дверь приоткрылась и в кабинет, мягкой кошачьей походкой, вошел Борман. Он сделал несколько шагов и остановился, вытянувшись.



Гитлер молча кивнул гостю на стул, приглашая его сесть, но тот оставался стоять, чего хозяин словно и не заметил. Он съел ложку-другую рисовой каши и только тогда оторвался от тарелки.

— Что слышно от Гимmlера? — Он, конечно, имел в виду другое: «Что слышно о Гимmlере?» Борман это понял. Он отвечал:

— Завтра от него прилетит с докладом генерал Фегелейн. Пока же мне не удалось с ним самим связаться.

Гитлер поморщился.

— Не добились связи со штаб-квартирой?

— Нет, связь со штабом установлена, но его самого там нет со вчерашнего вечера.

— Где же он?

— Никто не мог мне этого сказать.

Гитлер медленно и сосредоточенно ел сладковатую кашу. Закончив, бросил ложку и пробормотал:

— Странно... Доложите мне, как только что-либо узнаете!

Настроение у Гитлера окончательно испортилось. Все шло вкривь и вкось, все рассыпалось. Даже Гимmlеру нельзя было доверять. И потом этот дурацкий Фегелейн! Гитлер не без умысла женил его на сестре Евы Браун, рассчитывая, таким образом, иметь своего человека в окружении Гимmlера. А оказался дрянь человек и притом пьяница и бабник!

А Геринг? Тоже неизвестно, что у него на уме. Хитер, хотя и не Бог знает как умен! Другого, на месте Геринга, Гитлер давно бы убрал, но с рейхсмаршалом дело обстояло сложнее. Связывали их кровные узы совместной борьбы, «славного» прошлого. К тому же Геринг был едва ли не единственным мостом между партией и прусской военной знатью, которую Гитлер ненавидел, презирал, слегка ее побаивался, но в то же время

связь с которой была ему необходима для консолидации сил в высшем командном составе Вермахта.

А все-таки следить за ним следовало. Об этом ему уже не раз напештывал тот, кто сейчас стоял перед ним, такой же подозрительный и жестокий, как и сам Гитлер — Борман.

Появился он среди «избранных» как-то незаметно: сперва в роли личного секретаря фюрера, затем управляющего канцелярией, а позднее и всей администрацией партии. Функция эта упрочилась за ним скорее де-факто, официальное же его положение оставалось неясным — Рейхсляйтер!

Гитлер всегда недолюбливал всяческую административную нагрузку и потому до прихода Бормана взаимоотношения внутри партии, равно как и отношения ее с Канцелярией, с различными частями страны, хозяйственными и прочими институтами, носили несколько хаотический характер.

Борман все это изменил. Действуя осторожно, всегда от имени фюрера, он подтянул гауляйтеров, завел списки служащих и получал для предварительного просмотра все доклады, адресованные Гитлеру. Его ненавидели и боялись, и он платил такой же ненавистью и интригами. Гитлеру это было хорошо известно, но как всякий тиран, он приветствовал такое положение вещей. Он знал, что Борман был единственным, кто без него сразу становится ничем, а такие служат верно.

Зато с Борманом не о чем было говорить кроме как о делах. С ним не помечтаешь, как с умным Шпеером, не отдашь воспоминаниям, как с Геббельсом или Герингом. Борман был всегда тут, рядом, но своим в избранном кругу так и не стал.

И, глядя на него сейчас, Гитлер вдруг почувствовал усталость.

— Как Геббельсы? Переселились?

— Да. Магда с детьми обосновалась в верхнем бункере, а Геббельс занял комнату доктора Морелля.

— Ага... Хорошо, Борман... Вы можете идти.

— Мой фюрер...

— Да?

— У меня все еще сидит фон Риббентроп. Он просит вас принять его.

Гитлер раздраженно дернул плечом.

— Zum Teufel! Сколько раз мне нужно повторять, что я не желаю его видеть!

Борман подобострастно изогнулся.

— Я ему объяснил, что вы заняты, но он настаивает. Он говорит, что будет ждать у дверей как верный пес, пока вы его не примете.

Борман метил в слабое место Гитлера; тот это знал, но он догадывался и о другом. Вот уже некоторое время Борман, посредством ли туманных намеков, или через других лиц, старался склонить своего шефа к эвакуации Верховного командования в Берхтесгаден. «Трус! — думалось Гитлеру. — Только и беспокоится о собственной шкуре!..»

Неожиданно он раздумал. Он посмотрел на часы и сказал:

— Ладно, зовите! Только не дольше, чем на десять минут. Слышите: десять минут!

Еще через минуту в кабинет вошел министр иностранных дел Рейха. Худощавый от природы, он похудел еще больше; костюм болтался на нем как на вешалке. Лицо у него было бледное и измученное.

— Мой фюрер... — начал он нерешительно.

Хозяин смотрел на гостя с равнодушным презрением. Этот человек, вместе со своим министерством, был ему теперь ни к чему. Мало того, он возбуждал в нем невероятную скуку.

Гитлер слушал молча. Риббентроп говорил о вещах, в создавшейся обстановке неважных и неуместных. Было ясно, что он зашел, движимый несносным честолюбием, только чтобы напомнить о себе.

Когда он, несколько напыщенно заверив шефа в своей преданности, спросил — окончательно ли решение вождя остаться в Берлине, Гитлер не вытерпел.

— Этот вопрос, герр фон Риббентроп, никак не относится к вашему министерству, — раздраженно бросил он и демонстративно взглянул на часы.

Министру ничего не оставалось, как ретироваться. Хозяин едва буркнул что-то на прощание и, пождав, пока визитер не уйдет, медленно прошел в гостиную, а оттуда в коридор.

От всех этих нудных встреч с генералами и министрами его буквально мутило. Сейчас, как никогда, ему нужно было женское общество. Он прошел до конца коридора и, заглянув за угол, увидел Миша за столом связи.

Гитлер приблизился к нему и, когда тот вскочил на ноги, сказал:

— Пригласите фрау Кристиан и фрейлейн Юнге к чаю — в гостиную! — Затем, подумав, добавил: — И фрейлейн Манциали тоже.

Ни Еву Браун, ни Магду Геббельс фюрер никогда не приглашал к своим чаям; таков уж был им самим установленный порядок.

Когда, точно в пять минут шестого, он вошел в гостиную, молодые женщины ждали его, усевшись на диване и в креслах возле чайного столика. Чайник, приборы, поднос с пирожными, ваза с компотом — все было приготовлено.

Гитлер привычным жестом остановил женщин, когда они сделали движение, чтобы встать.

— Сидите, прошу вас!

Он уселся в свое кресло. Сейчас, среди этих полуреальных, изящных и не слишком умных созданий, он чувствовал себя проще и непринужденней. Ему захотелось чем-то отблагодарить их за эти короткие минуты относительного успокоения.

И он сказал:

— Если бы среди моего генералитета было столько преданных мне людей, скольких я вижу сейчас, война не была бы проиграна!

Он тут же с удовлетворением отметил, что его красноречивый комплимент произвел надлежащее впечатление. Он только пожалел, что эта его сентенция, никем не записанная, не войдет в историю.

Дело в том, что когда-то, вскоре после своего назначения, Борман наладил секретную запись застольного красноречия фюрера. Позднее этот ловкий придворный как-то, будто невзначай, проговорился хозяину о своем «секрете». Гитлер поморщился и приказал принести ему записи. Они оказались тщательно отшлифованными. Гитлер остался доволен.

Внешне он этого не показал; вернул Борману записи без комментариев. Но тот понял. С тех пор записи не прекращались, вплоть до переселения в нижний бункер. Здесь негде было спрятать стенографистов.

И опять кольнуло воспоминание: 10-й номер —

тот самый транспортер, на который эти записи и погрузили! Что с ним?

Но тут же Гитлер спохватился; он считал себя отменным кавалером и внимательным хозяином. Пока Герда Кристиан разливала чай, он предложил дамам пирожные, сам взял ломтик штоли, откусил кусочек и сказал:

— Такую штолю я, помнится, ел в Берхтесгадене на Рождество, в 1938-м или 39-м году. — Он вздохнул. — Да, славное было время. И не нужно было прятаться в бункере.

Женщины смотрели, не отрываясь, ему в рот. Это его вдохновило. Совсем не думая о том, что повторяется, он отдался воспоминаниям: Берхтесгаден, Мюнхен, парад в Париже, триумфальное возвращение в Берлин, приемы, блеск восходящего Рейха!..

Когда он, наконец, остановился, Герда Кристиан восторженно прошептала:

— Такой славы не было ни у Цезаря, ни у Наполеона!

Гитлер скромно улыбнулся:

— Ну, это вы, положим... Маленький Корсиканец тоже оставил по себе след в истории. И потом вы позабыли главного — Фридриха Великого. Вот это, действительно, персонаж для античной трагедии... — Гитлер хотел сделать соответствующий жест рукой, но она дрогнула и, упав на живот, мелко затряслась. Он тропливо накрыл ее другой, сдерживая конвульсию. Минута, пока он успокоился, прошла в гробовом молчании. Тогда он положил правую руку на руку Гертруды Юнге, самой молодой и хорошенькой из секретарш. Он сказал:

— Будьте верны! — Верность — самое высокое качество: она — лучшее украшение немецкой женщины.

Гитлер возвел глаза наверх, но встретив там низкий потолок, сообразил, что в настоящей обстановке слова его могут показаться высокопарными. Чтобы снова опуститься на землю, он стал теребить за голову подошедшую к нему Белянку, большую овчарку светлой шерсти. Он даже объяснил дамам, каким образом эту породу выводят и в чем ее преимущество перед сенбернарами...

Точно в шесть Гитлер поднялся. Немного постоял, нащупывая ускользящее равновесие, затем поклонился гостям и неуверенной походкой направился к выходу.

Не успел он войти к себе в кабинет, как кто-то постучал в дверь. Это оказался Шпеер.

— Мой фюрер, — начал он, — я завтра улетаю и зашел проститься.

«Проститься! Проститься!» — это все, что Гитлер слышал в последние дни. Самое слово выводило его из себя. И хоть бы кто сказал: «Мой фюрер, позвольте остаться с вами!»

Гитлер молчал.

— У меня к вам просьба, — продолжал Шпеер.

— Какая?

— Мы эвакуируем администраторов одного завода. Среди них группа чехов-конструкторов со Шкоды, которых мы вывезли из Праги. Если эти люди попадут в лапы к красным, им не сдобровать.

— Ну и что же?

— Чтобы вывезти этих людей, нужно специальное разрешение.

Гитлер ощутил, как в нем поднимается волна

гнева. «Чешские конструкторы! Черт! До всех ему дело. Обо всех позаботится, кроме...»

— Ну и обратитесь к Риббентропу! — едко обрезал он.

Шпеер выдержал короткую паузу, затем сказал:

— Это моя последняя к вам просьба. Личная просьба.

Гитлер почувствовал, как раздражение спадает. На место него приходила апатия, полное безразличие ко всему.

— Давайте! — Он щелкнул пальцами и шагнул к столу.

Шпеер, торопясь, вынул из портфеля бумагу и положил перед Гитлером. Тот, не читая, проставил внизу свои инициалы. Шпеер спрятал бумагу в портфель и вытянулся.

— Спасибо! И... прощайте! Желаю вам...

Он не закончил фразы; Гитлер, не глядя на него, отошел к карте на стене и там застыл в неподвижности.

Воцарилось молчание.

Шпеер медленно направился к двери...

— Пойдите, Шпеер!

Шпеер остановился.

Хозяин повернулся к гостю. С минуту он колебался, затем с трудом выдал:

— Скажите, Шпеер, почему, каким образом...

— И вдруг, резко оборвал фразу и, глядя в пол, отрывисто бросил: — Auf Wiedersehen!

Дверь за Шпеером закрылась. Гитлер остался один.

Теперь он знал наверное: все кончено! Если у него не хватило мужества поставить этот вопрос и спокойно выслушать ответ, то чего мог он требовать от других?

Шпеер! Он был едва ли не единственным, кто не солгал бы, чья искренность была вне подозрений. Интересно, догадался ли он, какой вопрос думал задать ему Гитлер? Наверное, догадался. И не трудно было догадаться, потому что этот вопрос непрестанно стоял перед обоими: почему была проиграна война? Но ответ на этот вопрос у каждого из них был свой, во многом их заключения не совпадали. Более того: Шпеер знал что-то, чего не знал или не хотел признать Гитлер. И это что-то больше всего страшило фюрера.

Почти всегда, когда он не был занят размышлениями над практическими вопросами или честолюбивыми воспоминаниями о былых успехах, или когда попросту не впадал в состояние бездумной апатии, Гитлер думал об одном: как это могло случиться? Перебирал в памяти препятствия, возможные промахи и просчеты, случайные неудачи, но все это, даже сложенное вместе, не давало ответа на вопрос.

...Ведь как удачно все началось! — думалось ему, — как слаженно работала государственная машина! Успех за успехом, молниеносные и неоспоримые! И какие открывались горизонты! Deutschland über alles! — не это ли было его главной всегдашней мечтой? Да, именно это. Самой войны он, собственно, и не хотел. Она была ему навязана. Если бы он ее не начал, красные орды давно бы захлестнули Европу. Он спас ее, а что получил в благодарность?!

...Еще Францию можно понять: он унизил ее, но должен же был он отплатить ей за унижения 1918 года! А что думала Англия? Нет, мир

определенно сошел с ума, потерял всякий инстинкт самосохранения! Он, Гитлер, пришел в историю слишком рано, как и Наполеон, и остался таким же непонятым, как и все истинно великое!

...Впрочем, думал он, с Англией, да и с большевиками, он бы еще управился, а вот Америка оказалась роковым сюрпризом. Кто мог ожидать от этой изоляционистской страны фермеров и торговцев, что она займется европейскими делами? В идеалистические мотивы американской политики Гитлер не верил. Рынки, торговля — вот что, по его мнению, направляло эту политику; и еще — еврейская пропаганда! Евреи, конечно, не могли ему простить его «решения» еврейского вопроса. И тут у Гитлера иногда возникали сомнения: не поторопились ли он с этим «решением»? Не следовало ли обождать, пока не будет покончено и с плутократами и с большевиками? Но он тут же признавался себе, что ждать был не в силах; слишком захлестывала все его существо слепая ненависть к евреям.

Доходили до Гитлера — через дипломатов в нейтральных странах — жалобы «союзников» на якобы бесчеловечное отношение немцев к военнопленным, а также к населению оккупированных областей.

По поводу первых, помнится, фельдмаршал Кейтель пошутил в ответ, что он-де и сам не рад пленным; такого множества еще ни одной армии не случилось брать.

А насчет населения, так ведь этим, опять-таки, ведал Розенберг, который утверждал, что на этих варваров обычными средствами не воздействуешь...

Гитлер вздохнул. Варвары! Но как, каким образом эти варвары, обезглавленные и деморализованные, смогли остановить продвижение непобедимых немецких армий, разбить его лучшие ударные дивизии, дойти до Берлина? Судьба! Фатум! Какие-то непонятные темные силы — это они вторглись в круг истории, определив, наперекор звездам, его конечную неудачу...

Гитлер очнулся от своих одиноких размышлений, заслышав стук в дверь. В следующий момент он увидел острый лисий профиль Геббельса.

— Мой фюрер, — начал тот с порога, — позвольте приветствовать вас и поблагодарить за гостеприимство!

Гитлер был рад увидеть своего соратника, одного из последних, оставшихся верными ему до конца.

— Здравствуйте, Геббельс! Садитесь! Надеюсь, вы уже обвыклись в нашем подземелье?

Гитлер недаром ценил Геббельса за неиссякаемую бодрость. Вот и сейчас министр выглядел так же, как в 38-м году: в светлом полувоенного покрова пиджаке, в белоснежной рубашке, улыбающийся словно на параде. Он уселся на стул напротив.

— Отлично устроился, — сказал он. — Правда, это не Берхтесгаден, но все-таки лучше, чем в бункере моего министерства.

Гитлер криво усмехнулся.

— Вскоре и это убежище перестанет быть надежным. Вы подготовили проект завещания?

— Подготовил. Он здесь, со мной. — Геббельс чуть приподнял изящный портфель. — Прикажете прочитать?

— Да, прочтите!

Геббельс извлек из портфеля аккуратную папку. Раскрыл. Вздыхнул, словно готовясь к прыжку, и начал читать.

Гитлер слушал, иногда одобрительно кивая, иногда, задумавшись, терял нить мысли. Он доверял Геббельсу; они отлично понимали друг друга с полуслова. Только однажды он прервал чтение:

— Геббельс, это место прозвучало у вас чересчур траурно. Мы не бедные родственники истории: мы — нибелунги, и наше поражение только ступень к будущим победам.

Геббельс, как зачарованный, смотрел на своего шефа.

— Понимаю, отлично сказано! Я это исправлю. — И он сделал пометку на полях черновика. Затем продолжил чтение...

...Итак, вот он, заключительный акт драмы! Гитлер слушал механически. Знакомые слова, старые мысли, повторение мест из «Mein Kampf». Когда он делал наброски «завещания», он, помнится, был вдохновлен, переживал поражение Рейха как великую историческую трагедию, в которой он был главным персонажем. Теперь что-то переменялось. Искоса поглядывая на низкий потолок, на унылое убранство помещения, Гитлер внезапно ощутил, как на место «трагедии» приходит другое — «неудача». И в этом нащупывался иной элемент, чего-то личного, человеческого. Неужели он попросту неудачник?! Победителей не судят, зато неудачников — клянут! Может быть, клянут и его, свои же, тысячи, миллионы, влачащие пещерное существование в разрушенных городах.

Возможно, он смешон? Причем смешон и физически? Последнее время Гитлер стал мнительным. Ему казалось, что и в инвалидности его было что-то неладное, слишком человеческое: дрожащая рука, кривящееся плечо, нелепо дрыгающая нога...

Уже то, что такие мысли могли появиться, было симптомом слабости. Действительно, он был уже не тот. Все чаще ловил себя на жалости к себе и, что еще хуже, на унизительной потребности, чтобы его кто-нибудь пожалел. Но на это никто бы и не осмелился, даже эти милые женщины, смотревшие на него влюбленно-преданными глазами. Даже Ева, в минуты их самых интимных отношений! Для них он по-прежнему оставался вождем, кумиром, несокрушимым в своем крушении. И отсюда рождалось его ледяное одиночество...

Гитлер поднял отяжелевшие веки. Задремал он или просто забылся? Нет, заснул.

Геббельс в кабинете не было. Зато в дверях стояли двое: Борман и Шпеер. В руках у Бормана были какие-то бумаги.

Оба ждали, не смея нарушить оцепенения шефа. Борман первый заметил, что Гитлер открыл глаза. Он выждал еще немного и затем сказал:

— Мой фюрер, получена телеграмма от Геринга. Гитлер молча смотрел на своего секретаря. «Телеграмма. Геринг... И почему они сами не могут ничего решить? Почему все падает на него, на него одного?»

— О чем там?

Борман, торопясь, поднес бумагу к глазам и стал читать.

Геринг запрашивал Гитлера, не пришло ли вре-

мя, ввиду полной неясности берлинской обстановки и изолированности фюрера от внешних событий, передать, согласно декрету от июня 1941 года, управление Рейхом ему, Герингу? Геринг просил ответа до 10 часов вечера.

Гитлер выслушал спокойно. Он видел, как взерошен Борман, но он знал и то, как тот ненавидит Геринга. Шпеер стоял, бесстрастно глядя в пол.

— Ну и что же, — сказал Гитлер, — ответим ему, что время еще не пришло.

Бормана всего передернуло.

— Это еще не все, — сказал он, — здесь у меня вторая телеграмма, адресованная Риббентропу.

— Риббентропу?

— Да. В ней Геринг требует, в случае, если до 12 часов не последует инструкций от вас, чтобы Риббентроп немедленно вылетел в Берхтесгаден с докладом Герингу, как законному руководителю Рейха. Это измена, это гнусное предательство!

Но Гитлер и сам уже вышел из состояния апатии. Он весь дрожал от бешенства.

— Мерзавец! — глухо пробормотал он. — Как смел он! Как смел!

Борман подлил масла в огонь.

— Да, мой фюрер, Геринг — предатель! Его следует незамедлительно арестовать и расстрелять. Я давно уже предупреждал вас относительно этого субъекта. Если бы вы были в Берхтесгадене...

Это было ошибкой Бормана. Напоминание о бегстве из Берлина охладило Гитлера. Он сказал:

— Расстреливать рано. Пока же передайте ему, что я отрываю его от всех занимаемых им должностей. Он должен немедленно подать заявление об отставке!

— Но...

— Никаких «но»! Ступайте и выполняйте мой приказ! И чтоб через час был ответ! Понятно?

— Яволь, мой фюрер! — Борман щелкнул каблуками и направился к выходу.

Шпеер последовал за ним, но Гитлер остановил его. Он подождал, пока Борман не скроется за дверью. Затем сказал:

— Шпеер, считаете ли вы правильным мое решение остаться здесь, в Берлине?

Шпеер, не задумываясь, отвечал:

— Да, вы решили правильно. Ваше место сейчас здесь, в столице Германии.

— Спасибо, Шпеер. Я и не сомневался в вашем ответе. Я только хотел проверить. Это все. Вы можете идти. Прощайте, Шпеер!

— Прощайте, мой фюрер! — Шпеер повернулся кругом и вышел из кабинета.

Гитлер опять остался один. Сверху глухо донеслись разрывы снарядов. Это тяжелая артиллерия «красных варваров» нащупывала последние очаги сопротивления в обреченной столице.

Петр Александрович Муравьев родился в Белграде, Югославия. Там же окончил русскую гимназию.

В 1947 г. окончил Мюнхенский университет — по политической экономии, а в 1970 г. получил докторскую степень по русской литературе — при Нью-Йоркском университете.

В США работал инженером-экономистом, консультантом промышленности и профессором экономики и промышленного управления — при Нуваркском инженерном колледже.

В 1974 г. вышел роман «Время и день»; в 1980 г. — сборник рассказов «Тень Дон-Кихота»; в 1986 г. — сборник рассказов «Звезды над Смоленском»; в 1990 г. — роман «Полюс Лорда».

В 80-х годах у писателя возникло новое увлечение — живописью.

В сентябре 1988 г. состоялась персональная выставка П. Муравьева (50 картин) в Музе им. Гериха в Нью-Йорке.

Уважаемые читатели!

В № 11 за минувший год мы рассказали об оздоровительном продукте, появившемся на российском рынке — Кембриджском питании. Интерес к нему постоянно растет, все больше людей вовлекается в орбиту его использования и распространения и потому, естественно, возникают вопросы, связанные с использованием продукта.

Так, многих интересует, является ли Кембриджское питание лекарством, можно ли с его помощью лечить различные болезни? Ответ на этот вопрос на первый взгляд покажется странным — это не лекарство, но с его помощью можно избавиться от многих недугов. Дело в том, что мы привыкли называть лекарством то, что целенаправленно воздействует на организм, принудительно корректируя работу тех или иных органов. Ни для кого не секрет, что такое воздействие далеко небезопасно, так как, с одной стороны, существует вероятность ошибки в диагнозе, а с другой, — принудительное изменение режима работы отдельных органов часто приводит к отрицательным побочным эффектам. Альтернативой такому традиционному подходу является способность организма самостоятельно избавляться от недугов при его очистке от шлаков и насыщении необходимыми полезными веществами. Ведь не зря диетологи утверждают, что истинной причиной многих заболеваний является нехватка в организме тех или иных полезных веществ — минералов, витаминов или белков. Так вот, Кембриджское питание содержит полный набор питательных веществ в очень точно подобранных соотношениях — это и есть то, что действительно нужно нашему организму, чтобы побороть недуг и обеспечить необходимую профилактику.

Часто задают вопросы, связанные с целесообразностью использования Кембриджского питания для практически здоровых людей, в частности, для спортсменов. Известно, что в спорте очень важно поддержание стабильного веса. Поэтому перед спортсменами, особенно при подготовке к соревнованиям, очень остро стоит проблема снижения лишнего веса. Как ни удивительно, но даже в наше время спортсмены решают эту проблему баней и примитивным голоданием, поскольку известные на российском рынке средства снижения веса не проходят допинг-контроль. Так вот, можем приятно обрадовать спортсменов — Кембриджское питание успешно прошло тестирование на допинг-контроль, о чем имеется соответствующее заключение Антидопингового комитета. Продуктами Кембриджского питания успешно пользовались члены олимпийской сборной США по плаванию, а также альпинисты, совершавшие восхождение на Эверест. Уже имеется опыт использования Кембриджского питания и нашими спортсменами при подготовке к играм Доброй воли и другим международным соревнованиям.

Более подробные справки по затронутым вопросам, связанным с использованием и распространением Кембриджского питания, можно получить в редакции журнала «Юность» по телефонам (995) 251-27-29; 207-13-54; 218-18-86 или найти в последующих номерах журнала.

Борис ГАШЕВ



Борис Гашев живет
в Перми. Молодость его
прошла, но поэтическая
сила окрепла. И мы
слышим в его стихах,
как душа разговаривает с
землей и небом.
Временами слишком
откровенно, временами
надрывно, но всегда
искренно. Он говорит
то, чего не сказать
не может. Великая сила
настоящей поэзии
заклучена
в пронзительном звучании
мелодии, созвучной
одному из многих
настроений человека.
Мы чувствуем в Гашеве
поэта, стесняющегося
грубостей жизни, потому
что главное для него —
любовь к окружающему
миру, к людям,
к женщине.
Обязательно прочтите
публикуемые ныне стихи,
самобытного поэта,
которому дано многое
совершить.

ПОЛОВОДЬЕ

Воздух водою насыщен.
Нищий ютится над нищим.
Нам бы проснуться как раз.
Но просыпаться так рано —
Это же как из романа:
Помнишь его «вас ист дас»?
Так что проснуться не время.
Нищий проснется над теми.
А они поздно легли.
Соль это, видно, земли.
Но если в сны их пуститься,
Надо бы сразу напиться,
Надо бороться — за что?
Адрес ли был или арест?
Суп был вчерашний наварист.
И помешало авто.
Кто это был или некто?
Вдруг загорелся прожектор.
Первая, что ли, беда?
Воздух насыщен водою.
Вот ты приходишь с белою.
Первая, что ли, беда?
Первая, что ли, вода?
Что ж мы — воды не видали?
Или с бедой не живали?
Переживем, обойдем.
Краем мы глаза заметим:
Этот пришел не за этим.
Так обойдем водоем
Берегом и бережком.
Я разлюбил эти мысли.
Я тебе не говорил:
Ненавистью я окислил
Русла русалочки жил.
Вместе с твоею бедою
Их у меня только двое.
Синие, лед так и прет.
Скоро природа замрет.
Воздух, насыщенный влагой,
Станет кружить над бумагой.
Остановившись, вода
Не потечет никуда,
Но, пробудившись под утро,
Спросишь ты будто со зла:
Все же летели по ветру
Молодости голоса?
Да, пролетали. Я слушал.
Души витали и души.
Все облака, облака.
Все мы имели не темя —
Время катило на время.
Но, мы считали, — пока.
Сразу за временем где-то
Будут дорога и лето,
Явятся тут времена...
Старый тот, битый и тертый,

Сразу бы вспомнил про черта
И отпустил стремяна.
Вот и выходит, что все же
Мы их голоже и зложе.
Но и по качеству зла
Мы отступаем под утро,
Отвеселились как будто,
В тень на воде от весла.

ВЕРЕЩАГИНО

Верховой в сапогах и в казенной фуражке, вояка,
Спьяну тот отворот проскакал со своей гольтьбой.
Обошлось до поры. Наклоняйся над чашечкой мака.
Не хватились покуда — будить и волочь за собой.
В деревянном закуте мы празднуем месяц медовый.
Дорвались друг до друга — и оба всю ночь без ума.
Дом на цыпочках ходит — за дверкой ни стука, ни зова.
Только-только меня миновала ошибкой тюрьма.
Что за сон с молодой? Я — как мальчик в той спаленке темной,
Отчужденный от вас, непонятный себе самому.
Звонко маятник ходит пустынную площадь комнат.
И звезда за окошком. Лежит он и смотрит во тьму.
Он — сосудик из глины. В нем тикает маятник ночи.
Шевелятся деревья, по звездам текут облака.
Он не помнит себя и собою он не озабочен.
Между ночью и ним — никаких средостений пока...
Об угле и о хлебе еще мы отыщем докуку.
А пока — одеялом укройся, как в детстве, и спи.
Словно общей напасти, мы отданы миром друг другу.
Как от дерева в парке — внезапно под сердце ступи!
Ты невестка в дому. Старики мои ходят — не дышат.
Не раздумала бы да не кинула их дурака.
Между нами и ночью — пробитая звездами крыша.
Тот — в фуражке, как блин, — прозевал отворот с большака.

* * *

Не знаю, что с тобою случилось,
Где закопать тебя могли б?..
Быть может, я одна осталась
От всех вербовок и женитьб,
Лесоповалов и каналов,
От пьяных драк и пьяных игр...
Тебе все денег было мало,
Душевных баб, душевных книг...
Благодарю тебя, безвестный,
Что заходил ты в тот барак,
Где с глупой девочкой неместной
Ты заключил недолгий брак.

* * *

Не беда — сторонняя беда.
Как горох от стенки отлетает.
Вот с самим получится — тогда
Подобреет человек, оттает.
Что ему, казалось бы, добреть?
В самый раз ему ожесточиться!
Как ему чужой бедой болеть?
Со своей никак не разлучиться!
А гляди-ка — ладит он с людьми.
Под глазами слезы не обсохли —
А добреет, черт его возьми,
Недоумок, простофиля, рохля!
Он приходит на гулянье в сад.



Головою крутит он, дивится.
Хорошо! Фонарики висят!
Колесо потешное вертится!
Вот он лезет сам на колесо.
Вот средь прочих по аллейке бродит.
Вот он побледневшее лицо,
Как на крик, внезапно оборотит...

* * *

Вот это мой маленький город.
Теперь он как будто ничей.
Когда-то здесь холод и голод
Терпел я средь добрых людей.
А там, где была моя школа, —
Канавы. И я не возьму
В толк — в садике этом вот голом
Тебя ревновал я к кому?
Была ты танцовка и всяко
Училась. Но праздник — и вот
Выходишь ты в белом из мрака,
Мы смотрим, разинувши рот.
Мы любим. На свете нас двое.
Пускай рукоплещет весь зал.
Любовь это. Что же другое?
Другого тогда я не знал.



* * *

Приходили без пуговиц мы,
накатавшись в овражке.
Механошина мать
угощала нас белой бражкой.
Выпьешь — весело, сытно,
и кованок страшная сила
Нас по санному следу,
пугая людей, уносила.
В те года на Урале
любила зима ребятишек.
Да и лето стояло за то,
что нам книжек в излишек.
Как ты явишься в лес,
так вокруг тебя елки и елки,
Косогоры, ручьи,
мухоморы, коровы и телки.
Мы бросаем футбол.
Через поле футбольное тучей,
Наташив паутов,
прут коровы со жвачкой липучей.
Всем задание дано:
подобрать чтоб корову,
а в мячик
Пусть пока поиграет без вас
стройплощадский тот мальчик.
Вот коровы пришли с молоком,
им охота доиться,
И с коровами нам, футболистам,
пора по домам расходиться.
А на поле пустом,
вкруг которого грядки да ельник,
Стройплощадский мальчишка
гоняет свой мячик, бездельник.

* * *

Естественно, что человек
Потерянный и одинокий,

Чтоб вычеркнуть душу навек,
 Предлоги найдет и предлоги.
 Но можно ль пенять на него,
 Бездушного пасынка рая?
 Ведь нам от него никому ничего —
 Ни чиха, ни чоха, ни грая,
 Когда он в окошке стоит, не спеша,
 На уровне бедной вороны,
 Когда он глядит козырьком, как душа
 Уносится в сторону ону.
 Глядел и глядел он — и перекрестил
 Летунью, и с нею простился,
 И всех нас простил он,
 И ногу спустил,
 И воздух под ним расступился.

Ослепнувши, когда-нибудь
 Ни из каких окошк
 Я не увижу на небе
 Любимый этот ковш.

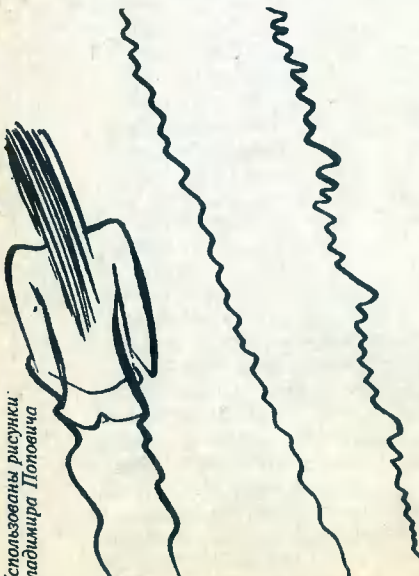
Лети-ка ты до берега
 Другого, стрекоза.
 Тут в воду звезд потерянных
 Я окуну глаза.

Не зачерпну ни черную,
 ни белую Неву.
 Я ниточка крученая,
 Я Бога не гневлю.

«Осень в дубовых песах»...
 Холодно и современно.
 Что ж у тебя на глазах
 Слезы стоят непременно?
 Что ж через вскрик, через всхлип
 Душу берет и заводит
 Между дубов тех и лип
 За угол да и за ободь*?
 Что ж ты как встал, так и сел,
 Приноровившись убого,
 Около северных сел,
 Около черного стога?

Женщина — золото! Господи,
 Чем ты такую прельстил,
 Морда, изрытая оспою,
 Черный от пота костыль?
 Может, ты славной дорогою
 Шел, чтобы счастье добыть?
 — В логово, помню, что в логово
 Вполз, чтобы выпь, чтобы выпь.
 — Как же друг другу открыли вы
 Душу?
 — Во мраке земли
 Вместе завыли, завыли мы
 И, как песок, потекли.

* Ободь — круг, крюк, изгиб, дуга (В.Даль).



Использованы рисунки
Владимира Поповича

Александр ЛАВРИН

БЕДНЫЙ ЕВГЕНИЙ

НА РУБЕЖЕ
ВЕКОВ,

или
О русском
мещанстве
замолвите
слово



Тайна русской души, волнующая Запад и раздражающая Восток, неразрывно связана с понятием русского народа. А русский народ до сих пор рассматривается как синоним крестьянства, равно как народная культура на Руси издревле отождествляется с крестьянской. Споры нет, деревенский уклад значительно повлиял на российскую ментальность. Однако, если с Рюриковичей и до последней четверти XIX в. символом России и впрямь было крестьянство, то на рубеже XIX-XX вв. центрообразующим началом государства безусловно стало мещанство.

В середине прошлого века мещанин — это горожанин низшего разряда, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству; к числу мещан принадлежали также ремесленники, не записанные в купечество. Податные сословия отличались от дворянства и духовенства не только обязанностью платить подушный налог. Мещане получали срочные паспорта с «пропиской» (неподатные сословия — бессрочные паспорта с правом проживания на всей государственной территории) и подлежали дисциплинарной власти тех сословных обществ, к которым были приписаны. Однако уже в конце царствования Александра III социальная демаркационная линия размылась, и мещанство в значительной степени потеряло четко выраженные сословные черты. Оно, как губка, легко вбирало в себя другие сословия. Мещанство стало определяться не табелью о рангах, не уровнем материального достатка, а отношением к миру, системой исповедуемых ценностей, укладом.

По статистике, в 1900 г. в столице Российской империи Санкт-Петербурге «официальных» мещан насчитывалось 275 тысяч, то есть пятая часть населения города (включая пригороды). В небольших же городах мещане составляли порой до половины населения. Однако ж, статистика вещь обманчивая, ибо в разряд мещан на самом деле можно отнести и крестьян, подавших в город на заработки, и обедневших мелкопоместных дворян, и провинциальную земскую интеллигенцию — фельдшеров, учителей и т.д., и учащихся всевозможных курсов, и военных в низших чинах, и мелких торговцев, и конторских служащих... Все эти социальные «слои и прослойки» объединяла специфическая общность — этические и эстетические идеалы, традиции быта, которые можно обозначить термином «мещанская культура».

Вот факт, над которым стоит задуматься: в Петербурге в том же рубежном 1900-м году, из каждой тысячи женщин 180 работали домашней прислугой! Ну, а идеалы прислуги известны: ночью примчится граф и увезет на роскошный бал (комплекс Золушки-Сандрильоны). Те, кто поскромнее, довольствовались приказчиком из магазина готового платья. Самые скромные выходили замуж за дворников или чернорабочих.

Вспомним, что и дворник, и чернорабочий — это, в большинстве случаев, вчерашний крестьянин (2/3 населения Москвы и Санкт-Петербурга в начале века!). Он еще тужит о том, что давно не было дождя, и невольно замедляет шаг возле извозничьей лошадки («справная!»), а уж его дети засматриваются на красные с черными козырьками фуражки посыльных и галуны швейцаров. Они готовы стать лоточниками, мороженщиками, дворниками, половыми, трубочистами, газетчиками, точильщиками, а кто хорошо знает счет, можно попробовать и в кассиры... Главное — они уже навечно вписаны в городской пейзаж, в его разномастный шум («Ма-ро-жин!», «Селе-дки гала-ански», «Точить ножи-ножницы, бри-итвы править») и в людную толчею.

Наиболее шустрые не остановятся на работе по

найму, а, поднакопив денег, откроют свое дело — мелочную лавку или мастерскую. Ну, а кто-то станет служащим — канцеляристом самого низкого, четвертого разряда (как сын мещанина) и через 12 лет получит первый классный чин — коллежского регистратора. А дослужится к 60 годам до IV класса по табели о рангах — станет дворянином и дети его будут дворянами...

Вот он, новый российский тип, — человек, порвавший с одним укладом и стремящийся вписаться в другой, — в котором он пока что воспринимает только внешний блеск: по будням неприменная жилетка, а по выходным — бумажные воротнички ценою в 5 копеек, напомаженные волосы и плоские часы вороненой стали с цепочкой накладного серебра из Варшавы или Лодзи, дабы быть «не хуже людей». А повезет — и выбиться в люди.

Жилось мещанам не легко, но — жилось, хотя цены порой и кусались, особенно столичные.

Вот каковы они были на рубеже веков.

Театральный бинокль, крытый кожей, — 5 руб.

Стушенное молоко для детей — 85 коп. за одну банку.

Оперный абонемент на 3 концерта Аделины Патти — от 60 руб. (кресла первого ряда) до 3 руб. (стоячие места на галерке).

Скрипка: самая дешевая — 2,5 руб., самая дорогая — 100 руб.

Фотоаппарат для любителей — от 18 до 50 руб.

Плата за трехкомнатную квартиру в доходном 7-этажном доме — от 350 до 441 руб. в год (без дров).

Плата за подъем в лифте в доходном доме — 2 руб. в месяц с одного жилья.

Бани — от 5 до 10 коп. дешевые (в раздевалках крашенные деревянные скамьи), от 20 до 40 коп. дорогие (мягкие диваны и оттоманки в белых чехлах), семейные номера — 1 руб.

Езда на извозчике (официальный тариф) — от 60 коп. в час (днем) до 90 коп. в час (ночью).

Книга д-ра Лоренца «Грехи молодости», «поучительное слово ко всем, расстроившим свою нервную систему онанизмом и распутством» — 1 руб.

Благовонное мыло, обильно пенящееся — 60 коп.

Кислая шинкованная капуста — 80 коп. за четырехкилограммовый бочонок.

Готовальня из латуни — 1 руб. 75 коп.

Сигары из хорошего бразильского табака — 7 руб. за 100 штук.

Ткань джерси — от 1 р. 35 коп. до 4 руб. 10 коп. за аршин.

Пишущая машинка марки «Бостон» — 30 руб.

Кашемировые шерстяные платки — от 32 коп. до 8 руб. 50 коп.

Установка телефона на дому — 100 руб.

Снять дачу в пригороде Москвы или Петербурга — 40-60 рублей за лето.

Ну-с, а теперь взглянем на цифры зарплат и некоторых других доходов.

Учитель гимназии — 50-70 руб. в месяц.

Фельдшер — 20-30 руб. в месяц.

Политический ссыльный (стипендия от правительства) — 15 руб. в месяц.

Актёр императорского театра — от 120 до 200 руб. в месяц.

Водопроводчик в доходном доме — 35-40 руб. в месяц.

Дворник — от 20-30 (младший) до 40 (старший) руб. в месяц.

Председатель Петербургского городского кредитного общества — 5 тысяч руб. в месяц.

Часы (они же зарплата) официанта недорогого ресторана — от 25 до 150 руб. (NB. Все доходы официантов,

включая и «приписки», шли в общий котел, делившийся два раза в месяц.)

Первый приз за победу на рысистых бегах на 1,5 версты для лошадей 1-го класса — от 300 до 2000 руб.

Премия общества естествоиспытателей за лучшее сочинение по анатомии и эмбриологии тутового шелкопряда — 500 руб.

Сравнив таблицы доходов и расходов, мы поймем, что фельдшер, не имевший выигравших облигаций, не владевший скаковыми лошадьми и не изучавший на досуге анатомию тутового шелкопряда, должен был пожертвовать двух- или трехмесячной зарплатой, чтобы из партера Санкт-Петербургского зала дворянского собрания насладиться бельканто Аделины Патти. Зато он мог на свою зарплату купить 200 отборных огурцов, 100 сигар, готовальню из латуни, краску для волос, сотню яиц, 10 фунтов шинкованной капусты и книгу о вреде онанизма. Это при условии, что ему не надо платить за квартиру.

Ну, а перед теми, кто выбился в люди, стояла другая задача — перейти из «людей» в «господа». Иногда переходили своими трудами, получив повышение на службе или заработав капитал, иногда — выдав дочь замуж за управляющего банком или за гвардейского офицера. Но и поднявшись по социальной лестнице, наши доблестные мещане не изменяли своим привычкам — по-прежнему пили чай с блюдца и курили папиросы «Дядя Костя», — ну, разве что мужчины заводили для парадных случаев сюртук и шевровые ботинки, а женщины к зимнему пальто покупали муфту из того же меха, что и воротник.

Правда, жена новоявленного «мещанина во дворянстве» как бы ненароком старалась пройтись с мужем по Невскому проспекту мимо магазина Кэпта и Тэта, где в эффектных витринах с вращающимися электрическими лампочками блестели искусственные бриллианты в оправках из фальшивого золота.

«Милый, посмотри, какая прелесть! Может быть, взглянем? Буквально на секундочку, а?»

«Потом, душенька, потом. Ты же знаешь, я сегодня не при деньгах».

СВЕРЧОК ЗА ПЕЧКОЙ

Домашний очаг.

Среди немногих русских писателей, открыто ставивших его во главу всех ценностей мира, — Михаил Булгаков. В сущности, «Белая гвардия» — это гимн не дворянству, офицерству или интеллигенции, — это гимн мещанству, это воспевание домашнего уюта, семейных радостей, какого-нибудь зеленого или оранжевого абажура.

«...А потом, потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда... Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысшей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть вост выюга — ждите, пока к вам придут...»

Взгляните, вот оно, это окно, где светлый абрис абажура — как спасательный круг в водовороте времен. А вот и дом, в котором светится окно, — дом, домик, берлога, гнездышко.

Каменные доходные дома, двухэтажные посадские меблированные комнаты, общежития для холостых и одиноких, семейные номера при банях, — какая разница, если там ждут вас верные, любящие сердца.

Кстати, в одном и том же доходном доме, как правило, были и роскошные апартаменты и маленькие, весьма скромные квартирки. Случалось, товарищ

министра жил в одном подъезде с клерком из своего же министерства. Иногда, если оплата квартиры была семье не по карману, одну из комнат сдавали в поднаем студенту.

Мещанская квартира — это музей счастья.

Экспонаты?

Камин или печка с изразцами.

Затем буфет, крепкий, добротный, с двойным карнизом, широким, как рушник, с высокими, острыми пилястрами — вот-вот пробьют потолок, с нижними филенками, в шахматном порядке инкрустированными, с перламутровыми да ореховыми интарсиями в виде не то цветов, не то русалочьих хвостов, взметнувшихся вверх, будто кто русалок вспугнул и разом они попрыгали с берега в воду, с арочными закруглениями матовых, цвета материнского молока стекол, с таким обширным резным бандельверком, будто от количества резьбы зависела самая жизнь резчика.

Кряжистый, бесстыльный комод.

Декадентская кушетка в виде створки раковины, обитая почему-то доампирным васильковым репсом.

Канарейка в зеленой клетке.

Самовар, абажур и другие священные вещи, в числе которых «Аристон» — музыкальный ящик с железными пластинками, позднее сменившийся граммофоном («Не брани меня, родная...»).

Настенные часы с боем фирмы «Павел Буре».

...По воскресеньям со вторым или третьим ударом часов садились за стол. Ели что-нибудь попроще, ну, там суп из бычачьих хвостов, на второе кенигсбергский клопс с картофельными котлетами, на десерт шоколадный пломбир...

После обеда квартира являла собой идиллию: глава семейства читает «Ниву» или «Новое время», мать вышивает по канве, дочь делает уроки, сын клеит игрушкусамodelку. А под окном шарманка играет «Разлуку», и под этот аккомпанемент тоненький детский голос выводит жалостные слова.

Вынув из портмоне монетку, отец подзывает сына: «Поди, поблагодари...» Сын бежит к окну и летит к ногам шарманщика завернутый в бумажку пятак.

— Ни-икто нас не-е различит, лишь ма-ать сыра-земля...

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ

Чарующие, таинственные слова — начало века... Но каким оно было?

Чем, например, славен год от Рождества Христова 1913-й?

Для одних россиян его дни были заполнены изнурительной двенадцатичасовой работой, смрадом и грязью рабочих барачных, бранью околоточного, тумачами в кабаке. Для других — карточной и биржевой игрой, чтением газет, писавших о сенсационных процессах, ездой на лихачах и — «Па-азвольте вашу ручку, дорогая... Ах, как я устал... А вас не манит эта чарующая безглагольность, ангельские голоса небытия?» Для третьих — ежедневным, от и до — просиживанием в присущенном месте. Для четвертых — кропотливой работой в мастерской или торговлей в собственной лавочке, накоплением — копеечка к копейке — капитала для наследников.

Но и те, кто работал, и те, кто прожил жизнь, одинаково хотели любить и быть любимыми. Порой это принимало и гипертрофированный характер.

Среди молодежи в 1910-х гг. стали популярными самоубийства, особенно у юных парочек, даже если не было никаких препятствий для сочетания законным браком. Но ведь законный брак — это так скучно...

Неужели уйти в семейные повседневные рутинные хлопоты, когда вокруг все дышит азартом распада, ароматом гибели великой империи? Вероятно, флюиды любви и смерти с необычайной силой пронизывали в начале века воздух России.

«В эту зиму, — вспоминает очевидец, — танго входило в большую моду. Томные звуки экзотической музыки неслись по России из края в край. Цыгане рыдали в кабинетах рестораторов, звенели стаканы, и румынские скрипачи, одетые в красные фраки, завлекали нетрезвых мужчин и женщин в сети распутства и порока».

Что понимали наши прадедушки и прабабушки под этими словами — распутство и порок?

Остановимся на умыкании жен. Впрочем, можно ли назвать это умыканием? Волна сама стремится к берегу, чтобы разбиться о него. Да, это больно, но любая боль стоит мига, когда домашняя хозяйка вдруг ощущает себя вставшей на дыбы стихией — буйной, кипящей, неудержимой...

А тут еще в журналах печатают стихи и прозу о том, как среди болотных лилий и тубероз, в причудливых извивах тумана белеют «гирлянды роскошных тел, изнемогающих от желания и неги, зовущих на праздник жизни».

Наивно сравнивать тогдашнее распутство с нынешним. Многие считали распутством даже гражданский брак. Случалось, если женщина жила с невенчанным мужем, в доме ее переставали бывать даже родственники.

Общественное мнение в начале века категорически осуждало разврат, присяжные заседатели сплошь и рядом оправдывали мужей, убивавших неверных жен, и в то же время в России официально существовали публичные дома, и полиция ежегодно выдавала десятки тысяч желтых билетов — патент для работы на панели. А кроме уличных девиц, были еще великосветские куртизанки, дамы полусвета и дамы-содержанки, которые, разумеется, нигде не регистрировались.

Порнография воспрещалась законом, но фотографии ловко обходили его, то наряжая модель в трико телесного цвета, то придумывая еще какой-нибудь забавный способ...

Эстетика эротики в начале века была статична, и это позволяло ей сохранять достоинство. И даже проваливаясь в пошлость, эротика не унижала женщину. А обнаженное плечо на почтовой открытке волновало сильнее, чем сегодня голые ягодицы на огромной журнальной обложке. Вот парадокс нашего времени: видеоряд стал крупнее, но как измельчал!

А все потому, что в начале века процветал флирт — флирт как способ жизни, как развлечение, как игра, как ритуал. Каждая женщина была актрисой, каждый мужчина — актером. Виртуозность сердечной игры была необходима, чтобы заставить другого поверить в твою искренность, разумеется, кроме случаев, когда влечение и любовь были и впрямь искренни.

«Чтобы завладеть сердцем женщины и пленить ее воображение, надо только настойчиво ухаживать за ней, изучив ее слабости», — такую рекомендацию давали мужчинам в модных журналах сами женщины. Длительный ритуал ухаживания позволял даме утверждаться не только в глазах мужчины, но и в собственных. И как приятно было при звуке его шагов принять небрежную позу женщины утомленной и разочарованной, но не без идеалов, или же кокетливо-шаловливой, однако себе на уме.

ДЕВЬ АНТЕЛА

Буднями жили надеждой на праздники.

А праздников было немало. Если в Голландии на 308 рабочих дней приходилось 57 праздничных, то в России

на праздники выпадало 98 дней! Большинство, разумеется, религиозные, но, помимо того, праздновали день рождения Государя Императора (6 мая) и его же тезоименитство (6 декабря).

Среди светских праздников главный — Новый год.

На столе шампанское, мадера или токайское. Обед из тонких блюд. Бульон а la jardiniere. Судак под соусом из каперсов. Жаркое из кур с моченой брусникой. Песочный торт с малиновым вареньем.

А еще можно было купить окорок или телячью ногу и отдать запечь в маленькую пекарню при мелочной лавке, и это вкуснее любых утонченных кушаний с экзотическими названиями. Да и дешевле.

По праздникам в Санкт-Петербурге, Москве и городах второго и третьего классов устраивалась иллюминация с фейерверком под восторженные крики гуляющей публики. А народ погулять любил, не различая чинов и сословий. Гуляли на масленице, на Вербной неделе, перед Рождеством Христовым.

Но праздником праздников была Пасха. (Если женщина могла себе позволить шить лишь одно платье в год, то она делала это именно к Пасхе). Крестный ход, перезвон колоколов (в пасхальную неделю дозволялось звонить всем желающим), счастливые, просветленные лица. Всюду: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» Христосовались, менялись крашеными яйчками, ездили на кладбище, потом на обед к родственникам или принимали у себя...

Разговлялись так, что за ушами трещало. Одно перечисление блюд приводит в трепет. Барашек из масла. Пасха (фисташковая или ванильная). Вареная ветчина. Рулет из поросенка с хреном. Рыба «гоуал». Холодный паштет из печенки. Рябчики. Бекасы. Свежий салат. Бабы. Мазурки. Миндальный торт.

На Пасху, Рождество и Новый год в доходных домах в квартиры поднимался дворник и поздравлял всех с праздниками; засим выпивал поднесенную рюмочку, кричал, принимал «на чай» и после «Благодарствуйте, премного доволен!» шел дальше.

А еще были праздники личные и семейные — дни рождения, именины, крестины... Особенное счастье в эти дни для детей.

Мальчик наденет голубую или красную рубашку-косоворотку, поверх нее черный бархатный казакин с косой застежкой, подпоясанный шелковым поясом, плисовые шаровары и высокие черные сапожки — «под черкеса». Девочка щегольнет новенькой плиссированной юбкой, шелковой блузкой или белой матроской с синими воротничком и манжетами. Волосы по такому случаю не заплетут в косы, а завьют в крупные локоны и повяжут сверху большой бант.

(Впрочем, если мальчику еще нет пяти лет, то и его нарядят в платьице — так советует знаменитый педагог, ученый немец Фребель).

С утра — обещанная прогулка в городской сад, где огни, и лимонад, и «морская» карусель, и гармонь играет так весело, что невозможно уйти. Но уйти надо, потому что дома ждет воздушный земляничный пирог, каравай-каравай, кого хочешь выбирай, а что мы тебе подарим? а мы тебе подарим... велосипед! Ура-а!

С днем ангела вас,

Колянька!

Сашинька!

Надинька!

Евдокия Павловна!

Иван Аполлинарьевич!

Федя, а ты где спрятался? а ну-ка, иди сюда, — да-да, господин Девушкин, и вы тоже, не волнуйтесь, мы всё помним, —

с днем ангела вас, канувших в темноту зеркал, в свет нашей памяти!

ТЕНЬ МИНОТАВРА

Тень Минотавра жила в развалинах древнего лабиринта, она угрожала и нащептывала обещания, Эль Греко, тогда еще Доменико Теотокопули, бежал от нее с Крита.

Тень мученика, обреченного убивать и быть убитым. Тень, невидимыми нитями связанная со звездами («Астерий») и с грозно дышащими глубинами земли.

Тень зверя, вечно блуждающего в темноте...

Одержимый жаждой признания, художник оставил остров, и тень повлечлась за ним. Выбирать не приходилось: Рим и Мадрид, две столицы католического мира, диктовали эпохе художественный вкус и присваивали титулы великих и гениальных. Рим — это Микеланджело, Леонардо, Рафаэль. Тень Минотавра, павшая на fresки Микеланджело, сделала их ужасающе-глубокими и неприятными; Эль Греко, обуянный гордыней и ненавистью, предложил тотчас содрать их со стены и дать простор его собственной фантазии. Буря негодования обрушилась на него. Оставался Мадрид с его мрачной преданностью великой идее стоического, почти казарменного, служения Богу. Но извращенность фанатизма давала право эксперименту на буйство, художественные каноны римской церкви здесь не довели. Эль Греко устремляется в Мадрид.

Испанский король Филипп II, мистик из мистиков, инстинктивно сторонится мистически-цветового угара картин Эль Греко. Они ему кажутся неприятно красивыми, правда, небеса кишат святыми, земля — верующими; святая церковь торжествует, но что-то непривычно-тревожащее отталкивает короля. Как Кащей Бессмертный, он чует резкий запах человечины в странных картинах и на всякий случай не приближает к себе живописца, стремящегося населить своими образами храм католичества — Эскориал. Эль Греко не сдается и оседает в старинном, прекрасном и вольнолюбивом Толедо, серебряном городе, жилище и саркофаге, городе-призраке.

Три человека подвергли сомнению гений Эль Греко: Филипп II, знаменитый латиноамериканский писатель Хорхе Луис Борхес и православный священник Александр Салтыков.

Филипп II смутно предчувствовал, Борхес впрямую обвинял, Салтыков объяснял причины и следствия ренегатства.

Борхес возмущало в картинах небо, напоминающее служебный Ватикан. Он объяснял живопись Эль Греко как неверие («безразличие»), приспособляющееся к вкусам властей.

Александр Салтыков говорит о грубом натурализме эмоций; о том, что «текучая плоть, лишенная костей», принимаемая за некую духовность — лишь искусственное построение: «Представлял Христа по-земному потому, что мысли их — о земном». Эль Греко — выходец из православного Крита, изменил православию, поддавшись искушению славой, богатством, мощью католичества...

Как ни странно, все обвинители сходятся в одном: Филипп II слабо подозревает обман, Борхес прямо говорит о корысти и неверии, Салтыков называет причину: предпочтение земного духовному.

Все трое чувствуют темную силу, клубящуюся за сверкающими полотнами. И сила эта — тень Минотавра, повседневно искушающая, насыщающая дикой энергией и являющая облик зла, с которым художник ведет отчаянную борьбу. Неизвестно почему вспоминаются строки друга художника, поэта Гонгора: «...только адом побеждают ад».

А клубок жизни катится и катится. Состязаются поэты, художники выкупают друг у друга заказы, оружейники коуют оружие, водоносы торгуют водой, крестьяне кропотливо копаются на своих полях... И непрерывно горят костры инквизиции, именно на них варится суп европейской цивилизации. В Толедо на площади Содоковер пахнет паленым мясом, на площади Содоковер истина торжествует — сгорают еретики. Инквизиторский шаг осторожнее шага лисы, но опаснее поступи льва. Магическим знаком, отпугивающим страхи, крадущие жизнь, начертал Эль

Греко портрет великого инквизитора, судьи и привратника, онем и мечом стерегущего веру. Христос никогда не держал в руках земного огня и меча.

Зато удовлетворенно беззвучно ревет по ночам тень Минотавра. Костры инквизиции чудовищно увеличивают ее и отбрасывают на всю Испанию. Эль Греко мечется в своей мастерской, поражае потомков вечной женственностью своей души — (по Соммерсету Моэму) — он противопоставляет тени Минотавра спиреую нежность, а на современников изучает сатанинское высокомерие (по Юсти).

Что настораживает? Почему он поселился в доме чародея XV века? Почему избегал дневного света и постоянно задергивал окна шторами? (Вспомним Кокто: «ужасный лунатик».) Отчего так привлекали его сумасшедшие из толедского дома Нунция? Отчего молния, ударившая в мастерскую, не сожгла ее, а разбрызгалась по картинам? Картины поглотили молнию.

Ответ есть только на один вопрос: «Свет дня заставляет меркнуть мой свет внутренний». Ужасный лунатик. В темноте он швыряет кистью факелы на полотно; цвета, оплавляясь, бешут неестественно-нежно; изгибаясь языками пламени, создают фантазматическую особую эфир, в котором вольно и бесхребетно проплывают фигуры. «Взвевянные ветром» (Джон Стейнбек). Он постоянно сражается с тенью Минотавра, выводя святое воинство. Пишет земную и небесную жизнь Христа, восславляя его, как центр Вселенной. Напряженно ощущая сгущение сил зла и отравляясь его миазмами, он сдавливает пространство, берет его в тиски своего цветового своеволия, и оно вибрирует, приходя в состояние экстаза. Человек обыкновенный, даже сверхчеловек Микеланджело, Рафаэля и Леонардо, не мог бы жить в этом водопаде красок, не трансформируясь согласно воле и течению водопада. Узкие лица, огромные глаза; черепа, где и двум мозгам довольно просторно. Изящны усталые пальцы, а время жестоко. Бесформен покроем одеяний, а властные мундиры. Как лица бледно-благородны, какая таинственность фона! Вселенная тонет во взгляде. Склоненных голов утонченность. Душа воплощается в теле! Живое струится, живое сверкает, живое поражает своей темнотой. Кипяток жизни выплеснут на полотно и шипит, не остывая.

Лица смертных кажутся сверхблагородными. Изображенные кажутся мучениками времени. Некстати вспоминается Гонгора: «Он при шпиге и кинжале, воротник его в крахмале и в помаде голова...»

Эль Греко выбрал дом чародея, чтобы отпугнуть тень Минотавра, он превратил свои картины в магические знаки, заклинающие зло; он призывал, как ограждение своего покоя, музыку и платил огромные деньги музыкантам, чтобы усаждали его слух и подавали знак о его бдительности.

Вот она, застыла перед ним, вся его жизнь: маленькие копии по стонам — со всех когда-либо написанных им картин. «Занятый сон» (Анна Ахматова). В старости горизонты резко сужаются, и двадцать четыре комнаты кажутся огромной вселенной, по которой неприкаянно разбрелись восемь стульев, два канделябра, три рубашки. Самый верный друг — палка, поддерживающая клонящееся долу тело, самая верная подруга — жаровня, дающая необходимое тепло. В окне — виноградики; неясное, движущееся небо приносит впечатление бездны; нереальное видение безвозвратно уходящего. Стуча палкой, Эль Греко, «Доменико Теотокопули, критянин», — дозором обходит дом чародея, сторожа одиночество.

«Как потаенно мчится в беге лет
К концу наш век в однообразной смене,
Безумный зверь, преследующий тени,
Круженье солнцу — мелькание комет».

Гонгора, пронзительно понимающий творчество своего друга, «темный» Гонгора, придворный капеллан, изобретатель культизмов, испанский Гомер, автор «Одиночества», провожает Эль Греко престельной эпитафией, восславившей кисть художника, как самую легкую (в иных переводах — самую нежную).

На улицах Толедо непобежденная и непобедившая ревет тень Минотавра, выбирающая новую жертву.

У картины собирается толпа. О чем она кричит? Божественный грек! Великий Аппелес! Безумец! Астиматик! В толпе никто не бывает неправ, но толпа недоумевает и забывает.

Вот и Эль Греко быстро забыли, чтобы с трудом вспомнить через несколько веков. Трубы Саввы протрубили, и толпа (феникс!) вновь закружилась у полотен, убеждаясь в том, что художник растворился в своем цвете, стал такой же плавающей в пространстве кометой, как и созданные его воображением фигуры.

Виктор Липатов



Св. Бартоломео

Св. Себастьян

Св. Джованни Эвангелиста

Св. Томазо

Христос

Св. Петр

Св. Лука

ЭЛЬ ГРЕКО
(1541—1614)



(Фрагмент)



(Фрагмент)



«Погребение графа Оргаса»



Св. Андрей и Франческо



Гжель... Это звонкое имя сегодня знают на всех континентах. А корни ее кроются в родной земле, в ее далеком прошлом.

...Тяжелые думы томил в предотъездный день московского князя Ивана Даниловича. Путь ему предстоял в неведомое: скорбный и гибель таящий для всякого русского путь в Золотую Орду. И по заведенному еще прадедами обычаю составлял князь духовную грамоту-завещание. По ней, среди прочего, отписывал старшему сыну Семену гжельские деревеньки, расположенные в полуста верстах от Москвы, по берегам студеной речки Гжели.

С того времени и берет начало документальная летопись промыслов, которые упоминаются во всех духовных грамотах великих князей. В завещании Ивана Грозного эти земли значатся как государева дворцовая волость. Понистине же общерусское звучание приобретают они в XVII веке, когда царь Алексей Михайлович указал: Во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прискаать глины... При Петре Великом прискивали тут глину для кирпича, при Елизавете — для первого в России фарфорового завода.

Сегодня известно, что глину жгли здесь давным-давно, начиная с седьмого—восьмого веков.

В Гжели типичной продукцией гончаров была глиняная посуда — называли ее еще черной. После обжига, для товарности и качества, ее ложили, томил или обваривали. И все же в целом то была довольно грубая работа. Шагом вперед по сравнению с ней стал в XVII веке выпуск муравленой — политой глазурью — посуды и других изделий.

Однако уже в конце XVII века у черной и муравленой посуды появился опаснейший конкурент в лице майоликовой посуды. Майолика — изделия из цветной гончарной глины, покрытые белой эмалью (та же глазурь), или расписанные по сырцу. Недолгим оказалось победное шествие майолики — ее вытеснил фарфор. Первые гжельские изделия из фарфора увидели свет в самом нача-



ле XIX века. Из красной и белой глины выпускалась разных сортов посуда и сервизы, кувшины и горшки, белый кирпич, изразцы, плитки. Центр России и Украина были для гжельцев основными торговыми компаньонами. Но не единственными: и сами они, и перекупщики не ленялись отправляться в самые дальние странствия — от Архангельска до Астрахани. Забирались и в Сибирь, на знаменитые Иркутскую и Иреитскую ярмарки.

Со времен чернянской и краснянской посуды закладываются и ведущие элементы гжельских сосудов: сдержанно статичная форма-стебелек, гнутый носик, рельефные украшения на воковых стенках, обильная скульптура.

Были еще целый пласт прикладного искусства, где подмосковные художники тоже оставили неповторимый след. Это то, что мы в просторечии называем игрушкой, а искусствоведы уважительно — малой скульптурой. Каких только сюжетов не касались гжельцы!..

Но как ни печально, золотой век промыслов был до обидного коротким. Нарождавшаяся фабрично-заводская промышленность давила их мертвой хваткой. Забывались и терялись многие секреты, в том числе росписи знаменитым синим кобальтом. И только в 20-х годах в Гжели начинают работать отдельные гончарные мастерские, появляются кооперативные артели.

Новый расцвет Гжели приходится на послевоенные годы. Связан он с именами историка-искусствоведа Александра Салтыкова и художника Наталии Бессарабовой. Именно они занялись возрождением древних традиций. Со временем пришли в Гжель и новые мастера.

У гжельских мастеров есть достойные преемники, самостоятельные их шаги отмечены печатью несомненного таланта. Им выпало хранить и развивать творческое наследие старейшего народного промысла России.

Изделия Гжели распространены не только в России. Товарищество Гжель имеет торговую фирму Гжель в Берлине, представительства в Лондоне, Вене, Нью-Йорке.

По вопросам приобретения изделий Гжели обращайтесь по телефону редакции журнала Юность — (095) 251-27-29 или непосредственно в товарищество Гжель.



Марина Москвина впервые в «Юности». Так уж получилось, что она ни разу еще не печаталась у нас. А вообще Марина прозаик со стажем, и в Союзе писателей не первый и не третий год состоит... Помнят пионеры залихватски-захватывающие ее творения в одноименном журнале. Помнят дети и школьники ее радиопередачи, знают ее книжки и книжечки. А «Мурзилку» кто читал — там уж совсем часто можно Маринины рассказы найти. Но нельзя сказать, что она писатель детский. Просто ее вещи и вещицы, даже абсолютно для детей написанные, рассчитаны как бы на любой возраст. Главное, чтобы читатель не был угрюмым, но смотрел на читаемое широко раскрытыми, по-детски внимательными глазами. И уж тогда он!.. Впрочем, прочтите это произведение (кстати, оно явно для взрослых!) и сами узнайте, что «тогда он»...

Роман



Я хочу выйти замуж за первого встречного. Но мой папа Иося сует нос в мои дела и не дает мне разгуляться.

— Имей в виду, — предупредил Иося, когда я стала взрослой девушкой, — если какой-нибудь болван без моего ведома и согласия лишит тебя чести, я добьюсь того, чтоб ему на Красной площади прилюдно отрубили голову.

Был у меня дружок Фарид. Мы с ним всюду ходили в обнимочку, целовались, транжирили деньги, ели булочки с маком, горчичные сушки, соевые батончики. Мы наслаждались с ним жизнью!

А Иося мне:

— Этот Фарид — он ублюдок. Я ему так и говорю: ты ублюдок.

— Ты что, Йося, конфронтируешь? — кричит из комнаты Фира — Иосина жена, моя мать.

— Нет, — спокойно отвечает Иося. — Просто я ему говорю: ты ублюдок. Его перекосит всего, а потом ничего, чай приходит пить.

Фарид и Иося напьются чаю и обзывают друг друга. Один говорит:

— Ты еврей!

Другой говорит:

— Ты татарин!

— Помни мои слова, — говорит Йося мне, — он хочет тебя из-за твоей жилплощади.

— Ты тоже, Иосиф, — кричит из комнаты Фира, — женился на мне из-за столичной прописки.

— Что дозволено Юпитеру, — высокомерно отвечает Иося, — не дозволено быку.

Однажды Фарид шел по лестнице, упал и сломал ногу в двух местах. Иося очень обрадовался.

— Как можно думать о женитьбе, — воскликнул он, — когда ты не стоишь на ногах?! Я дочу такому не отдам.

— Я люблю Милочку! — плакал Фарид.

— И я люблю, — говорил Иося. — Но у меня нет сил, я вдрызг больной человек, я на карачках хожу все время.

Иося врун. У нас такой скверик во дворе — туда привозят алкоголиков. И прямо из фургона по алюминиевой горке скатывают в подвал. А мы с Иосей с обороченным видом стоим и смотрим. Я как увижу фургончик:

— Иося! Везут!

И мы бегом, бегом!

Это наша с Иосей единственная точка соприкосновения. Во всем остальном мы варимся в котле междоусобиц.

— Я все время спрашиваю себя, зачем я живу? — задумчиво произносит Иося.

— Ты живешь, — кричит Фира из комнаты, — чтобы никому не давать никакого покоя.

Стал за мной ухаживать молодой человек из приличной семьи по фамилии Рожакорчев. Мы с ним всю зиму ходили в Зоологический музей, там малоллюдно, тепло, так что очень удобно целоваться. Сонмища чучел глядели на нас во все свои стеклянные глаза, мертвые синие и золотые и малиновые птицы пели нам свои песни. Мы целовались на лестнице в коридоре под скелетом мамонта. И там, под скелетом, он чуть не лишил меня невинности.

— Стоп! — сказала я Рожакорчеву в самый последний решительный момент. — Ты не возражаешь, если это случится с ведома и одобрения моего папы?

Иося принял его тепло. Подогрел чайник. А в качестве заварки налил всем рябиновый настой для укрепления десен.

— Этот запах рябин, — говорил Йося, — напоми-

нает о быстротечности жизни. Что пьешь понуро? — хлопал он Рожакорчева по спине. — Распрямись! Распрями плечи! Жизнь недолгая, короткая, подойдешь к последней черте — подумаешь — что я жил не веселился? Главное, жить и радоваться жизни. Вон дерево!

— Какое дерево? — спрашивает Рожакорчев.

— Клен, например, или тополь. Солнышко — он радуется.

— А ива плакучая? — спрашивал Рожакорчев.

— Ива, — отвечал Иося, — для нашей среднерусской полосы не пример. Я почему знаю, мы снимали дачу в Немчиновке, и там на Милочку напали гуси! Она бежит по двору в красном платье, а гусь ее за уши щиплет. Вы представляете, какого она была роста, — воскликнул Иося, — что гусь ее за уши щипал?!

— Ого-го-го! — говорил Рожакорчев.

— Я ружье со стены хватаю, — продолжал Иося. — «Застрелю!» — кричу. — Хозяйка выбежала и гуся ют Милочки отогнала.

— Га-га-га! — говорил Рожакорчев.

— А что вы думаете? — восклицал Иося. — Я ее до двенадцати лет носил на руках! Иначе она кричала и билась об асфальт. Однажды я говорю ей: «Милочка, Иося не мул!» А она в беличьей шубе в лужу бах! Лежит в луже. Тут несут покойника. Раньше прямо по улицам покойников носили. Милочка: «Кто это, Иося?» А я говорю: «Вот дядя валялся в луже, простудился, теперь он умер, и его сейчас в землю закопают». Она встала и больше уж никогда не падала. Так мне тогда посчастливилось.

Он сидел и блестящими глазами смотрел в окно. В этот миг он повелевал всем: управлял путями планет, вызывал смену дня и ночи, весны и лета, падеж скота, морские приливы и солнечное затмение, судьбы всех живых были в его руках.

Так же сидел он, я помню, когда к нам сквозь крышу дворник провалился. Грузный старый человек в телогрейке и валенках с галошами колол лед на крыше чугунным колом, вдруг — тррах-та-ра-рах! — лежит на полу у нас дома, ушибся, ударился, до смерти напугал Фирю.

Иося же и бровью не повел.

Дворник стал страшно извиняться, а Иося:

— Счастье, что ты не на землю упал. А то мог бы сломать два ребра.

Дырку в потолке Иося долго не заделывал. Правда, утеплил дверь и поставил лестницу-стремянку. Вечерами мы там гуляли. И выгуливали на крышу собаку. А что? Небо, снег, звезды.

Фира костерил Иосю на чем свет стоит, по две головы ему в день отрывала, ведь эта прореха с шикарным видом на звездное небо зияла над ее головой.

А Иося отвечал:

— Фира! В кои-то веки твоему взору открылась бесконечность!

— Что тебе эта бесконечность? — кричала Фира. — Мне она даром не нужна!

— Бесконечность — совсем не то же, что безграничность, — уговаривал ее Иося. — Ты, Фира, наверное, думаешь, что небо плоское, как потолок, и на этой плоскости приклеены звезды.

— Да, я так думаю, — совершенно искренне отвечала Фира. — Я люблю определенность. Я хочу знать, что у меня есть крыша над головой.

— Мы гости в этом мире, — уклончиво и высокопарно отвечал Фире Иося.

Потом пошли дожди, затопило соседей снизу, они устроили скандал, вызвали рабочих и дырку законопатили.

— В нашем доме, — жаловался Иося, — одни

мусульмане. Проснешься — и хочется крикнуть: «Нет бога кроме Аллаха!» Боюсь, как бы не вздумали резать неверных!..

— Гу-гу-гу! — говорил Рожакорчев.

Все шло как по маслу. Мы ели торт, корзиночки, трубочки, сосиски. И когда я и Рожакорчев, окрыленные надеждой, ожидали победы и торжества, Йося спросил:

— А вы, молодой человек, извините за нескромность, какой национальности?

— Как это какой? — удивился Рожакорчев. — Я русский дворянин Рожакорчев.

Тут Йося начал так страшно вращать глазами, меня даже в пот ударило.

— Да что ж это за фамилия такая? — закричал Йося.

— Если тебе не нравится его фамилия, — сказала я, сдерживая ярость, — то я оставлю себе твою — *Пиперштейн*.

— А мои внуки? — голосит Йося. — За что они будут страдать?

— Я могу пользоваться противозачаточными средствами, — пролепетал Рожакорчев.

— Только через мой труп, — сказал Йося.

— **НО ПОЧЕМУ???** — спросила я, вся в слезах, когда дверь за Рожакорчевым закрылась.

— Он не из Рюриковичей! — отрезал Йося.

Йося — это император. Он даже ночью лежит, сложив руки на груди, как Наполеон. Фира намеревается сшить ему ночную треуголку.

— Вы меня ненавидите и хотите уморить, — говорит Йося. — И свальный грех устроить на моей могиле. Почему небо щадит меня?

— Потому что ты вечный жид, — весело кричит ему из комнаты Фира. — Отпусти девочку! Пускай она проветрит свой хвост!

Отец мой, Иосиф, сгинь с глаз моих, как ты не понимаешь, речь идет о счастье и несчастье всей моей жизни. Время уходит мое, мимолетная пора, пока возможное еще вероятно. *Жених грядет*, он ждет меня на Павелецкой, весь в блестях, с золотой трубой, отважный дрессировщик Симеон, укротитель хряков.

Мне вначале послышалось: «хорьков». Но он уточнил: не хорьки, а хряки! Они злые, опасные очень. Бывает, на перегородку вскачат, зубами на меня: Р-Р-Р!!! Все время с плеткой ходишь. А свиноматки — одна хорошая, добрая, а другая — войдешь — разорвет. Я примчусь к тебе, милая, в январскую ночь, наряженный Дедом Морозом, на тройке из трех козлов, и уйму трепет чресл твоих!

Но я же никого не могу к себе привести! Йося с Фирой безвылазно сидят дома. И лишь только на рассвете, когда все еще спят, бегут в поликлинику сдавать анализы. Тут Фире надо было срочно, она без направления отнесла свою бутылочку и резинкой прикрепила записку:

«Товарищи! Проанализируйте, пожалуйста, мою мочу! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни вам, вашим детям и внукам, внукам ваших детей, детям ваших внуков и всего-всего наилучшего!

Фира Пиперштейн».

Ей сделали.

Йося тоже туда же — приходит — радостный:

— Я сдал кровь на сахар! Сахара не обнаружили!

— Его сейчас нигде нет! — кричит Фира из комнаты.

— Неважно где, — утешает меня Симеон. — *Это* может случиться июльской ночью в Серебряном бору на речном песке, на траве, на сосновых корнях, коре, иглах и шишках, на дне реки, в лодке со скрипучими уключинами, на прошлогодней листве, а на том берегу

будут петь для тебя два моих щегла, я купил их зимой в зоомагазине. Сравнительно недорого давали: щеглов по восемьдесят рублей, а степных черепах по четыреста, дешевле уже не будет, и я взял, хотя мне это не нужно. В тот день в Москве была лютая стужа, щеглы ничего, а вот черепаха заледенела, протянула шею, ноги, стала делать вид, что она мертвец. Я положил ее под лампу, и на моих глазах она начала оживать, вся насквозь наполняясь божественной новорожденной жизнью, неиссякаемой энергией юности. Я был невольным свидетелем того, как рождалось юное девичье тело, веселое девичье сердце огромной силы, и несокрушимой рождалась веселая-веселая игровая душа. Теперь она румяная, полногрудая, дивнобедрая и очень перспективная, посмотри на меня, какой я, подойди ко мне поближе, тронь мое тело рукою, не бойся тела моего.

— Да ну его, к свиньям, твоего Симеона, — возмущался Йося. — Знаю я этих дрессировщиков — то он в блестях, а то сама знаешь в чем. Давайте лучше в субботу всей семьей соберемся и съездим к деду Аркадию в крематорий!

— Крематорий — это не мое хобби! — кричит Фира из комнаты.

— Хорошо, Фира, — угрожающе говорит Йося, — когда ты умрешь, мы с Милочкой тоже не будем ходить на твою могилу. Ни в праздник победы Маккавеев над еллинами и освящения Иерусалимского храма, ни в День получения Торы от Всевышнего на горе Синай, ни в день поминовения усопших, ни в Судный День!..

— А вас умоляю! — кричит Фира.

А Йося:

— Я запрещаю тебе, Эсфирь, разнузданно говорить на вечные темы. Аркадий — святой! У него сапоги были — гамбургские с длинными носами. А я был оборванец — не в чем в школу идти. И он мне их дал раз надеть. Ну, кто-то бежал, а я ему подставил ножку, тот споткнулся, а носок — пустой — у сапога отлетел! Они старинные, все сопришло... Как он меня отмутил! Он бил меня полотенцем! Раньше было полотенце — одно на всю семью. Поздно встал — мокрым полотенцем вытираешься!

— Редкий был скупердяй, пусть земля ему будет пухом, — сказала Фира. — Самодур, людоед и развратник.

А Йося:

— Мой папа — ангел и жизнелюб! Сколько лет я тебя прошу не поносить на чем свет стоит покойников.

Отец мой, Иосиф, когда *это* случится со мной, я изведу тебя голубиной почтой — сизый голубь Симеона, которого он носит с собой повсюду в спецпортфеле, прилетит к тебе с листком бумаги. Листок будет белый-белый, и ты все поймешь.

— Ну хорошо, не хотите в крематорий, — миролюбиво соглашается Йося, — пойдемте в музей Вооруженных сил. Я читал в газете, там новые поступления: сапоги Фиделя Кастро и мундир маршала Устинова.

А Фира:

— Надеюсь, у них хватило ума засунуть под стекло сапоги Фиделя? А то представляю, какой там сейчас запах.

Было так: мы гуляли над прудом. Стало темнеть. Потом окончательно стемнело. Звезды близко, большие, шевелятся, как живые. А у меня, ты же знаешь, Иосиф, слабый мозжечок, я не могу долго целоваться на крутом обрыве. И Симеон сказал:

— Тебе уже поздно возвращаться домой. Видишь

три звезды? Это пояс Ориона. Пойдем ко мне? Дочери мои спят, жена Вера ночует в профилактории. Посидим, попьем чаю, я угощу тебя грушевым вареньем. Ведь у меня теперь есть своя комната — баба Соня умерла, я отвоевал ее площадь у соседей по коммунальной квартире, сегодня с двери сняли печать.

Баба Соня — старуха в коричневой вязаной шали — ручное тунисское вязанье крючком — кикимора и колдунья, сколько помнил ее Симеон, непрерывно варила на кухне в глубокой зеленой кастрюле потроха различных животных, китовый жир, свиные копыта, волчье мясо и медвежьи уши, помешивая палкой и приговаривая:

— С костью кость
С кровью кровь
С членом член
Склейтесь, как и прежде.

Дикое зловоние расплзлось по коммуналке, стелкало по лестнице, стелилось по Тверской, просачиваясь на Красную площадь. Видит Бог, терпеть это кипячение изо дня в день было выше человеческих сил. Один только папа Симеона, начисто лишенный обоняния, никак не мог понять, почему все так бесится. Однако старуха и его вывела из себя. Случилось это так.

У бабы Сони была уйма пихтового масла. Ей это масло в бутылках регулярно присылал из Бишкека племянник. Нажарит Соня оладий с перцем и чесноком, польет их обильно пихтовым маслом и угощает маленького Симеона. Тот ел, не отказываясь, из страха, что баба Соня рассердится и превратит его в мышь.

Однажды мама Симеона застала его за этим занятием и в тот же день обратилась с вопросом в газету «Труд».

«Много слышала о пользе пихтового масла. А как его употреблять в пищу?» — спрашивала она.

Вопрос напечатали. И дали ответ:

«Как нам сообщили в Институте питания Академии медицинских наук, пихтовое масло пищевого применения не имеет».

— Таких бабок Сонь, — до глубокой старости возмущалась мама Симеона, — камнями надо побивать!

— Сжечь ее перед Моссоветом! — вскипел тут и папа, обычно хранивший нейтралитет. — И пепел развеять, — кричал он, — над памятником Юрию Долгорукому! Раз она пьет кровь невинных младенцев.

Баба Соня пережила их обоих. Ее согнуло в три погибели, последние несколько лет она передвигалась с помощью табуретки. Вперед ее выставит и подгребает к ней, выставит и подгребает.

Заслышав в коридоре величественное и победоносное гремяние табуреткой, осиротевший Симеон обливался холодным потом. Ему постоянно чудилось, что баба Соня замышляет что-то против него, хочет нанести вред его здоровью, жизни, имуществу, не вышло отравить пихтовым маслом — так иссушить его, слазить, наслат на Симеона мужскую слабость... Она могла силою своего искусства даже переменить его пол! А сколько было страхов, что Соня станет препятствовать плодovitости его брака! И если, вопреки ее козням кто-то все же родится, то это не будет существо человеческого вида, а маленькое отвратительное животное, нечто вроде суслика. Но сильнее всего он боялся быть умерщвленным пением бабы Сони, направленным именно на него.

— Теперь она в могиле, — говорил Симеон, вознося меня на руках на седьмой этаж (лифт у них в доме ночью не работал), — и я могу вздохнуть полной грудью, расправить плечи, как я проголодался, мы не ели целый



Рисунки Леонида Тишкова

день, будешь капусту морскую? А гречку?

Я не припомню в точности все, что мы ели, да это и неважно, помню лишь слова Симеона:

— Ты играешь с огнем. Дай мне слизнуть с твоих пальцев грушевое варенье! Что? Ты не вымыла руки, когда пришла с улицы? Но это ерунда. Сейчас у всех свиного цепня. Что нам терять, кроме свиного цепня?

— О ты, прекрасный возлюбленный мой! — отвечала я. — Постель наша зеленая, потолки наши кедровые, стены кипарисы...

— Я человек заслуженный, непростой, — жарко шептал Симеон, обнимая меня одною рукою, а другою в это самое время нащупывая на стене выключатель: в

пустынной комнате от бабы Сони осталось три предмета — обшарпанный диван, дубовая табуретка и люстра, ослепительно сиявшая во все пять лампочек. — Я еще покрою себя неувядаемой славой. Ведь я такой, я всегда добиваюсь чего хочу. Ты будешь гордиться, что знала меня когда-то!

Щелкнул выключатель. Но свет не потух.

Щелк! Щелк! Щелк!!!

Люстра не гасла. Наоборот она разгоралась. Бешеный свет, нестерпимый, залил пустыню Сониной комнаты.

— Старая ведьма! — вскричал, наконец, Симеон. — Это ее рук дело! Уж на том свете, а продолжает вредить.

Он начал яростно молотить кулаками по выключателю.

— Но, может быть, — робко предположила я, — это можно и при свете?

Симеон обернулся и печально произнес:

— Я не могу при свете. Я стесняюсь.

— Симеон! — я взяла его за руку. — Плюнь ты на все. Слышишь зов плоти моей? Ближе прижмись ко мне, крепче, ты будешь спать под одним одеялом со мной, и рука твоя будет лежать у меня на груди!..

Я подвела его к дивану, мы разделись, и только хотели встать, как со страшным треском, воем и лязгом из дивана выскочили пружины.

— Мама родная, — пробормотал Симеон, опускаясь на табуретку.

И табуретка под ним заходила ходуном.

В этот миг на пороге возникла жена Симеона Вера, три его пуделя, черепаха и две дочери в белых ночных сорочках, Надежда и Любовь.

— Симеон! Укротитель табуреток! — сказала Вера. — Ты что тут шумишь?

— Да вот, — начал объяснять Симеон, — что-то не в порядке с электричеством! Я гашу свет, а он не гаснет. Я гашу, а он не гаснет!

— Разве? Разве? — удивилась Вера... и выключила свет.

А впрочем, уже рассвело, я попрощалась со всеми и поехала домой.

— Где ты была? Мы всю ночь собирались обзывать морги! — сказал Иосиф, когда я вернулась. Он имел такой грозный вид. В корейских резиновых сапогах со шнуровкой на толстой подошве, в жилете приталенном полосатом, в штанах, о каких только мог бы мечтать Дуремар, — все это Иосиф сам выбрал на ВДНХ в отделе культуры в куче барахла, прибывшего из далеких, не в меру расщедрившихся стран.

У Иосифа совсем обуви нет, а на барахолке было много приличных ботинок, но он как увидел корейский сапог, так тот и запал в его душу. Он стал спрашивать:

— А где такой еще?

— Вон, ищите в горе башмаков!..

Иосиф рылся и рылся, и рылся, и ухватил эти самые резинки, потому что они напомнили ему войну, когда его папа Аркадий ходил по Земле в подобных сапогах, только у него они были кожаные, а Иосиф учился, учился и работал на заводе, он делал мины...

— Какие мины? — кричит из комнаты Фира. — Всем известно, что ты, Иосиф, делал миски.

— Я делал мины! — заводится Иосиф. — *Мины!* Заруби себе это на носу!

А Фира:

— Я только хочу одного, — говорит, — чтобы мой муж не стыдился того обстоятельства, что во время Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками он делал миски. Всякий труд почетен, а миска в тяжелое военное время, может, не менее

полезная вещь, чем мина. Как бы там ни было, Иосиф, ты ветеран, герой, уважаемый боец трудового фронта, и тебе полагается бесплатный проездной.

— Если я еще раз услышу, — клокочет Иосиф, — слово «миска», я просто... уйду из этого дома!

Он хлопает дверью и выскакивает на улицу — прямо на дождь, но через минуту возвращается:

— Милочка! Фира! — Иосиф чуть не плачет. — В правом сапоге дыра!

— А ты думал, — отвечает Фира, — они будут хорошие сапоги нам отдавать? Если бы мы им отдавали, мы дали бы хорошие!

— А на жилете совсем нету пуговиц! Ах! Ах! Пуговиц нет! — Он сунул руки в карманы, а там пробка от пива — как видно, кто-то пошел, попил пива с омаром, напился, наелся, раздобрился, скинул со своего плеча жилет и послал в Москву Иосифа Пиперштейну в личные руки: эх, была не была, носи, Иосиф, старый ты еврей! Что ж ты такой-то? Старый, лысый?! И куда тебе без жилета? Что за жизнь без жилета русскому еврею? Только что повеситься!

— А где мое-то пиво с раками? — плакал Иосиф, сжимая в ладони чуждающуюся пробочку от бутылки. — Господи! Ведь я тоже — вот он я, и мне хочется всего, чего и другим Божиим тварям. Хотя мне грех жаловаться — вчера вечером Фира отварила кальмара. Их теперь продают целиком. И она его, целого, отварила.

Господь, Бог наш и Бог отцов наших, известно тебе тайное тайных всего живого, и ты сам знаешь это свое творение: щупальца, щупальца, кругом присоски, в середине клюв и два огромных глаза. Мы с Фирой долго гадали — что там можно есть, а что нет, я отрезал какое-то щупальце, съел, и мне показалось, что это был член.

И приснился Иосифу сон, как приплыл к нему тот кальмар и сказал:

— Ты зачем съел мой член? Теперь я, Иосиф, съем твой.

— Я ему объяснил, что я съел его член по неведению, в связи с тем, что он мало чем отличался от остальных частей его тела, что это всего-навсего оплошность, путаница, неувязка, *квинпрокво*, и, конечно, без всякого злого умысла.

А кальмар — куда там! — и слушать не стал. Вонзил клюв в Иосифа и откусил ему это место.

Дальше видит Иосиф свой член в заграничной упаковке на витрине коммерческого ларька. Но не такой, какой был, а гораздо больше, крупнее, причем с электрическим проводом, вилок для штепселя, стоимостью одиннадцать тысяч рублей.

— Шляешься где попало! — орет на меня Иосиф. — Являешься под утро, а сейчас такие ужасы творятся! Кругом лежат то ли пьяные, то ли мертвые. В подземных переходах нищие суют тебе под нос свои трофические языки! От каждого встречного можно получить ножевое или огнестрельное ранение. Везде слышатся крики, стоны, оружейные выстрелы. Повсюду следы чьей-нибудь трагической гибели. Вчера по телевизору показывали — мужик бежал по берегу реки, увидел женщину с ребенком, набросился и покусал! Теперь им будут делать сорок уколов от бешенства. Кто знает, нормальный он или ненормальный?

— Нормальный издерганный жизнью человек, — задумчиво говорит Фира.

— Нормальные, издерганные жизнью люди, — неистовствует Иосиф, — высаживают грудью дверь, врываются в дома и жгут хозяев утюгами!

— Хотела бы я знать, — изумляется Фира, — где они берут утюги?

Сама она сожгла свой утюг, позабыв его выключить, и уже целый год гладит Иосифыны брюки, да и другие наши вещи о край ванны.



ЖЕНИХИ НАД ГОРДОМ

— О, время всеобщего бедлама! — говорит Йося, воздев руки к небесам. — В России царят гнев, страх, сонливость, жестокосердие. Я тебя заклиная, Милочка, никогда никому не открывай дверь!

— И в лифт пускай не садится с незнакомыми мужчинами! — кричит Фира. — Я тоже видела своими глазами: стоит у подъезда группа молодых людей — столпились, сгрудились, и знаете, что они делают???

— ЧТО? — в ужасе спрашивает Йося.

— Сосут сосульку!

— ОДНУ НА ВСЕХ? — ужасается Иосиф.

Господи! Как прекрасно все, что ты создал! Земля и лед, и камни, и палки и вороны. Я так люблю смотреть. Я даже когда целуюсь, не закрываю глаза. Тогда есть возможность наблюдать светила небесные и движение лун, звезда Нила вспыхнет на несколько минут перед восходом Солнца, предвещая половодье, свет от нее летит восемь лет и восемь месяцев. Это если любимый повыше тебя. Если же он пониже, то виден один только снег золотой на закате, и больше ничего.

— Блин горелый! — нежно бормочет мне на ухо некто Кукин. — Я с тобой, Милочка, — говорит он, — как накурился марихуаны.

Он так и представился, когда мы познакомились: некто Кукин.

В ночь на это событие мне приснился сон — у нас маленький куренок, очень глупый. А Йося возьми и посоветуй:

— Надо отрубить ему голову. Тогда вырастет другая, лучше!

И вот куренок сидит в корзинке, живой-здоровый, но без головы.

ПРОШЛО ТРИ ГОДА.

Сидит так же без головы. Мы вызвали ветеринара. Приходит ветеринар. Я спрашиваю:

— Вот у нас куренок. Вырастет у него голова?

А тот отвечает:

— Нет, не вырастет. А если вырастет — то плохая, некрасивая.

Я — на Йосю:

— Что ты наделал?! Никогда не буду слушаться твоих дурацких советов.

Проснулась вся в слезах.

Слышу — изо всех сил кто-то барабанит в балконную дверь, так что стекла дребезжат. Это Фира закрыла Иосифа на балконе — он там лобзиком выпиливал полочку из фанеры в подарок своему старшему брату Изе на день рождения... Фира по телефону: «Ду-ду-ду, ду-ду-ду!» Йося стучит, а Фира не слышит. Я открыла ему, Йося выскочил, как ошпаренный. Фира сразу давай на него орать, это ее обычная манера: когда она провинится в чем-нибудь, то начинает обвинять Йосю во всех смертных грехах.

— Что ты стучишь? — кричит Фира. — Зачем? Нельзя подождать?

— Хорошо, Фира, — Йося сразу идет на попятную. — Я больше не буду стучать. Я буду стоять и плакать, забившись в угол, и, может быть, к ночи кто-то обо мне вспомнит. А может быть, и нет...

— Как ты смеешь кричать на меня? — не унимается Фира.

— А что бы ты хотела? — в испуге спрашивает Иосиф.

— Чтобы ты сказал: ах, ты, моя бедная малышка!

Йося, слушай, я шла по улице, меня догнал человек. В чем он был? Не помню, кажется, в пальто. Да-да, на нем было пальто, причем довольно приличное, швейная фабрика «Сокол».

Шагает он рядом со мною и говорит:

— Блин горелый! Как интересно жизнь устроена — то темнеет, то светлеет.

— Да! — с жаром воскликнула я. — Это крайне интересно.

А он продолжал:

— В такие моменты обычно слышен голос сверчка. Хотя он стрекочет непрерывно — и днем и ночью. Надеюсь, вам известно, — спросил он, — что звуки, издаваемые насекомыми, являются любовным призывом? Я почему знаю, — добавил он, — на этой улице жил мой репетитор по биологии.

О, репетитор по биологии, мост между кузнечиком и человеком, трутень медоносной пчелы, бедно травянки, зимнее гнездо златогузки, благодаря тебе в тот вечер мы вступили в учтивый разговор.

Мне он понравился, некто Кукин! Понравилось его пальто болотного цвета, гордое имя фабрики, на которой оно сшито, — «Сокол», любовь к природе, презрение к миру, и при этом в руке он все время катал два чутунных шара.

— У меня, Милочка, рука сохнет, — жаловался Кукин. — Я жертва людской несправедливости и жестокости.

Два года назад Кукин испугал милиционера в каком-то учреждении — тот икал, а Кукин его напугал, и тот в него выстрелил.

— Лучше бы я дал ему попить, — до сих пор не может успокоиться Кукин.

Он пригласил меня домой. Они жили вдвоем с матерью-старушкой на пятом этаже блочной пятиэтажки, в окне у него шумели березы, на стенке висел календарь с изображением голых девушки.

— А это палка моя плевательная! — с гордостью сказал Кукин, вытаскивая из-за дивана обломок лыжной палки. — Мама теперь ее использует как трость. Я плевал из нее рябиной или бумажными патронами.

Обклеил пластырем с одной стороны, чтобы губы не к железу, и плевал из окна вверх под сорок пять градусов — далеко-о попадал! Кто-нибудь сидит у подъезда на лавочке — видят — сверху — раз! — с одной стороны упало, раз! — с другой, не больно, ничего, а просто интересно. Особенно мне. Это очень хорошее дыхательное упражнение. Народ сначала озирается, потом начинает бдительно смотреть, потом принимаются вычислять обратную траекторию. Иногда даже замечали меня сквозь деревья.

— А! Вот! — кричали. — С пятого этажа!..

Тогда я прячусь. А они уходят. Кто ж может выдерживать такую бдительность?

Мы с ним стояли, обнявшись, и целый мир, сам того не подозревая, лежал у наших с Кукиным ног: огни земли и безлюдные дороги, отшельники в лесной пуще, осенний туман, халдеи, египтяне, греки, сирийцы и эфиопы — весь наш московский сброд.

— Один парень был на год помладше меня, — говорил, покрывая лицо мое поцелуями, Кукин. — Он девятиэтажный дом рябиной переплывал. Я же всего только до седьмого мог доплонуть.

— А меня ты сразил, — отвечала я Кукину, — *одним только взглядом!*.. Небо твоё — сладость, живот — слоновая кость, весь ты, Кукин, прекрасен, и нет в тебе изъяна.

— Милочка, Милочка, — произнес Кукин страстно и довольно безумно. — Я должен признаться тебе — меня потрясал мой одноклассник. Он от стены противоположной доплывал до доски! Он потрясал меня, что, во-первых, он *в классе!* — мог так свободно плевать. А во-вторых, его мощь — он дотуда доплывал безо всякого плывательного аппарата.

Кукин рос без отца. Его папа оставил его маму из-за того, что она, вступая с ним в брак, отказалась менять свою девичью фамилию. Хотя у отца была очень благозвучная фамилия: Вагин.

— Вагина — это звучит гордо, — уговаривал он ее, — и красиво. Не то что какая-то Кукина.

Но мама решила оставить себе непременно фамилию предков по той пустяковой причине, что если она станет Вагиной, то тогда Кукины переведутся на этой Земле. К тому же, говорила она, не имя красит человека, а человек имя.

Нашла коса на камень, а дело касалось семейной чести, поэтому Вагин без дольных проволочек ушел от своей строптивой жены, так и не увидев не замедлившего появиться на свет Кукина. Лишь спустя много лет он позвонил ему по телефону и сказал, что, как ни крути, Вагин Кукину — родной отец, и тот обязан баюкать его одинокую старость.

— Сыночка! Чай готов, приглашай свою спутницу к чаю, — послышался из-за двери голос мамы.

Она ватрушек напекла! Выставила парадный сервиз для особо торжественных чайных церемоний. В окне у нее тоже ветер качал березы, но на стене висел ее собственный портрет в простой деревянной раме.

— Правда, я тут похожа на Джоконду? — спросила она с английской улыбкой.

— Один к одному, — говорю.

— К сожалению, — сказала она, — я ничего не слышу, и мы не сможем насладиться беседой.

— Не страшно, — ответила я, налегая на ватрушки.

— Во мне умерла трагическая актриса, — вздохнула она после долгой паузы. — Как я читала со сцены Илью Эренбурга!

— А кто это? — спросил Кукин.

Ему никто ничего не ответил.

— Надо сказать, я окончила очень хорошую школу, — вдруг заявляет мама Кукина. — У нас были лучшие

преподавательницы в Москве. Все старые девы. Все-все-все.

— Я хочу умереть молодой, — сказала я.

— Молодой ты уже не умрешь, — резонно заметил Кукин.

В тот день мне исполнилось двадцать семь лет.

Йося, Йося, опять ты набедакурил! Мало тебе досталось от Фиры, когда ты с помойки принес чье-то кресло-качалку, потом притащил табурет, ломберный столик потрескавшийся, ты ополоумел! Любят евреи устраивать голубятни! Как будто только что приехали, все разложили, и никто не думает никуда ничего рассовывать. Тут ковры скрученные, сверху мебель, тряпье, старье, барахло, но это все ладно уже, а зачем ты, Иосиф, принес к нам с помойки гроб? Да, он крепкий, он пахнет сосновой смолой, он хороший и всем нам как раз, но у нас в нем пока — тыфу-тыфу-тыфу! — нет надобности!

— Фира, Милочка, — лепечет Йося. — Я пошел в магазин — вижу, он на помойке валяется — ну, просто полностью никому не нужный. Я окаменел, и две пустые черные сумки бились на ветру за моей спиной, как крылья ангела. Только не подумайте, что я его сразу схватил и потащил, хотя каждый бы на моем месте так и поступил, ведь гроб сейчас стоит денег! Я его приоткрыл, заглянул и как следует убедился, что в нем никого! Потом я его приподнял, он был нетяжелый, но с гробом мне вряд ли бы удалось забежать в магазин. Ах, подумал я, ладно, взял гроб и отправился домой.

— А ты не подумал, — заходится Фира, — что в нем могут быть клопы, тараканы! Иосиф! Ты интеллигент! Бывший человек искусства! Куда мы его поставим? В каких-таких целях будем применять? Пока не представится случай использовать его по назначению?

— Картошку в нем будем хранить на балконе, — ласково отвечал Йося. — Или поставим к тебе, Фира, в комнату около батареи и станем гостей туда класть. Рома с Леной приедут из Оренбурга...

— Так он же не двуспальный! — кричит Фира.

— Хорошо, — соглашается Иосиф, — я буду сам ночевать у тебя в нем. А Рома с Леной улягутся на моей кровати.

— Ни бже мой! — кричит Фира. — У тебя, Йося, волосы с ног облетают. Если долго не подметать, — на полу образуется ковер.

Йося — вылитый йети. Он стриг себе брови, в подмышках подстригал и в паху, в носу, между прочим, и на носу у него росли волосы, он стриг себе все это и не стеснялся. Фира говорит, его в молодости за это прозвали «сушеный индус». Она же — красавица Фира — полюбила Иосифа за внутренний мир — больше было не за что. Ведь он артист, музыкант, он играл в духовом оркестре. Худой, совсем крошечный, почти бестелесный, а Фира — женщина крупная. Она в него до смерти влюбилась. И всю жизнь его страшно ревновала, он был барабанщиком, к нему девушки липли.

Иосиф с рождения играет на барабане. Его даже в детстве делегировали пройти по Красной площади перед Мавзолеем в праздничном строю.

— Ты кто? — спросили у Йоси, когда он приехал в оргкомитет в сопровождении дедушки Аркадия.

— Я еврей, — ответил маленький Йося.

— Нет, мы спрашиваем: ты горнист или барабанщик?..

Я дочь лабуха.

— Нужно торопиться жить, столько времени пропало впустую, — жалуется Иосиф, — уже мы на ладан дышим, а я с тобой, Фира, не приобрел никакого

сексуального опыта. Пусти меня к себе на ночь, хотя бы в гробу.

— Пойми, Йося, — на весь дом рокошет трубный глас Фиры, — мне больше не нужен мужчина. Я в этом не испытываю потребности.

— Что же мне, — Йося всплескивает руками, — *искать себе женщину?*

— Как хочешь, — пожимает плечами Фира.

— Но я же тебе слово дал! Я весь, Фира, твой, без остатка.

— А ты, Йося, думай, что ты вдовец, — напевно говорит Фира.

Йося, Йося, родной мой, ну почему ты такой обалдуй?

Взгляни на сердце свое и задумайся о причине, которая побуждает тебя хулить всех и каждого, у кого только мысль мелькнет попросить у вас с Фирой моей руки! Ну что тебе вздумалось, когда я привела домой Кукина, лечь в свой гроб, скрестить руки и глядеть на него оттуда так зачарованно и печально, что у нас по спине забегали мурашки?... Кукин пришел к тебе, честь по чести, в игрушечном галстуке на резинке, с букетом гвоздик! Фиры дома не было, так что цветы он был вынужден положить тебе на грудь. Еще он принес конфеты «Цитрон». А ты, Йося, не вылезая из гроба, слопал весь кулек, сморщил нос и сказал:

— Людей, которые произвели эти конфеты, надо выгнать с работы, чтобы они безработицы хлебнули.

— Тебе что, Иосиф, — кричит из комнаты Фира, — надо, чтобы ребенок очутился?

— Милочка! Фира! — оправдывается Йося. — Этот Кукин имеет такой жуткий облик, что мне показалось, я видел его портрет на стенде «их разыскивает милиция». Он насильник, убийца, зарезал троих человек, я хотел это сразу сказать, но у дочери был до того счастливый вид, что я подожду, пока он уйдет.

— Зато он не курит! — кричу я, заламывая руки. — Где я тебе возьму человека безупречной репутации? Сейчас все насильники! Насильника от ненасильника не отличишь!

— Господь, свет мой и спасение мое, — бормочет Иосиф. — Господь, оплот жизни моей! Смилуйся и ответь: разве я ей не твержу от зари до зари, что лицо — это зеркало души? И что о моральных качествах человека судят по форме его черепной коробки? Приклони, Господь, ухо свое: у меня в голове не укладывается — как может избранник моей единственной дочери иметь такую широкую лобную кость?..

— А как могут твои родственники, — кричит из комнаты Фира, — иметь такие ужасные большие носы???

Иосиф не переносил, когда кто-либо отваживался подвергать сомнению неопишемую красоту, ясный ум и благородную натуру, присущую всему его клану Пиперштейнов, но именно тут ему нечего было возразить. Ибо перед размером и формой носов этого древнего рода испытывали ужас и благоговение как ярые сионисты, так и отъявленные антисемиты.

Я помню, в детстве случись какой-нибудь праздник, съезжалась к нам Йосина родня: царил за столом дедушка Аркадий, одесную восседал Изя-старший с семьей, по левую руку Иосиф, потом Хоня, Моня, Илья, Авраам, муж Хониной сестры Вова, сын полка трубач Тима Блюмкин, прыщавый подросток Соломон — и все с этими своими носами!

Однажды я не вытерпела и сказала:

— Ой, какие у вас страшные носы!

А дедушка Аркадий улыбнулся мне ласково и говорит:

— Вырастешь, Милочка, и у тебя такой будет.

Слабая надежда на то, что это предсказание не сбудется, рассеялась, как дым. Я прямо чувствую: у меня становится нос, как у моего прапрадедушки по Йосиной линии Бени Пиперштейна. Говорят, именно Беня положил начало огромным еврейским носам, родившись внебрачно от жутко носатого тата, в которого Йосина прамактер Фрида влюбилась без памяти с первого взгляда.

Когда Фрида опомнилась и захотела вернуться, то было уже некуда: муж ее Додик, витебский глазной врач, женился на другой. Соседи Фриды злорадствовали и, передавая из уст в уста эту нашумевшую в Витебске историю, обязательно добавляли:

— У нас никто ее не жалеет. Если бы вы знали, какой ее муж симпатичный.

Отец мой, Иосиф, сноб и мракобес, утоли мои печали! Не с твоим генеалогическим древом придавать значение лобной кости Кукина. Пускай уже каждый ходит с такой лобной костью, с какой ему, черт возьми, заблагорассудится, из-за тебя я как женщина терплю фиаско за фиаско. Когда ты только, в конце концов, поедешь с Фирой в санаторий? Твой отъезд я хочу использовать как отдушину.

— Скоро, Милочка, скоро, — отвечает Йося с видом оскорбленного Лира. — Ты еще вспомнишь обо мне, ты еще пожалеешь и скажешь: «Сердце мое пребывало в заблуждении. Не знала я Иосиных путей».

Фира и Йося уехали в город Геленджик. На прощанье Иосиф пообещал мне звонить каждый день, сразу дать телеграмму, как только придет, и не одну, а три — как доехал; потом как устроился, и самое главное — когда встречать обратно: поезд, место, вагон, а то письма идут очень долго, но он будет писать, несмотря ни на что, во всех подробностях о своей курортной жизни, хотя у них с Фирой путевка на десять дней. Йосе выдал ее ко дню Победы комитет ветеранов и присовокупил два рулона туалетной бумаги.

— Ветераны и впредь непоколебимо будут стоять



Йося в гробу

на страже мира, но если что — дадут отпор врагу, — сказал Иосиф, получая вышеуказанные дары от старенькой общественницы Уткиной.

Поезд тронулся. Фира стала махать носовым платком и громко плакать. А Йося крикнул мне из окна:

— Человек, Милочка, должен всю жизнь отрачивать себе крылья, чтобы в момент смерти улететь на небо.

Йося, Йося, как только исчезли огни твоего концевого вагона, я вздохнула легко и свободно впервые за много лет. Знаешь ли ты, что ты, Йося, давно мне никто? Да-да, не падай в обморок, известно ли тебе, что один раз в семь лет клетки человека полностью обновляются — это сказал мне великий Кукин, а ему — его репетитор по биологии? Так что я, Йося, уже не та Милочка, что в красном платье бежала от гуся в Немчиновке, а гусь щипал ее за уши. Я уже трижды не та, а через месяц буду четырежды, ты мне чужой, и пора забыть о той роли, которую ты сыграл в моем рождении.

Знай, я приму его этой ночью, оставлю у себя, было бы непростительной ошибкой с моей стороны все еще держать дистанцию, когда ты, Иосиф, пропал в облаке дорожной пыли, исчез в полосе неразличимости, лишь тень твоя ложится в эту минуту на глинистые берега, глухие заборы, зеленые овраги, на спины кузнечиков и желтые поля сурепки, прилегающие к железнодорожному полотну.

Вон он идет мне навстречу — любитель сладкой жизни Кукин — Тибул, который ни дня не жил честным трудом, коммерческий директор несуществующих структур, продавец недвижимости, культурный атташе с кожаным портфелем и бамбуковой тростью, сам ест пирожное «картошку», а мне купил булочку с повидлом.

— Я зонтик взял, — говорит он, — хотя ничто не предвещало дождя. Ведь когда я с тобой — всегда случается что-то непредвиденное.

Над ним летают голуби и вороны, сияют перистые облака, у ног его цветут одуванчики и анютины глазки... Он снимает ботинки с носками, закатывает штаны и шагает босой по газонной траве и по цветам.

— Простите меня, цветочки, милые и любимые, — говорит Кукин. — Сейчас я пройду по вам, а время придет — и вы будете расти на мне и цвести.

— Ну? — спрашивает он у меня. — Что мы будем делать? Радоваться? Веселиться? Оживлять покойников?

На Баррикадной нам предложили сфотографироваться на память с живым питоном. Я согласилась, а Кукин — нет. Из страха, что тот его удушит.

— Глупо, — сказал Кукин, — в своей единственной жизни быть удушенным питоном во время фотосъемки.

Мы съели по пирожку горячему с рисом, по кулебяке с капустой, по яблочку, и Кукин сказал:

— Ты прекрасна, Милочка! От твоих волос пахнет дохлым воробышком. Надо будет тебя как-нибудь соблазнить.

— Что ж, — ответила я бСезрассудно. — Пора познать и мне любовное волнение. Кукин, трепет моих очей, проводи меня домой.

— Сейчас очень опасно ходить, — согласился Кукин. — Китайцы расплодились в Москве, и под видом киргизов убегают в Америку. Хотя чего проще! — воскликнул он, — отличить китайца от киргиза. Киргизы кочковатые, а китайцы — наоборот — суховатые и желтоватые.

Йося, Йося, могу себе представить, как ты раскричался бы, расплакался, растопался бы ногами, узнай о том, что я приняла его в доме твоём в тот самый вечер,

когда от тебя пришла телеграмма: «Устроились хорошо. Рядом море. Иосиф».

Счастье, когда твои близкие живы, здоровы и находятся в санатории! Бледная и трепещущая, ставила я чайник на плиту, а Кукин, со всех сторон окруженный почетом, слонялся по квартире, и впереди была вечность.

— Безумные евреи! — говорил он, встречая повсюду Йосины запасы макарон.

Йося запасал макароны на черную старость, на случай войны, голода, разрухи, еще он запасал крупы и спички. Спички отсыревали, в крупе заводились жучки, Йося же — иссушенный, как осенний лист, запрещал расходовать его запасы без особых на то причин, считая их стратегическими.

Йося, Йося, все кончено между нами, я больше не вернусь на твой зов, найди уединенное место, пади на траву и орошай землю горькими слезами: сегодня я скормлю твои макароны Кукину.

В нашем доме не принято сходить с ума по мужчинам, но Кукин, да-да, не перебивай! — Кукин явился для меня источником столь сильной любви, что я совсем одурела от страсти. Где он? А где я? У нас везде ноги, везде руки, везде глаза, головы, лица, уши повсюду в мире...

— Какие у тебя, Милочка, большие уши, — восторженно шепчет Кукин. — Такие уши говорят о здоровом организме человека и о его физической мощи. Люди с мясистыми эластичными ушами, — продолжал он, — имеют проблемы с печенью, почками и сердцем. А у кого уши тонкие и просвечивающие, мучаются всю жизнь с желудком и кишечником.

В заключение — вне всякой связи с предыдущим Кукин спросил — знаю ли я, почему у меня холодный нос?

— Нет, — ответила я.

— Потому что ты хочешь меня! — сказал Кукин. И он победоносно посмотрел в мою сторону.

— Да, — воскликнула я, обнимая его и целуя, — да, мой единственный Кукин! Явись к нам, репетитор по биологии, а то с годами мне стало казаться, что я еще недостаточно тщательно изучила этот вопрос, хотя я постоянно штудирую специальную литературу, перелопатила горы брошюр, с дальним прицелом выписываю журнал «Огни Сибири», там дают множество дельных советов, и я — чисто теоретически неуклонно овладеваю сей областью знаний, по крайней мере — терминологией.

— А я, — беззаботно заметил Кукин, — всегда предпочитал спонтанность в этом деле. Как пойдет, так и пойдет. Жаль, энтузиазм стал угасать.

Он взял сыр, приложил к ноздре и шумно вдохнул: — Такой здоровый воздух от сыра, — сказал Кукин, — даже голова идет кругом. А давай гонять чай!!! — неожиданно предложил он. — Будем, Милочка, гонять чай всем врагам назло. Кстати, ты не знаешь, куда девались татаро-монголы после Куликовской битвы?

Кукин провел у меня шесть часов. Он сидел на кухне, гонял чай, пока не забрезжил рассвет, рассказывая о том, что он в жизни любил и утратил, и через какие неопишуемые опасности он прошел.

— В молодости, — сказал он, наконец, съев четыре яйца, помидорки две, девять бутербродов, — я вел распушенную жизнь, пока неудачная любовь не натолкнула меня на иные мысли, и я решил посвятить всего себя обращению магометан в христианство.

С этими словами он встал и отправился в прихожую надевать ботинки.

— Как? — спросила я. — Разве ты не останешься?

— Нет, — ответил он.

- Почему???
- Мама будет волноваться.
- Но она давно спит!!! — вскричала я.
- Спит, — ответил Кукин. — А все равно волнуется. И он стремительно убежал на карачках.

Иосиф, я узнаю твои проделки! Той ночью — Йося, не отпирайся! — разбуженный странной какой-то тоской и тревогой, ты выскользнул из санатория, накрыв себя шкурой козы, не знавшей ни разу самца, и на языке, который был мертвым уже во времена Ашшурбанапала, произнес: «Да будет туман, страх и великие чудеса для всех, кто ищет тебя! Да станут они мякиной на ветру, гонимые Ангелом Господа!» Вслед за этим — молчи, Йося, за твои мерзости Господь, Бог твой, изгонит тебя от Лица Своего, — сделался такой густой туман, и такая тьма, что враги твои заблудились и вынуждены были отказаться от своих замыслов.

Иосиф, смутитель небес, не мужчина ты и не женщина, ты хочешь, чтобы я жила в пустыне или на вершинах гор, и родила от непорочного зачатия, что ж, в нашем славном роду Пиперштейнов случилось и не такое. Вспомнить хотя бы странные обстоятельства Йосинового рождения. До Йоси у дедушки Аркадия с его женой Сарой уже было пятеро детей. После пятых родов Саре сделали перевязку маточных труб, а плодovитому Аркадию тоже что-то такое сделали в этом духе: крепко-накрепко перевязали, а может быть, даже отрезали.

Каково же было изумление Сары и Аркадия, когда после всех вышеупомянутых процедур на свет появился Иосиф, причем, так гласит семейное предание, родился он со словами:

«Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы».

Наутро с разбитым сердцем я получаю письмо от Йоси:

«Здравствуй, Милочка! — писал он мне. — Как прекрасен мир! Проснешься — солнце, тишина, и слышно гуденье: это тысячи и тысячи голосов звучат в унисон с жизнью. Чтоб ты знала, мы с Фирой только питаемся в санатории, живем же у хозяев. Она сама Маргарита, а муж ее работает на говновозке, поэтому у него очень много знакомых и большие связи. Слышал я, как Маргарита рассказывала соседям: «Она их выгнала, Рая, этих евреев, а мне их жалко!..» Это не про нас, не беспокойся. Возблагодарим Бога нашего, не одни мы евреи на этой Земле.

Вчера с самолета колхозники опыляли поля от вредителей божьими коровками. А их ветром отнесло на пляж. Часть попала в море, но большинство на отдыхающих. Так эти *божьи* коровки набросились на нас, как на злодеев и вероотступников, они нас грызли, Милочка, рвали на части, чуть было живьем не съели со всеми потрохами.

Красив закат на фоне бархатного неба! У меня бархатный стул и прозрачная моча. У Фиры стул более оформленный, но менее регулярный. Доча! Твоя мать Фира сгорела дотла! На ней сейчас можно яичницу жарить. Я перегрелся, перекупался, и вечером меня стошнило. Будь умницей и не чини никаких беспутств. Целую, папа.»

Йося — это певчий ястреб Калахари — он охотится, поет на лету и несет голубые яйца.

— Почему ты не едешь на родину отцов? — спрашивает его иногда Фира.

— Потому что мне нравится, — отвечает Иосиф, — эта убогость российского пейзажа. Мне нравятся эти люди в черных пальто приталенных, в этих черных ботинках и черных шапках. И я не буду питаться

папайями, потому что я их не люблю, я люблю картошку, капусту, я лучше буду жить здесь богато, чем там считать эти шекели, и я думаю, именно *здесь*, — отвечает он Фире, — при содействии моих близких я быстрее попаду в Царствие небесное.

А Фира:

— Если ты ставишь себе такую задачу, то я тебе это обеспечу.

А тут и правда, очень хорошо в этом смысле. Зимой, например, множество народу гибнет под льдиной. Идет человек по улице, думает свою тяжелую думу, а ему — бац! — льдиной по голове — и готово!

Некоторые сами стремятся покончить с тяжелой думой своею. Один отдыхающий *в доме отдыха* от несчастной любви взял с овощного стола и съел целую тарелку соленых помидоров. Его в критическом состоянии доставили в больницу, но как ни старались врачи, помидоры уже всосались в кровь, и вернуть его думы ему им не удалось.

Или иду я на почту платить за телефон, а около дома толпа зевак. Известно, что жители нашего микрорайона — самый легкомысленный народ в мире. Их, как говорится, хлебом не корми, дай только поглазеть на какое-нибудь происшествие. Шум, гвалт, переполох, скорая помощь... Оказывается, в соседнем подъезде на балконе четыре человека повесились. Всей семьей. Муж, жена и два сына.

К ним в квартиру проник милиционер, вышел на балкон, видит — все как положено: висельники в петлях, только у каждого есть еще запасная веревка, замаскированная. Они за эти веревки держатся, пьют вино, закусывают ежеминутно тепленькими пирожками и от души посмеиваются, как славно они всех одурачили.

Наш участковый милиционер Голошапов Александр Давыдович снял фуражку, положил ее на бортик балкона, вытер лысую голову носовым платком и принялся старательно вынимать их из петли, одного за другим, рассказывая во всех подробностях, что их за такие вещи ожидает в загробном мире. Они не сопротивлялись, ничего. На лицах у них были написаны небесная радость, счастье и веселье, когда их увозили, как будто они уже очутились в раю.

Их увезли в сумасшедший дом. А жители *нашего* дома на чахлой траве во дворе плясали под звуки волынок и свирели, делясь впечатлениями о том, как все-таки разные люди по-разному отводят свою душу.

— Целая семья сумасшедших! — со смесью ужаса и восхищения воскликнул стоявший рядом со мной узбек или калмык. — Не кто-то один, а *все!!!* И это неудивительно: шизофрения, — стал он охотно объяснять мне, — великолепно передается по наследству. Вот почему шизофреникам, — он уже весело шагал со мной рядом на почту, — не рекомендуется иметь детей. Но в данном случае — один шизофреник полюбил другого. И все. Им так хорошо друг с другом. Они очень увлекающиеся. Один предложил: «Давайте повесимся?» И все обрадовались. Четвертый, наверное, не соглашался. А ему сказали: «Ты что, дурак?» Или ему сказали: «Давай, вешайся с нами, а то мы тебя по-настоящему повесим». Он испугался и повесился. А то с ними шутки плохи.

И мы пошли с ним, страшно довольные таким чудным разговором. Мне он понравился, этот калмык, понравилось то, что он так и дышал незаурядностью. Все люди вокруг меня, я заметила, как-то некрепко держатся за жизнь. Он же совсем не производил впечатления человека, который ходит по краю пропасти.

— Вы случайно не калмык? — спросила я. — Или вы калмык?

— И то и другое, — ответил он.

У него было такое лицо — его невозможно забыть. Если смотреть на левую сторону его лица, то оно было строгое, суровое, пронзительное. Зато правый глаз глядел не на тебя, а куда-то вдаль, в вечность, от этого вся правая сторона смотрелась мягче и сносней.

Звали его Тахтамыш.

— У вас есть «Известия для одинокого мужчины»? — громко спросил он, войдя на почту.

Брюки мешковатые, рубашка на животе расстегнута, живот весь в складочку, сам размеренный.

— Какая красивая девушка! — сказал Тахтамыш, распахивая свои объятия почтальону. — Из моих мест. Как это хорошо, — воскликнул он, — что в Москве много южан. Город живой, когда тут ходят арабы, евреи, негры, кавказцы... Газета сегодняшняя? Завтрашняя? Дайте мне «День».

Даже просто глядеть на него доставляло удовольствие. А уж идти с ним рядом и разговаривать обо всем на свете!.. Правда, разговаривал обо всем на свете он один — это был монолог.

— Вот о чем я мечтаю, — он говорил, дружески обняв меня за плечо, — *все время* лежать в кровати, пускать мыльные пузыри и любоваться игрой радужного света на их боках.

Подобное заявление могло обескуражить любого, кто спал и видел, как ему в свои неполные тридцать четыре стать наконец женой, женщиной, матерью, занять собственный дом, семью и отделиться от Фиры с Иосей! Но Тахтамыш до того выглядел цветущим, в желтой рубашке с оттенком калифорнийского лимона, в новых оранжевых ботинках, так и напрашивался сам собою вопрос: есть ли у него девушка в общепринятом смысле этого слова?..

— Вам никто не говорил, — вдруг спросил он, — что у вас череп очень красивый? Когда видишь такую женщину, тут же хочется овладеть... ее вниманием, мыслями, душой.

Я почувствовала, как я встаю из пепла.

— Вы очень соблазнительная, — продолжал Тахтамыш. — Пойдемте к вам? Купим чего-нибудь поесть. Вы любите пиво? Нет? Я люблю пиво. Кстати, о любви! Поговорим о сладости поцелуя. Вы любите целоваться? Я очень люблю целоваться. А вы подарите мне поцелуй? Да? А когда вы поняли, что хотите целоваться со мной? Шли-шли, и вдруг раз! — и поняли?

— Волнуетесь? — спросил он, когда мы ехали в лифте. Он держал в руках пиво, грудинку и колбасу.

— Да, — сказала я.

— Не надо, не волнуйтесь. *Все очень просто.*

Колбаса выкатилась у него из рук и упала на пол.

— Падшая колбаса, — величественно произнес он.

Иося, Фира, ну что вы окаменели с чемоданами на пороге, когда вам открыл Тахтамыш? Говори, Иося, что тебя потрясло? То, что он полукрасный, полусиний и полужелтый? Так спроси, Иося, что это с ним? Ничего, он ответит тебе, мы — калмыки — такие. Или он на артиста похож, который подлюг играет? Да не рассматривай ты его так придирчиво! У него в животе начинает бурчать от чрезмерного внимания. Дай, я тебе расскажу о моем Тахтамше. Рожденный в деревне, он оказался не создан для нее. Родители его, я знаю, Иося, тебе это не безразлично, интеллигентные люди — погонщики верблюдов, и сам он ученый, знаток — носитель татарского эпоса. Он турок-сельджук, Барбад, укравшийся в ветвях кипариса. Он крупнее лошади, покрыт рыжей шерстью, но морда, уши и две длинные тяжелые косы у него черные. При появлении всадника или пешего он притягивает их к себе своим мощным дыханием и заглывает, он глотает и камни! Убить его можно стрелами в незащищенные шерстью места,

и когда он станет падать — подойти и разругать его мечом.

Тебя, Иося, интересует — утратила ли я невинность? Нет, не утратила. Поскольку Тахтамыш обещал жениться на мне при одном условии: если я сначала выйду замуж за его брата Тахtabая, и мы пропишем его в Москве. Но для Тахтамша немаловажно, чтобы Тахtabай женился на *девушке*, так у них там принято — у калмыков, поэтому я блюду девственность — для Тахtabая, хотя этот брак наш с ним будет фиктивным.

— Надеюсь, это шутка? — сказал Иосиф.

— Нет, это, Иося, серьезное дело.

— Ну хорошо, — сказал Иося, — а то были бы плохие шутки.

— Отец! — Тахтамыш собрался обнять Иосифа, но тот жестом остановил его порыв.

Он похудел. Глаза у него ввалились и сверкали каким-то сумасшедшим блеском. И у него очень нос загорел. В руке Иосиф держал тяжелую трость с набалдашником. За Иосей высилась Фира — сияющая, вся в перьях, в соломенной шляпе — с безумной улыбкой на устах.

Не зря меня страшила первая встреча Тахтамша с моими родителями. Во-первых, разъяренный Иосиф мог запросто кинуться на Тахтамша и хорошенько его отдубасить. Сцены «Иван Грозный убивает чужого сына» боялась я прежде всего. Вторая моя тревога была: как бы Тахтамыш не составил верного представления о всей нашей семье, и я бы не упала в его глаза.

— Что же вы, не хотите меня поцеловать? — спросил Тахтамыш, опечалившись.

— Нет, — ответил Иося.

— Почему?

— Потому что это негигиенично. Я и руки-то больше никому не подаю, боюсь подцепить какую-нибудь заразу.

— Я мужчина чистый, — сказал Тахтамыш. — И я вам покажу документ.

Он стал рыться в своих вещах, бормоча о темной ночи, которая пугает поэта, и тот призывает свою подружку, а та утешает его. Закончил он все это словами:

— Спокойно идущие вопреки не знали о том, что Бижан уже оседлал своего коня, — и протянул Иосе желтую картонную карточку с фотографией, довольно потрепанного вида.

Иося, молча, прошел сквозь него, как сквозь призрака, лишенный плоти.

Тогда Тахтамыш обратился к Фире, видимо, полагая, что Фира у нас по сравнению с Иосей — это храм разума.

— Эсфирь Соломоновна! — сказал он. — Поверьте, у меня к вашей дочери позитивное отношение. Я хочу Милочку и физически и морально. Я даже намерен жениться на ней *в конце концов*. Но пока мне тут нужно отлучиться ненадолго, чтобы совершить паломничество в Мекку.

А Фира:

— Зачем вам в Мекку? Езжайте в Марьину Рошу, загляните в синагогу, и все уладится.

— В синагоге, Эсфирь Соломоновна, нету Бога, — как можно мягче и доверительней сообщил Фире с Иосей Тахтамыш.

Услышав такие слова, Иосиф затрепетал от гнева. Он бросился бы на Тахтамша и умертвил бы его с такой жестокостью, что залил бы кровью всю нашу квартиру, но побоялся, что весть об этом злодеянии докатится до участкового милиционера Голощапова Александра Давыдовича, а тот бы стал роптать.

— Бог мой! — горестно возопил тогда Иосиф. — Под сенью крыл твоих найдем защиту и прибежище! Убереги язык мой от злословия, разве я не понимаю:

весна, отсутствие витаминов, и в то же время повышенная возбудимость. Но, Господь, наш оплот и избавитель, скажи, что она нашла в этом лице кавказской национальности?

— Я хочу счастья, Иосиф! — ответила я. — Мне уже сорок лет, а скоро будет пятьдесят. Я отвечаю, тут разное до национальных распрей и религиозных предрассудков?! Дашь ты мне, черт возьми, отлепиться от вас с Фирой и прилепиться к Тахтамышу, ибо он — существо, что светится во мгле, незапятнанный, незатемненный, вон как он отмыл чашки содой, и все кастрюли твои подгорелые, а посмотри на плитку?!

Все! Я твердо намерена с вот этим Тахтамышем слиться в единое целое, так как в «Огнях Сибири» в ноябрьском номере за прошлый год я прочитала, что секс, чтоб ты знал, Иосиф, благотворно влияет на организм человека, даря ему чувство глубокого удовлетворения, жизненную силу и душевный огонь.

Там также говорится, я точно не припомню в каких именно выражениях, но, Иося, при гармоническом соитии в момент наивысшего подъема могут, Иосиф, не удивляйся, исчезнуть время и пространство, предметы со стола и со шкафов сами собою станут падать на пол, а комнату наполнит голубое сияние, особенно интенсивное над позвоночным столбом партнера. Только не надо стремиться к эякуляции! — выдала я последнюю свою, козырную, информацию, почерпнутую в каком-то, убей не помню каком, органе печати, — поскольку если партнер стремится к эякуляции, то в тот момент, когда она имеет место, теряется точка контакта.

— Это еще что такое? — спросил бедный Йося, беспомощно глядя то на меня, то на Фиру, то на Тахтамыша.

— Эякуляция, Иосиф, — ответила Фира, снимая соломенную шляпу и легким движением руки бросая ее на холодильник, — это то, что происходит у тебя сразу, как только наступает эрекция...

— Ты видишь, что моя жена выкамаривает? — воскликнул Иосиф, невольно ища поддержки у Тахтамыша. — Никак не привью ей сознания бренности мира. Вот женщины! От зари до зари твержу я и Милочке и Фире: ищите бессмертное! Чтите заповеди, данные нам Торой. Не тратьте времени на то, что тленно. Вы разве не видите?..

— Чего? — спросил Тахтамыш, простодушно озираясь.

— Того! — грозно отвечал Иосиф, — что наступает конец системы. Пока идет проповедь. А потом начнутся страшные дни, и те, кто не штудировал Тору, просто исчезнут, стоял — и нет его.

И Йося злобно воззрился на Тахтамыша, явно надеясь, что тот, проникнувшись Йосиными речами, начнет уже потихонечку исчезать, не дожидаясь, пока грянет гром, засверкают молнии, а главное, вострубят в большой шофар, и придут потерявшиеся в земле Ашшур и заброшенные на землю Египта, и падут они ниц пред Господом на святой земле в Иерусалиме.

Но Тахтамыш как стоял, так и стоял, даже волоска не слетело с его головы.

— Не надо портить праздник жизни! — вымолвил он наконец. — Ваша дочь — мягкая, теплая и нежная, она женственная и застенчивая, и абсолютно доступная для меня, а я такой ранимый — просто ужас. Если мне скажут: пошел вон! — я уйду. Уеду в Америку и женюсь на певице Уитни Хьюстон. Но, Иосиф Аркадьевич, имейте в виду, холостых сейчас нет. Кто-то в армии, а все остальные погибли на сенокосилке.

И он начал жарить пирожки с капустой, в десятый раз пересказывая мне добрые сказания былых времен на персидском языке.

— Вообще-то я перс, — говорил он о себе.

— Ладно пыжиться, — отзывался Иосиф из ванной комнаты.

Йося, Йося, как ты не понимаешь, вот этот вот Тахтамыш — последний шанс не дать угаснуть веселому и безалаберному роду Пиперштейнов.

— Так он же басурманин, — никак не мог успокоиться Йося, — его надо долго отмачивать в Днепре...

— Вы лучше жуйте, — увещевал его Тахтамыш, потчuya всех пирожками, — хорошо пережеванная пища — наполовину переваренная.

— За мужчин! Наших поклонников и обожателей! — подняла Фиру рюмочку крымского портвейна.

Мир и благоволение воцарились после ее слов, а также атмосфера удивительного покоя, покорности и тихой грусти. С тех пор, когда нашего Иосифа видели с Тахтамышем, идущими в булочную или овощной, соседи спрашивали с умилением:

— Выдаете дочку замуж?

— Выдаем потихоньку, — со вздохом отвечал Иосиф.

И когда пришла пора Тахтамышу исполнить свой мусульманский долг, отправившись ненадолго в Мекку, Йося даже слегка затосковал.

— Мекка — это по какой дороге? — спрашивал у Тахтамыша Иосиф. — А то у меня в туалете карта, я буду следить за твоим путем.

— Следи через Саудовскую Аравию, — уклончиво отвечал Тахтамыш. — Я быстро, Аркадьич, одна нога там, другая тут, к тому же скоро приедут мой брат с отцом, и вам не будет так одиноко.

— Но это же такие дали... — вздыхал Иосиф.

— Разве на Земле есть дали? — отвечал Тахтамыш.

— Что-то хочется сказать тебе хорошее, но ничего в голову не приходит, — он заявил мне на прощанье.

В ответ я взглянула на него столь страстно, что он чуть не упал. Я это умею, просто никогда не пускаю в ход. Но тут дело затягивалось, а мне уже поскорее хотелось начать продолжать род, причем не сумасшедших Пиперштейнов, это я нарочно сказала, чтобы уважить Йосю, а великих богатырей Забулстана.

И вот, не прошло и месяца — я не хочу затягивать повествование, — нам кто-то громко позвонил в дверь.

— Кто там? — спросил Йося.

— Это мы, — ответили из-за двери. — Ваши родственники.

— А по какой линии? — стал допытываться Иосиф.

— По линии Тахтамыша!..

Иосиф открыл. На пороге стояли два горбуна и карлика — приземистые, коренастые, в очень длинных брюках, с огромными сумками и чемоданами. Их вид заставил оцепенеть Йосю с Фирой, да и меня это пригвоздило к месту. Добрых пять минут мы пялили друг на друга глаза. Космическое безмолвие повисло у нас в прихожей, пока они заносили к нам свои вещи. Но Афросиаб — так звали отца Тахтамыша — мгновенно разрядил обстановку.

— Дай мне обнять тебя, дружище! — сказал он Йосе с уже знакомым нам по Тахтамышу радушием. — Кум! Кума! Пойдите ко мне, я вас обниму, чтобы косточки затрещали! А где красавица? — спрашивал он, поочередно заключая Йосю с Фирой в свои объятия. — Где наша белая лилия?

Тут я подхожу к нему, пусть не красавица, но с образованием. Серьезный человек, потрепанный житейскими бурями.

— Царица Тамара! — довольно-таки потрясенно воскликнул Афросиаб, чем вмиг, разумеется, покорила мое сердце.

Надо отметить, что Тахтамыш был наиболее respectable из всего их семейства. Он просто низкорослый, плотного сложения, но от него так и веяло

солидным достоинством. В то время как его брат и отец являлись самыми натуральными лилипутами. Мы сразу даже не поняли, кто отец, а кто брат — карлики вообще все молодое выглядят.

— А это мой Тахтабай, — сказал Афросиаб.

— Я — вы нал — кар — мыр — лы, — хрипло произнес Тахтабай.

— Что он сказал? — спросил Иосиф со смесью ужаса и подозрения.

— «Мир вашему дому!» — приветливо перевел Афросиаб. — Он говорит по-русски, но у Тахтабая немного нарушен двигательноречевой аппарат. По нему даже диссертацию защищали, — с гордостью добавил отец. — И снимок дали в энциклопедию — его ног!

— Вы большие люди! — сказала Фира, с трудом и не сразу обретая дар речи.

— У меня есть еще один, младший, как две капли воды похожий на меня, — сообщил Афросиаб. — Я могу благодарить судьбу за таких сыновей.

Он вел себя естественно, как хомячок. И сразу всюду начал совать свой нос.

— Хорошая у тебя комната — картошку хранить, — сказал он Иосе. — Светлая, холодная.

Иосиф напрягся и сглотнул.

— А что? У нас в Средней Азии, — сказал Афросиаб, — была дома одна комната специально для хранения яблок. Я помню, яблоки на столе кончатся, отец откроет дверь — и оттуда — не то что дух, а прямо яблочный ветер. И яблоки — красные, большие, целая комната! До февраля лежали, потом начинали гнить. Их ведь надо снимать с дерева руками, — втолковывал Иосифу Афросиаб. — И подвешивать за черенки, каждое в отдельности, тогда можно сохранить до лета.

— А ваш папа, — Иосиф принял крайне научно-административный вид, — он тоже был карликом?

— Нет, он был великаном, — ответил Афросиаб без малейшей заминки. — Тут будет склад огурцов, — делился он с нами своими мечтами, — тут лука... Вам, Иосиф Аркадьевич, следует приналечь на овощи. Недостаток овощей может пагубно отразиться на вашем здоровье.

И Афросиаб принялся расписывать на все лады достоинства белой узбекской редиски, как она хороша, тертая, со сметаной и с луком...

— От нее пердишь здорово, — вдруг сказал Иосиф.

Он ответил, возможно, с излишним высокомерием, но счел своим долгом немного охладить пыл Афросиаба.

Афросиаб в свою очередь посмотрел на Иосифа, как царь на еврея. В этом взгляде не было ни гнева, ни обиды, а только неодолимое желание скорее прописать всех своих сыновей в Москве, и было заметно, что ради этого он готов запродать душу дьяволу.

— Вам надо поправиться, Иосиф, — небрежно произнес он, — а то вы худой и агрессивный. Закусим, чем придется?

Они с Тахтабаем сели на стулья, а у них ноги до полу не достают.

— В понедельник венчание, — торжественно объявил Афросиаб, принимаясь за Фирину тушеную капусту. — Все как планировали — фиктивным браком в Елоховском соборе. Я договорился. Их будет венчать сам Питирим.

— Ну нет, — сказал Иосиф. — Я против.

— Почему? — удивился Афросиаб. — Вам не нравится сан Питирима? Или архитектура Елоховского собора?

— Мне не нравится ваш генетический код, — признался Иосиф. — Вы меня извините, — добавил он, — я всегда говорю то, что у меня на сердце. Беско-

нечно глубоко замыслы Господа, невежде не постичь, глупцу не понять. Но, Милочка, дочь моя, плоть от плоти моей, неужели ты хочешь нарожать кучу горбунов и карликов?

— Нет! — честно ответила я. — Я хотела родить кучу великих богатырей Забулистана.

— Я вам еще раз повторяю, мы не всегда были такими, — сказал Афросиаб. — Я в молодости был высоким и играл в баскетбол. Меня даже приглашали в сборную Иельского университета. Я просто отказался, потому что в этой команде играли одни негры...

— Что-то не верится, — засомневался Иосиф. — Я по телевизору смотрел — там в Америке у всех баскетболистов рост выше двух метров, а у некоторых даже выше трех!

— И у меня было выше трех, — сказал Афросиаб. — Будто я что-то тут сочиняю, — обиженно сказал он, — пытаюсь кого-то обмануть, ввести в заблуждение. А мне скрывать нечего: меня, Иосиф, сплели. Да-да, не удивляйтесь. У нас в ауле жил один нечестивый курайшит. Звали его Исмаил. То ли он был колдун, то ли одержимый, суть в том, что этот вот Исмаил был поганый язычник. И хотя всем цивилизованным народам давным-давно известно, что на свете есть только один всемогущий Аллах...

— Уже мы под эту песенку плясали, — сказал Иосиф.

— Он все еще поклонялся Солнцу, весне и Кузаху-громовержцу, — продолжил Афросиаб. — Раз как-то я его прищучил. «Свидетельствуй, — говорю, — что нет никакого Бога кроме Аллаха и пророка Мухаммеда!» Я думал, что сердце Исмаила смягчится, когда в него проникнет ислам. А он мне возьми и сунь под нос кукиш. С тех пор он меня стал преследовать насмешками и оскорблениями, хуля мою веру и унижая мое дело. Бывали случаи, когда он бросал в меня грязью, или украдкой выливал помой и нечистоты у порога моего дома. Однажды я не вытерпел, схватил валявшуюся поблизости челюсть верблюда и ударил Исмаила, ранив его до крови. В ответ Исмаил поклялся меня истребить как последнего самудита. К счастью, Аллах не позволил ему насладиться мстостью в полной мере: он только наслал на меня чуму, холеру, черную оспу, поразил морovou язвой, иссушил и уменьшил ровно в три раза. Видите? Во мне сейчас метр пять сантиметров. Да еще я сутулюсь, — и он показал на свой огромный горб. — А теперь представьте, какой я был раньше.

— Ну, хорошо, с вами все ясно, — задумчиво произнес Иосиф. — А ваш сын, Тахтабай? Разве его внешний облик не говорит о явных нарушениях генетического кода в вашем роду?

— Помилуйте! — замахал руками Афросиаб. — Какие там нарушения! У нас самый лучший генетический код в Казахстане и Средней Азии! Тахтабай был в детстве очень красивым мальчиком. Он снялся в трех фильмах известного режиссера Улугбекова. Его даже приглашали в Голливуд, но как раз перед поездкой он упал с качелей и повредил позвоночник. Естественно, ни о каких съемках за океаном не могло быть и речи. — Он тяжело вздохнул и погладил по голове сына.

А Тахтабай сидит — руки свои рассматривает.

— Иося, Иося, — говорю я. — Неужели тебя не растрогала трагическая история этой семьи? Они и так хлебнули горя! То колдуны, то качели... Давай полюбим их, и нам за это воздастся на небесах?!

Фира плакала уже чистыми слезами. Но Иося все еще подозревал неладное.

— Зачем ты кружишь голову людям, больным полиомиелитом? — сказал он мне с укоризной. — Вдруг это жулики?..

— Нет, Йося, это не жулики! — говорит Фира. — Я же вижу человека насквозь. А что он слова не выговаривает, так это пустяки. Я помню, когда я училась в Университете, у нас в группе училась девушка на романо-германском отделении. Ее спрашивают: как будет «рыба»? Она: «фиш». — «Фыш» надо говорить! — «Фиш!» — «Фыш!» — «Фиш!» — «Скажи: «рыба!» — «Рйба!»...

— Женщина! — говорит Йося. — У вас с Милочкой рассудка кот наплакал, а я ответственный квартиросъемщик.

— Да что бояться?! — воскликнул Афросиаб. — Почему страхи так наполняют ваши души, люди???

— Вспомни Тахтамыш! — кричу я. — Как он поет героические сказания!.. Ведь я дала ему слово! Пусть мой жених спокоен будет в Мекке. Он находится в дальнем походе и должен твердо знать, что мы тут уважаем его желания и сокровенные чаяния. Чтoб он не нервничал, я готова выйти за всех его братьев и за его папу в придачу. Сто против одного, — заявляю я в страшной запальчивости, — что твои внуки, Иосиф, будут не ниже... метра восьмидесяти шести, ты же слышал, отца Тахтамыша приглашали в сборную американского университета, и будь Афросиаб негром, то, может быть, даже выше, в профессиональную лигу — НБА, он играл бы, как Майкл Джордан, а ты знаешь, как играл Майкл Джордан, я видела два раза по телевизору. Йося, Йося, ты можешь себе представить, он прыгает — и не опускается. Все уже опустились, а он висит в воздухе... Жалко, он теперь не играет. Ты знаешь, его отца убили какие-то подонки. Он ехал на машине, а они взяли и пальнули по нему... У них там много оружия на руках. Представляешь? Убить отца Майкла Джордана. Я так плакала... И вот теперь он... бросил баскетбол и занялся бейсболом.

— Милочка, ты что, им поверила? — кричит растрепанный Иосиф.

— Да! — отвечаю я.



— И я им верю! — говорит Фира. — У них очень честные глаза.

— Получается, что я один не верю?

Воцаряется большая пауза.

— ... И что самая черствая душа у меня в семье — у меня?

Мы молчали.

— Если б он был хотя бы полуеврей! — снова закричал Иосиф. — Хоть четвертьеврей! Хоть одна восьмая доля!.. А то вообще непонятно кто!

— Мы — новые русские! — ответил Иосифу Афросиаб. — А вы, Иосиф — нацист.

Они хлопнули дверью и ушли звать на свадьбу своих родных и знакомых. Но перед уходом попросили отмотать им туалетной бумаги.

А мы остались сидеть, взволнованные происшествием.

— Благослови, душа моя, Господа, — проговорил Иосиф. — Если б Господь меня спросил, чего тебе не хватает для счастья, я бы ответил: дай передышку листу, гонимому ветром... Мне так не хватает того, чтобы посидеть в окружении людей, не имеющих ко мне никакого отношения.

Ткиа Шварим Труа Ткиа

Ткиа Шварим Ткиа

Ткиа Труа Ткиа...

Выйди, друг мой, навстречу невесте, мы вместе с тобой встретим субботу. Вернее, понедельник.

Собор был полон. Это было такое столпотворение, не спрашивайте какое. Причем толпились по большей части горбуны и карлики! (Как видно, там у них уйма колдунов и качелей.) Ну и конечно, вся наша родня по Йосиной линии (Фира была сирота): Изя-старший с семьей, Хоня, Моня, Илья, Авраам, муж Хониной сестры Вова, бывший трубач сын полка Тима Блюмкин — он, бедняга, в своем духовом оркестре почти оглох и ушел на пенсию, очень сильно еврейский еврей Соломон, улыбчивый Рома Пиперштейн из Оренбурга — ему недавно сделали специальное покрытие зубов под золотой цвет, и он все время улыбался, чтоб все видели, какая красота, и школьный товарищ Йоси Миша Пауков, которому, любит вспоминать Йосю, всегда не хватало умения оригинально мыслить.

Фира-то, Фира так выглядит великолепно, вся разгорелась, в кофте с барашками. Сам Йося — шарфик цвета южной ночи, костюм в полосочку французский, наверное, за миллион, со стальным отливом. Не зря он последнее время увлекся покупкой акций — купил себе сорок штук!

— На мои деньги, — всегда добавляет Фира, как только заходит речь о Йосиных махинациях. — И каждый раз, — жалуется Фира, — когда Иосиф занимает у меня, то отдает немного меньше.

— Как?!! Эсфирь? — голосит Иосиф. — Разве твоя жизнь со мной не одно сплошное безоблачное счастье?

Йося, Йося, наконец-то, наконец я стою у алтаря. В белом платье, с фатой, это же какой счастливый случай!

Знаешь ли ты, что такое счастливый случай? Мне еще Кукин рассказывал: хромировали в тридцатые годы самолетную деталь. А она не хромировалась. Один плюнул и пошел. А утром приходит — получилось! Давай опять хромировать — не выходит. И тут он вспомнил, что плюнул. Оказывается, в слюне такие ферменты, без которых ни о каком хромировании речи быть не может.

И пусть наш брак фиктивный, все равно он совершается на небесах.

Я ждала этой минуты всю свою жизнь. Нет, я, конечно, ждала не этой минуты, но и этой тоже. Питирим в роскошном облачении с длинной черной бородой, в высоченной шапке с золотыми узорами, с огромным золотым крестом на груди, усыпанным драгоценными камнями (как они его уговорили?!), дрожащий свет от зажженных свечей, и мудрые уставые глаза Питирима, глядевшие на нас с Тахтабаем...

Тахтабай красный, как помидор, и весь дрожит. Для него это тоже волнительное событие, теперь он станет москвичом. А через месяц мы с ним разведемся.

Дивные песнопения прерывают мои мысли, свет, словно крылом ангела, коснулся моего лба. Глаза Питирима смотрят мне прямо в душу:

- Согласна ли ты стать женой Тахта...
- ...бая! — подсказывают ему из толпы.
- Тьфу! — сказал Питирим.
- Согласна, — отвечаю я.

Тахтамыш придет через неделю. По слухам, он уже возвращается с шелками, бирюзой и изумрудами. Тогда, наконец, я стану женщиной, ведь не будет никаких препятствий.

— Молодые, обменяйтесь кольцами, — говорит Питирим, не дождавшись от Тахтабая вразумительного ответа и приняв его подергивание головы за согласие.

Я скажу Тахтамышу:

— Пойми, я не могу больше ждать. Соединись уже, наконец, со мною, ведь сразу невозможно развестись. Надо подождать, пока Тахтамыш пропишется у нас, а это займет месяца два-три, тут ведь такая бюрократия и волокита, столько я не выдержу, я должна стать женщиной немедленно, или я умру, — и буду рядом с ним, буду наслаждаться его близостью, буду любить его и охранять ото всех врагов.

С большим трудом Тахтабай все-таки надел мне кольцо на палец. Я терпеливо ждала, теплея к нему душой.

— Объявляю вас мужем и женой, — сказал Питирим.

Хор, взяв изумительную по высоте ноту, внезапно смолк. И в полной тишине раздался рыдания. Это плакала Фира.

Тем временем Афросиаб кинулся на улицу и приказал трубить во все трубы и звонить в колокола. Началась торжественная процессия с пением псалмов и молитв. Однако, все так перепутались: православные, католики, баптисты, грегорианцы и пятидесятники, а также прихожане нашей синагоги, что эта разношерстная публика уже не знала, какому богу молиться.

Одни кричали:

— Святая Варвара!

Другие:

— Святой Георгий!

— Святой Бенедикт! Параскева Пятница!

Даже одна тетенька полоумная моего возраста завопила что есть мочи:

— Святой Себастьян, не насылай на нас чуму!

Царственный Афросиаб вышагивал перед свадебной процессией, взмахивая палкой с кистями, как тамбурмажор на военном параде. Это зрелище, достойное средневековья, принадлежало теперь не только истории его рода, но и истории всей его нации, правда, мы с Йосей так и не поняли до сих пор, какой именно.

Событие подобного размаха уже не знала, какому богу собой народного гулянья, закончившегося пышным фейерверком. Простому люду выкатывали на площадь громадные бутылки с вином, тут же резали скот, на высоком постаменте без передышки играл духовой оркестр. В жидкой тени миндаля шла бойкая торговля венниками, жевательной резинкой, пончиками, орехами, слоеными булочками, гусиным паштетом, маисовыми

лепешками, зеленью и пельменями. Люди толпились возле столов с лотереей, возле загонов, где шли петушиные бои, тараканьи бега и даже мелкомасштабная коррида, во всей этой толчее и водовороте возбужденной толпы лихо сбывали альбомы известного московского авангардиста Леонида Тишкова «Даблоиды».

Когда все уселось за стол, а надо вам сказать, что Афросиаб снял для свадьбы один из лучших ресторанов Москвы, расплакался Йосиф, пораженный видом неведомых ему ресторанных блюд.

— Да на какие же все это, спрашивается, шиши? — радостно и ошеломленно всхлипывал Йося, как самый-пресамый крошечный тут среди всех человечек и барабанщик, хотя на фоне избранных гостей Афросиаба он казался человеком устрашающей величины.

Они с Фирой хотели скромно отметить это событие, по-домашнему. Фира предлагала фушет, и помидоры просто нарезать, без масла и сметаны, «а если кто-то уронит себе помидор на брюки, — говорила Фира, — так пусть он уже будет без сметаны»...

Йося, Йося, теперь ты понял, чего стоила твоя глупая гордость. Ты думал, что познал все, и ничто не может тебя удивить. Скажи теперь, если бы не свадьба, узнал ли бы ты, что такое тарталетки по-мавритански, профитроли с уксусом и красным индонезийским перцем, перепела печеные с яйцами, бланманже с орехами и шоколадом, осетрина заливная южнорусская с хреном и буряком, семга по-копенгагенски и оливы с морковкою внутри... И много, Йосиф, очень много другого не знал ты, не пробовал в этой жизни и, скорее всего, не попробовал бы уже никогда.

И вот начался пир. Весело было глядеть, как наша благоприобретенная родня принялась работать челюстями. Продавцы бананов, копильщики креветок, купцы, мудрецы, торговцы, негодяи, ловцы жемчуга из поселка Рыбачий Тюменской области, измирские заклинатели змей, циркачи, крючкотворы, бездельники, неприятельские лазутчики, отловщики собак, паломники, пилигримы, наемники, цыгане, беглецы, спасающиеся от голода и войны, странствовавшие тысячелетиями по Азии от Византии до Китая, — все эти *новые русские* хриплыми голосами переговаривались на неведомых нам наречиях. Видит Бог, этакой мешанины не видел свет с тех самых пор, как царство Иудейское было завоевано Навуходоносором Вторым, и он затеял свое грандиозное строительство, включая всякие сады, и большой храм Мардука, или Венеры, при котором была возведена башня Этеменанки, известная нам под названием Вавилонской башни.

Я выпила шампанского, и душа моя стала теплеть к моим новым родственникам по линии Тахтабая, я только не понимала, кто чей сын и кто на ком женат.

Хоня, Моня, Илья, Авраам, сын полка Тима Блюмкин, муж Хониной сестры Вова, Соломон, а также с младых ногтей не склонный мыслить оригинально Миша Пауков изумленно глядели на творящееся. Особенно был изумлен Изя-старший. Благодарны Богу, он все-таки почтил нас своим присутствием, а то у Изы почтальон, чтобы не разносить по дому почту, выкинул содержимое своей сумки в мусоропровод. Придя на работу, это обнаружил мусорщик — он открыл помойку — а там куча писем и открыток, в том числе наше приглашение на свадьбу.

И хотя прямо в приглашении Йося предупреждал, что свадьба — фиктивная, все наши — скопом — приволокли нам в подарок *один* старый добрый полосатый матрац. Чистый конский волос! Этот матрац еще слышал нежный шепот и воркование токующего основателя рода Пиперштейнов контрабандиста

Бени. Именно на нем жил и умер дедушка Аркадий, на нем были зачаты Изя-старший с семьей, Илья, Авраам, Хоня, Моня, Иосиф, Хонина сестра, не говоря уже о более поздних наслоениях. На нем теперь предстоит мне болеть, спать, валяться, заниматься любовью, смотреть телевизор и умереть в кругу плачущих правнуков и внуков. Ведь конский волос вечен. В саркофагах скифских воинов находили скелеты лошадей и неподвластный тлену конский волос.

Один Соломон не выдержал и добавил от себя к матрацу два толстых тома «Карта дорог Южной Америки», а дядя Миша Пауков преподнес нам с Тахтабаем книгу «Способ сохранения молодых садов от зайцев».

Фира как села, давай сморкаться по-раблезиански. Все забеспокоились — не дует ли ей от окна.

— Нет, что вы, — ответила Фира. — Это у меня аллергия на иногородних.

В конце концов, Иося на очередной Фирин гвардейский чох заметил во всеуслышанье:

— Фира! Помимо твоих физических недостатков у тебя появилось много вредных привычек.

Карлики — корявые, горбатые, косолапые — так и покатались со смеху.

— Ой, ну вы идиоты! — восхищенно сказала Фира. У нее было отличное настроение.

А Иося — благодушно:

— Раскованно смеяться надо учиться. Я раньше не мог раскованно и громко смеяться. Улыбался — постоянно, по поводу и без повода. На войне, помню, отдали меня под трибунал. А я стою и улыбаюсь. Мне говорят: «Ты что улыбаешься?» А я улыбаюсь и все. И ничего не могу с собой сделать. Это был показательный трибунал. Вот сидят мои товарищи. Как мне не улыбаться?

— И вас не расстреляли? — спросил Афросиаб.

— Почему не расстреляли? Расстреляли...

Просто непостижимо, до чего любят и умеют веселиться пришельцы из иных краев. Рюмки заходили, ножи застучали, дым, как говорится, пошел коромыслом. Тахтабай плясал со старухой, я — с каким-то стариком. Все были очень рады за своего Тахтабая, особенно отец жениха. Радость и счастье переполняли его маленькое тело. Он вскочил на стул и закричал:

— Эта свадьба — самое выдающееся событие за всю историю нашего поколения! Сынок, неужели я дождал до этого часа? Жаль, что твоя бедная мама не видит твоего триумфа. Она с рождения прикована к постели. Но ничего, она придет к вам и будет жить у вас, дорогие Иося и Фира! А мы будем нянчить внучат. Уж вы не затягивайте с этим! — весело засмеялся Афросиаб и хитро подмигнул нам с Тахтабаем.

— А Тахтамыш? — я спросила. — Когда он придет?

— Какой Тахтамыш?

— Как это какой? — встрепнулся Иосиф. — Который везет нам индийские шелка, арабскую бирюзу и калмыцкие изумруды.

— Иося, — говорю я. — Причем здесь калмыцкие изумруды? Тахтамыш — мой любимый возлюбленный, брат Тахтабая, и старший сын Афросиаба.

— Нету у меня никакого старшего сына, — говорит Афросиаб, — у меня есть один сын, мой единственный Тахтабай, муж прекрасной Милочки...

— Горько! — закричали карлики.

Тахтабай поворачивается ко мне и протягивает руки, вид у него взерошен и дик.

— Если ты только мне и-и-изменишь, — произнес он вдруг неожиданно членораздельно, — я тебя искусаю и и-и-и-изгрызу!

— Позвольте, — поднимается из-за стола Иосиф, он уже порядком нагрузился, — всем известно, что этот брак фиктивный, а настоящий жених Тахтамыш.

— Фиктивный?! — Афросиаб наливался праведным гневом, как большой красный монгольфьер горячим воздухом. — Фиктивный?! — он бегаёт по столу, опрокидывая рюмки и закуски. — В Елоховском соборе? С Питиримом? Где вы еще видели такое венчание?



— Обман!!! — кричит Иосиф. — Эти уроды нас обманули!..

— Ай-яй-яй! — качает головой Афросиаб. — Зачем так говоришь? Они же любят друг друга. Вон как она глядит на него, как Лейла на Меджнуна.

— Ты нам Тахтабай береги, — поднимает бокал старый карлик-горбун, свидетель жениха, — это же такой человек — ему цены нет.

— И не забывай каждый вечер массировать ему ноги, — добавляет его жена, — а то у него ноги отнимаются.

— Ангелы вы мои! — говорит Фира, едва опомнившись, и вслед за Иосей тоже вылезает из-за стола. — Это как понимать? Мы думали, вы почтенные люди... Да вы вообще знаете, с кем имеете дело?.. У нас дед Аркадий — старейший работник МПС, заслуженный железнодорожник, его хоронила вся Москва. Наши племянники — почтенные люди. Вот Соломон — представитель крупного гешефта, «челнок» — он возит из Китая кожаные куртки, вот Тима Блюмкин, сын полка, артист, интеллигент, бывший человек искусства, Иосиф — стахановец, боец трудового фронта, во время войны он делал мины...

— Боже мой! — кричит Иосиф. — Кому она все это говорит??? Я задушу его собственными руками!!!

Иосиф бросается на Афросиаба, приподнимает его над землей, уже представляя себе, как он, ослепленный яростью, наносит удар копытами по голове, вгрызается ему в спину, и начинает бить его о землю, пока не разнесит в клочья... Но Афросиаб завопил, словно ирихонская труба:

— Иосиф! Не тряси меня! А то я сейчас воздух испорчу!!!

Воспользовавшись Йосиным замешательством, он вырывается на свободу и ловкими нырками уходит от Йосиных захватов, не брезгуя в критические минуты прятаться от Иосифа под стол.

Хоня, Моня, Илья, Авраам, Миша Пауков, Изя-старший — все окаменели. Карлики же, как ни в чем не бывало, пили, ели и выступали единым фронтом: то и дело подставляли ножки несчастному Иосифу, потешаясь над ним и веселясь, как какие-нибудь простые венесуэльцы.

Послышался громкий стук. Это Фира упала в обморок. Иося, схватившись за сердце, опустился на стул рядом с телом Фире.

— Обеты наши да не будут обетами, — бормочет он, — зарок зарокими, клятвы — клятвами! Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, полностью упразднены, необязывающи и недействительны.

— Ну-ну-ну, — примирительно говорит Афросиаб. — Вот вы, Иосиф Аркадьевич — иудей. Второе тысячелетие вам, евреям, твердят: с *каждым* обращай ласково и почтительно, может, это мессия? А я вообще не люблю, когда кто-то выше, умнее и лучше меня, мне становится нехорошо. За молодых! — кричит он. — И за их родителей. Если бы не родители, не было бы этого прекрасного жениха и этой прекрасной невесты! Горько!

Снова Тахтабай тянет ко мне руки. Кажется, он хочет меня поцеловать. Это мой муж. Настоящий. Я всматриваюсь в его лицо. У него не хватает одного уха, половины хвоста и изрядного куска носа. Так вот кто будет последним утешением в моей горестной судьбе.

А Тахтамыш? Меня обманул? Все меня покидают. Все. Всегда. Те, кого я любила, рассеялись по свету и растворились в воздухе. Никто никогда уже не полюбит меня. Надо ли смириться? Надо ли ждать? Я не хочу больше жить на этой планете. Лучше утопиться. Или отравиться. Нет, я уйду в монастырь, остригусь наголо и отрекусь от земной славы и суеты в одном из новициатов Апостольской префектуры. Надежд у меня

никаких. Ничего не надо просить у Всевышнего, что пошлет он мне, то пусть и будет. Вот сейчас задушу Тахтабая и уйду.

Но кто это?

Я подняла глаза и увидела в дверях человека. Я говорю *увидела*, но я не видела его, как видела Тахтабая, Фиру, Иосю и всех остальных. Он был здесь и в то же время — не здесь. Он был одет в голубое и белое, и у него были длинные крылья, коричневые, крапчатые, как у ястреба. У него был звездный венец и сияющий лик.

Первое, что пришло мне в голову, это то, что я окончательно свихнулась. Никто больше не видел его, только я, иначе все бы прореагировало.

— Афросиаб! Я вас крупно прищучу! — по-прежнему кричал Иося. Он то вскакивал, то садился, наэлектризован был страшно. — Ты — вор, лун, тунядец, — выкрикивал безрассудно Иосиф. — Он ест некошерное, не замечает субботы!.. У него кривые зубы и кривые пальцы ног!..

— Все мы по природе братья, только росли врозь, — громким басом говорит женщина в юбке, но почему-то с усами и с бородой.

— Горько! Горько! — хлопают в ладоши карлики.

Тахтабай залезает на стул и целует меня. Мне все равно. Я смотрю в дверной проем — он снова пуст. Я твердо знаю, что счастья в моей жизни уже не будет никогда.

Вдруг я почувствовала, чья-то рука коснулась моего левого плеча. Рука была теплая. От этого прикосновения я ощутила волну невыразимого блаженства. Я встала и пошла.

Куда я иду?

— Скорее возвращайся, — кричит мне вслед Афросиаб, — а то Тахтабай умрет от тоски.

Карлики заливаются лукавым смехом.

Отец мой, Иосиф, куда мне идти?

Теперь я совсем одна в крошечном мраке. Одна в Аравийской пустыне вдали от людей. Я не помню уже, где мой дом. Я забыла дорогу. Иося, Иося, мне снова придется блуждать по долинам, оставляя позади острова и безлюдные перекрестки. Куда мне идти? Куда идти? Как найти землю, где бы не росли пустынные черные ели, а только теплый ствол яблони?

Я в коридоре. Спускаюсь по лестнице. Ноги несут меня в гардероб. Там почему-то никого нет. И — к своему изумлению — чувствую, как две руки обнимают меня.

«Что бы сказал Иосиф...» — мелькает единственная мысль. И с этого момента — ни одной мысли в моей умной голове.

Какая-то радость захлестывает меня, увлекает, подхватывает, отрывает от земли. Ничто меня больше не страшит, ничто не тревожит. Я просто не в силах сдерживать свою радость. Она летит через край, увлекает, захлестывает, я едва касаюсь ногами травы.

Мне кажется, у меня изменяется фигура. Я расту, я уже головой достаю до потолка. Это так естественно и выходит само собой. Как же я могла позабыть, разучиться. Ведь это проще простого! Самые безнадежные, самые пропащие — на кого давно все махнули рукой — это по силам любому! Это как игра, это не труднее, чем прокатиться на лыжах по зимнему лесу, или прогуляться по осеннему парку, надо только попасть в восходящий поток. И ты медленно летишь к тому холму, где все огонь, все свет, сквозь все можно руку протянуть.

Проходит время. Потом останавливается. Потом исчезает...

Исчезает и пространство. Вещи на вешалках раска-

чиваются и падают на пол. Кто это кричит? Это я кричу. Над позвоночным столбом партнера разливается голубое сияние.

Чей это голос?!!! О, господи, я не узнала голоса отца своего.

— Фира! — он говорит, — уйдем отсюда. Ты знаешь, я ведь решил, что настало светопреставление. Жизнь, Фира, это фарс.

— Когда я была маленькой, — отвечает Фира, — у меня было голубенькое стеклышко. Какое горе было потерять это стеклышко, и какое счастье им обладать. Большого счастья у меня в жизни не было никогда.

Только два пальто оставалось на вешалке. Два плаща закрывали нас от całego мира. И вот они сняты.

Прозрачны мы стояли перед ними, перед отцом моим и матерью моею.

— Ты знаешь, Милочка, а Тахтабай-то умер! — говорит Иосиф, отводя взгляд смущенный от обнаженной дочери своей.

— Да, бедняжка, подавился, — кивает Фира, жмурясь от яркого сияния радуги вокруг нас.

— Надо же, — отвечаю я, — подавился. Я так и знала.

— Милочка, — говорит Йося, — а это что за личность?

Я говорю:

— Знакомьтесь.

— Иосиф Аркадьевич, — говорит отец мой.

— Эсфирь Соломоновна, — говорит моя мать.

ОН улыбается, сияющий и безмолвный, его глаза устремлены к небесам.

— Вы — *наш*? — спрашивает Йося.

Нет — он качает головой.

— Половинка? — допытывается Йося.

Нет...

— Тогда душой?

Да... ОН излучает спокойствие и тихую ясность, а также абсолютную, безусловную, ошеломляющую любовь.

— Вот и хорошо, — облегченно вздыхает Иосиф. — А то полувремени энергию очень отсасывают.

Милые мои, ненаглядные. А я-то уж думала, что я вас больше не увижу. Как я хочу прижать вас всех к сердцу: Фиру, Йосю, подросшую гардеробицу, метрдотеля, швейцара, Хоню, Моню, Илью, Авраама, мертвецки пьяного Мишу Паукова, внезапно нахлынувших в гардероб горбунов и карликов...

Убитый горем Афросиаб спускается по лестнице. К нему подскакивает невеста откуда взявшийся служащий похоронного бюро.

— Хотите заказать погребение? — бойко предлагает он. — У нас все готово. Мы здесь со всеми погребальными принадлежностями.

— В этом нет надобности, — отвечает Афросиаб — карлик-нибелунг, хранитель подземного клада, проклявший золотое кольцо, дарующее власть над миром. — Мой сын завершил земные свои деяния и был вознесен на небеса.

— В том числе и телом? — недоумевает похоронщик.

— Да, — отвечает Афросиаб.

Между тем, из уст в уста передают горбуны невероятную историю, суть которой вкратце сводилась к тому, что

когда Тахтабай подавился, распахнулось окно, и зал наполнился могучим порывистым ветром с севера или юга. Сначала пирующим показалось, что ветерок безобидный, обычный сквозняк, в нем никто не улавливал скрытой тревоги. Но внезапно почувствовалось и нечто злое.

Карлики застонали перед каменным входом, мечта оказаться в скалах родных. Но тут спустилась огненная колесница, и два существа во всем белом вышли из нее — два огромных санитара, два повелителя мертвых и погибших героев. Они взяли крошечного Тахтабая, положили на носилки — и он унесся с ними на огненной колеснице в жилище великанов.

...Карлики прибывают и прибывают. Стоят в темном и черном, в плащах и с зонтами, готовые нести горестную весть во все стороны бескрайнего Забулистана. Они заполнили все пространство. Оно снова появилось. И время тоже появилось.

...Кто голый?... Я?!

Через девять месяцев у меня родился сын. Я назвала его Ваня. Когда он вырос, он стал водителем троллейбуса.

Дочь Маша работает библиотекарем в хорошей библиотеке.

Сыновья Петя и Сережа окончили военное училище. Они танкисты.

Младший, Леонид, бизнесмен.

А самая младшая, Лариса, ей сейчас семь, скорее всего пойдет по научной части. Так сказал подростковый психолог Ганушкин.

Фира с Йосей живы. Нянчат внуков, чувствуют себя хорошо. Йося сделал себе обрезание. Он говорит, что так ему будет сподручнее выходить из всех бедствий и катастроф, которые обрушиваются на человечество.



ВОЗНЕСЕНИЕ ТАХТАБАЯ

Ирина МЕДВЕДЕВА
Татьяна ШИШОВА

ПИЩА-
ТР



ОИ
КА

Во всех языках слово «новый» — ко всякой бочке затычка. А порою и эвфемизм эпитета «бог знает что». Мы в этом не новы: «новое мышление», «новая экономика», «новые русские», «новые христиане»... Новые, наконец, дети?

Ирина Медведева и Татьяна Шишова, психологи, педагоги и драматурги, занимаются старыми, как мир, проблемами воспитания. Но по-новому. Они, например, придумали такую науку — «куклотерапию». Да и воспитывают скорее родителей, чем детей. Их последняя книга так и называется «Книга для трудных родителей». А главу из новой книги, мы сегодня предлагаем вниманию наших читателей. Бог, он, наверно, он знает, что с нами происходит. Знаем ли мы?

Где-то на исходе застоя все культурное население нашей тогда еще бескрайней Родины мечтало раздобыть две жизненно важные книги: «Толковый словарь» Даля и энциклопедический словарь «Мифы народов мира». Их покупали с бешеной переплатой на черных рынках, получали в обмен на тонны макулатуры. А если случался знакомый иностранец, который перед отъездом спрашивал: «Что я могу для тебя сделать?», младший научный сотрудник, поспешно сглатывая мечту о джинсах и тайно умиляясь собственной возвышенности, с достоинством отвечал:

— Да нет, спасибо, мне ничего не нужно... Разве что словарь Даля. В «Березке», на Кропоткинской...

Но спустя десять лет стало ясно, что словарь Даля уже не актуален, поскольку менеджеру, дилеру, а тем более организатору веркшепа, кофебрейка или фандрайзинга все эти хилые прикормы как-то не в дугу. Да и нужной справки не получить.

«Мифы» тоже особого энтузиазма не вызывают. А жаль! Ведь сейчас самое время не только ознакомиться с опытом народов мира, но и обогатить его (опыт народов и мир) собственным. Благо мифов у нас нынче — можно не по словарю Даля? — как грязи.

Вот, например, такой. Принято за аксиому, что в советском, насквозь милитаризованном обществе и сознание людей было насквозь милитаризовано, причем с самых что ни на есть юных лет. Еще бы! В школе уроки гражданской обороны, в пионерлагере игра в «Зарницу»... Малышам (о, эти ужасы тоталитаризма!) покупали плас-

массовые автоматы и оловянных солдатиков. В общем, растили убийц.

И вроде бы все так. Особенно если не задумываться, не вспоминать, не сопоставлять. Хотя подчас реальность

буквально принуждает это сделать. Ведь волей-неволей призадуматься, услышав такой диалог.

Спорят брат и сестра пяти и десяти лет. Наконец, когда остается полшага до драки, в ход идут последние, «козырные» аргументы:

Сестра: Малявка, я тебя сильнее!

Брат (на секунду оторопев, но быстро найдясь): Зато я Терминатор! Могу убить!

Сестра: А я Бэтмен! Он еще и летает!

Брат: Тогда я... (задумывается)... четыре ниндзя-черепашки! (Декламирует, радуясь спонтанно возникшему стихотворному ритму.) Мы четвером тебя убьем!

Сестра: А я Хи-мен! Я твоих черепашек изрублю на мелкие кусочки!

Брат: А я Человек-паук!

Сестра: А я Робот-коп!

Брат: А я Супермен!

Сестра: А я Супергерл!

И так минут десять до полного истощения.

А теперь давайте представим себе подобный диалог лет этак пятнадцать назад. В ми/тота/литаристском обществе. С теми реалиями. Начало, скорее всего, будет такое же:

— Малявка, я тебя сильнее!

А вот дальше... Кого могли бы дети застоя призвать на помощь для утверждения своего лидерства? Кто из детских любимцев недавнего прошлого порубил бы всех в капусту, стер в порошок, расстрелял «всего от пуза»? Чебурашка? Кот Леопольд? Или, может быть, кот Матроскин? Миф тут же начинает трещать по швам.

Милитаризация сознания, если уж говорить об этом всерьез, происходит сейчас, а не тогда. Это сейчас человек с младенческого возраста пропитывается культом

силы, культом героя с уголовными наклонностями. Это сейчас «Крошка-сын» знает, что у его папы есть пистолет (пока, к счастью, газовый, но принятие закона о владении личным оружием явно не за горами). Это сейчас подросток, рано утром выгуливая собаку, может обнаружить во дворе труп. Дурная бесконечность войн в тех местах, которые всю жизнь ассоциировались у нас только с туристской экзотикой или курортным отдыхом, милиционер с автоматом на шее, уже не раз встреченный нами в собственном подъезде, демонстрация «в прямом эфире» танков, стреляющих по Белому дому, битком набитому людьми... Это что, не милитаризация сознания?!

В таком случае нашим ученым, которым не впервой находить теоретические обоснования для любой наперед заданной практики, настала пора подумать о новых диссертационных темах в стиле Оруэлла. Например, «Радикальное устранение люмпенизированной части населения как оптимальный метод воспитания верности общечеловеческим ценностям». Или: «Образ Киберга-убийцы в детском кинематографе — эффективное средство формирования миротворческих установок».

Кстати, о кинематографических и не только кинематографических образах. В нашу жизнь вошла, вернее, ворвалась чужая эстетика. Конечно, нельзя сказать, что ее раньше не было, но она присутствовала в качестве скромного гостя, а не полноправного хозяина. В другом отношении и уж совсем с другой силой напора. Ненавязчивому гостю человек всегда рад. Так и мы радовались американским джинсам, японским видеомагнитофонам, французским шансонье, международным кинофестивалям. Все это было так недавно, а стало уже полузабытым прошлым — настолько резко поменялась ситуация. Сейчас — наконец-то! — раздается все больше и больше голосов, протестующих против засилья «американского большого». (Один наш знакомый когда-то переводил для заработка имени того бурятского поэта, и все шло гладко, потому что это был вполне интернациональный текст о Родине и партии, пока переводчик не споткнулся о загадочное выражение, которому никак не мог найти русского эквивалента: «БУРЯТСКОЕ БОЛЬШОЕ».) Но дело не только в том, что сочетание свиняче-розового с канареечно-желтым, на котором построена, в частности, вся эстетика империи Барби, режет глаз. И даже не в том, что американскую массовую эстетику человек с минимально развитым вкусом может назвать эстетикой лишь иронически. Суть в другом. Когда ее так много, когда она повсюду и всегда, это заметно искажает картину мира. Представьте себе, что в вашей комнате, вас не спросив, что-то чуть-чуть переставили, слегка заменили. Причем именно чуть-чуть, еле уловимо. И вот вы вошли и, еще не успев осознать происшедшего, ощутили смутную тревогу. Ну, а теперь вообразите, что в вашей комнате переклеили обои, поменяли мебель, повесили другую люстру и другие занавески... Вы, естественно, в шоке и хотите найти подтверждение того, что это в а ш дом. И начинаете метаться в поисках хотя бы маленькой вещички, хотя бы чашки с отбитым краем! — чего угодно, лишь бы убедиться, что вы не сошли с ума.

Господи, сколько воплей раздавалось, когда построили Дворец съездов, гостиницу «Россия», башни Калининского проспекта. Дескать, исказили лицо города! Но ведь это было то самое «чуть-чуть», «еле-еле» по сравнению с происходящим сейчас. А какой яростный протест вызывали у нашей интеллигенции советские плакаты и лозунги, праздничные портреты несчастливых геронтократов! Им говорили: «Да черт с ними, пусть висят! Кто их читает? Кто их замечает?» А они во всеоружии фрейдизма вешали про воздействие на подсознание, и что это, мол, еще более разрушительно для психики, чем осознаваемая травма...

Где же вы теперь, друзья-однополчане? Ведь сейчас самое время бить тревогу. Или голос, исходящий из «влажных недр» (выражение Розанова) и сладострастно призы-

вающий к райскому наслаждению вкусить чего-нибудь пищевого, оказывает благотворный эффект на подсознание? Что там говорил старик Зигги о совмещении трех отверстий в одном лице? А уж на уровне сознания... Наверное, лозунг «Слава труду!» не так травмировал психику, как восклицания двух «студентов МММ», потирающих пачкой акций: «Это больше, чем стипендия! Это лучше, чем стипендия!»

А есть и гораздо менее очевидные, но зато куда более серьезные факторы, искажающие онтологически привычную картину мира. Это вливается незаметно, как яд в ухо спящему отцу Гамлета. Насколько нам известно, критика в адрес американского массового искусства обычно не идет дальше причитаний по поводу секса и насилия, безвкусицы и натурализма. (Кстати, советское искусство можно обвинять во многом, но вот натурализмом оно не грешило и в этом смысле продолжало русскую традицию. У нас даже в фильмах про фашистов соблюдалась определенная цензура на демонстрацию зверств.) Однако, гораздо интереснее, на наш взгляд, сопоставить отечественную и американскую кино-, видео- и книгопродукцию по существу: сравнить персонажей, мотивацию их характеров и поступков, существование в категориях добра и зла.

Начнем — из вежливости — с гостей. Что прежде всего бросается в глаза? Да в общем-то отсутствие какой бы то ни было мотивации у голливудских злодеев. У нас даже начинающий литератор знает, что поступки персонажей должны быть обоснованы. Мэтры, опекающие молодых драматургов, любят советовать начинающим детально прорабатывать биографию всех, даже второстепенных персонажей. Это элементарное профессиональное упражнение. У американского же злодея (иначе не скажешь) нет ничего, хоть сколько-нибудь очеловечивающего: его невозможно представить себе в детстве, у него совсем нет положительных свойств (помните, как Станиславский учил артиста, играющего отрицательную роль, искать, что в нем хорошего?) или хотя бы смешных слабостей, нет никаких оправданий злодейской сущности — детство в детдоме, измена невесты, обида на советскую власть и проч. и проч... Он злодей по определению. Абсолютное Зло. Почему бы это? Неужели от недостатка профессионализма у создателей боевиков и триллеров? Или дело в чем-то другом? Образ «беспросветного» злодея, на которого нельзя полагаться, так как не за что зацепиться, далеко не нов, только он предстает сегодня в иных, модифицированных сообразно времени обликах. Кто символизирует Абсолютное Зло? Кто ненавидит род людской и жаждет его тотального уничтожения? Кому все человеческое чуждо? Да-да, тот самый, с копытами, но действующий в безбожном и безблаготном мире, где великий спор Света и Тьмы решается на уровне кулаков, автоматных очередей и залпов из гранатомета.

Совершенно очевидно, что обычный человек или даже обычный герой одержать верх в таком споре не в состоянии. И появляются сверхгерои, этакie боги-культуристы. И у них тоже нет ни предыстории, ни характера. Это в чистом виде номиналы. Очень показателен конец детского диалога, который мы не без умысла не процитировали сразу.

После реплик «Я — Супермен» — «А я — Супергерл» прозвучало следующее:

Брат: А я все равно сильнее! Я... я... Я — Супер-робот Т-1000. У меня внутри знаешь какой компьютер?!

Сестра: Ты что? Он же плохой! Он же Киберг-убийца!

Брат (нимало не смутившись): А это все равно!

Устами младенца глаголет на редкость лаконично сформулированная истина. И вправду, представители добра и зла в этих современных иностранных сказках принципиально ничем не различаются. Просто одних назначили добрыми, других — злыми. А перевесь таблички, и полюса в тот же миг поменяются. Да, собственно, так и про-

исходит. В одной серии Терминатор, выражаясь детским языком, «плохой», и на протяжении полутора часов пытается убить несчастную героиню. А в другой серии Терминатор (вроде бы новый робот, но с тем же именем и обликом — играет тот же самый актер!) уже «хороший» и выступает в роли защитника той же самой героини. Это все равно, что Кашей Бессмертный во второй серии исполнял бы обязанности Ивана-царевича: приручил Серого Волка, вызволил Василису Прекрасную, ну а потом — «с веселым пирком да и за свадьбу». То-то радости бы было!

В немецком языке для обозначения такого семантического шулерства есть точное и емкое слово: «феррюкт» (verrückt). Это и бытовое слово, обозначающее смещение предметов, понятий, и одновременно психиатрический термин, который по-русски лучше всего передает жаргонное выражение «сдвиг по фазе». Очень современное слово, как сказал бы Владимир Ильич.

Нельзя безнаказанно для психики жить в смещенных смысловых полях. А сейчас такое смещение происходит на всех уровнях, вдоль и поперек. И быть может, небольшое, неявное смещение гораздо опаснее, чем замена на полную противоположность. Когда грубое нарушение Конституции называется новым завоеванием демократии, а люди, которым это не понравилось, — поборниками диктатуры, когда крупные начальники компартии в одночасье делаются крупнейшими начальниками по борьбе с коммунистами, это еще полбеды. Человеческая психика адаптируется к подобным перевертышам довольно быстро. Мы же не видим мир вверх ногами, хотя, как известно, оптическое устройство глаза «фотографирует» именно перевернутую реальность.

А вот маленькие подвиги, во-первых, трудно уловимы и плохо поддаются вербализации, во-вторых, они как бы лишены ритмической композиции: шагок вперед и одновременно полшажка влево, немного вниз и чуть-чуть в сторону. Хаотическое броуновское движение.

Застенчивая юная поэтесса, слагающая романтические стихи о переживаниях, посетивших ее в... кабинете гинеколога. Ученый-физик, который подрабатывает не частными уроками по подготовке в вузы, а распродажей в розницу партии американского кофе. Обаятельный диктор ТВ, с мягкими, интеллигентными интонациями объявляющий: «Я хочу представить вам, дорогие телезрители, идеальную супружескую пару: Галю и... Свету». И две очень культурные женщины долго, убедительно и стилистически безупречно убеждают многомиллионную аудиторию в преимуществах саффиксовой любви. Пожилой прокурор, который, придя в гости и оказавшись за праздничным столом рядом с «представителем теневой экономики», сочувственно кивает в ответ на рассуждения о том, что «мафия спасет мир». Или прилагательное «простой». Это же была высшая похвала человеческой скромности, истинной культуре, бесхитростности. А теперь... Нет-нет, смысл не поменялся на противоположный, он стал лишь несколько ироническим. В нем звучит легкий оттенок презрения («Ты что, простой?»).

Все это и многое-многое другое — типичный «феррюкт».

Казалось бы, что плохого в художественном изображении Абсолютного Зла? Оно ведь практически всегда после множества перипетий терпит в финале крах. Но в православной культуре не принято вступать в прямой контакт с дьяволом. Уж на что Лермонтов был ярко выраженным романтиком, и то его «Демон» звучит скорее как острастка, как предупреждение. Помните, что случилось с Тамарой после поцелуя Демона?... Сатана как нечто страшное, непостижимое и безмерное здесь не притягивал, не завораживал. Такое впечатление, что культура старательно отгораживалась от него. Ни в классической, ни в фольклорной литературе его особенно не встретишь. Даже Черт Ивана Карамазова — это порожденное лихорадкой альтер эго героя, а вовсе не «объективная реальность». Титаны

же западной литературы (Данте, Гете, Мильтон, Гофман и множество других) с гениальной мощью рисовали именно образ Князя Тьмы. Это традиционное различие имеет очень глубинную религиозную подоплеку, то есть лежит в основе онтологической картины мира.

Работая с психически неуравновешенными детьми, мы сделали одно интересное наблюдение, касающееся темы данного разговора. Маленькие дети многого боятся. Дети нервные — тем более. Но фобические сюжеты с чертами мы встречали крайне редко и лишь у детей с тяжелой психической патологией. Значит ли это, что нашим детям сам черт не страшен? Нет, мы думаем, дело в другом. Образ дьявола настолько вытеснен в сферу коллективного бессознательного (термин Юнга), что всплывает на поверхность только при очень расторможенном состоянии психики. Это хорошо известно также тем, кто пережил или видел белую горячку. Говорят же: «Допился до чертей» — до дна. До самого дна души.

«Архетипические образы могут вторгнуться в сознание в самых примитивных формах и в результате привести к тяжелой патологии личности», — писал Юнг. Предупреждал он и о том, что если пренебрегать традициями, разбушевавшееся коллективное бессознательное трансформируется и в коллективные психозы, ибо «душа народа есть лишь несколько более сложная структура, чем душа индивида».

Фактически мы это уже наблюдаем. Никакой деградацией культуры и упадком морали не объяснить то иррациональное остервенение, которое охватило в последние годы заметное число людей. Ну ладно, повсеместное ограбление дач еще можно списать на падение морали да пресловутую люмпенизацию. Но отодранные полы на тех же «вскрытых» дачах уже так просто не объяснишь. А сожженные кнопки лифта на всех этажах? А взрезанный дерматин на сидениях электричек? А мужчины, которые спрашивают малую нужду, не только не зайдя в подворотню, но даже не отвернувшись от пешеходов?.. Во всем этом есть какая-то иступленность, какая-то психопатическая демонстративность. В революцию уже было нечто подобное. Греческие вазы, загаженные испражнениями, опщипанные заживо павлины в усадьбе Бунина — это из того же ряда.

Мы предвидим протест:

— Нашли козла отпущения! Опять Запад виноват в русских безобразиях! Как будто раньше не было иностранных влияний! Можно подумать, что образованные люди в России не читали Данте, Гофмана, средневековых европейских романов...

Конечно, читали, только это скорее напоминало приятную экскурсию. Так православный человек может зайти в католический храм и восхищаться скульптурой, разноцветными витражами, звуками органа. Но молиться он там не станет, хотя Бог у православных и католиков — один. Сейчас многие люди чувствуют, что творится что-то неладное, а объяснить толком не умеют. И, как правило, сводят все к вызубренным клише: «шоковая терапия», «падение уровня жизни», «криминализация всей страны» и т.д. и т.п. Разве что у пьяного на языке бывают хоть и грубые, но более точные слова. Мы услышали их однажды в метро. Алкашу кто-то крикнул вдогонку:

— Эй ты! Шапку потерял!

А он в ответ, не оборачиваясь:

— Ну и ... с ней! Мы ... жизнь потеряли, какая на ... шапка?!

Феррюкт, my friend, феррюкт!

Покою сердце просит!

..Куда мчишься ты, пицца-тройка?

Авторы благодарят за содействие движение «Народный альянс».

(Продолжение следует)

...А потом три дня и три ночи не утихало бурное веселье. Лунные человечки пели, плясали, декламировали стихи... Радость переливалась через край. А уж когда произвели залп из ста тысяч орудий — это было поистине незабываемое зрелище. Земные астрономы до сих пор ломают головы, что за странное явление произошло тогда в лунном небе?..

Кульминацией всего праздника было, конечно же, награждение национального героя. Лунная принцесса Уна ловко подкатила к ногам Земляничкина огромный круглый орден с надписью: «Победителю столбоватого дракона».

Конечно, это только для лунных человечков орден был огромен. А по земным меркам — не больше одной копейки.

— Ой, не могу, — хихикал дракончик Вя-Вя, подглядывая из кармана. — Вот умора!

Кассир Земляничкин с благодарностью принял государственную награду, а затем, тепло попрощавшись с принцессой Уной, королем Лу Десятым и всем лунным народцем, полез по желтому лучу обратно на землю.

Так как время на Земле шло гораздо медленнее, чем на Луне, то ночь еще не кончилась, и свечка все так же горела на подоконнике. Поэтому Земляничкин с дракончиком Вя-Вя в кармане за какие-нибудь пять минут преодолел расстояние от Луны до маленькой квартиры.

Не успели они влезть в форточку, как сразу же загорелся свет. Земляничкин достал из холодильника несколько бутылочек с молоком, вскипятил, и они вместе с дракончиком попили горячего молочка. А потом Земляничкин устроил своего гостя густой сметанкой.

— Так уж и быть, Петька, — сказал дракончик Вя-Вя, то и дело гаская из банки сметану большой ложкой, — погощу у тебя, пожалуй, годика три-четыре. Ну, а уж потом милости прошам ко мне, на Венеру.

— Я не против, — застенчиво улыбнулся Земляничкин.



Рисунок Георгия Мухоморова



Валерий РОНЬШИН

Лунная монахиня

Сказка

Жил-был на свете человек по фамилии Земляничкин. Он очень любил пить горячее молоко и есть густую сметану. Еще он работал кассиром. И на носу у него были очки.

А еще он был очень добрым.

Ну вот, пожалуй, и все. Можно начинать нашу историю.

Сидит как-то вечером Земляничкин у себя дома, в скромной однокомнатной квартирке и, надев на нос очки, читает толстую книжку под названием «Бухгалтерский учет». И вдруг погас свет. Стало очень темно. Хорошо еще, что у Земляничкина была свечка. Он ее сразу же зажег и поставил на подоконник. А за окном в это время висела желтая Луна. Низко-низко.

И тут видит Земляничкин, как желтый луч с Луны соединился с красным пламенем свечи, и получилась как бы ниточка. И по этой ниточке кто-то поспускается. Земляничкин открыл форточку, и неизвестный по лунному лучу спустился прямо на подоконник.

Припавшись Землянички и видит, что это женщина. Очень красивая, но печальная. И в черных одеждах.

Да, чуть не забыл: еще она была малолетняя, раза в два меньше свечки.

— Ой, мамочка, — говорит женщина, а сама вся трясется от страха. — Спасите! Спасите меня, доблестный рыцарь!.. Умолю, умолю...

И маленькая женщина руки к Земляничкину протягивает, как бы просит защиты.

— А в чем, собственно, дело? — никак не может понять Землянички.

— В чудовище!! в чудовище!!! все дело! — причитает женщина. — В страшном и ужасном чудовище, которое прилегло к планете Венера к нам на Луну и хочет уничтожить всех лунных чедовечков. Оно уже заточило в мрачное подземелье нашего доблестного и бесстрашного короля Лу Десятого. Я же чудом вырвалась из его когтистых лап и пришла к вам смиренно молить о помощи. Помогите, доблестный рыцарь... Только вы один и можете нам помочь...

— А вы кто? — повинтересовался Землянички.

— Я лунная монахиня, — ответила маленькая женщина. — Но дело вовсе не в этом... Пока мы тут с вами разговариваем, страшное чудовище пожирает бедных жителей Луны.

И лунная монахиня горько зарыдала.

— Успокойтесь, пожалуйста, — потихонечку погладили ее указательным пальцем Землянички. — Хотите горячего молока?

— Я хочу только одного, — сквозь слезы ответила лунная монахиня, — чтобы кто-нибудь поскорее разделился с этим мерзким чудовищем.

— Ну хорошо, — поклядисто сказал Землянички. — Раскажите мне, какое хоть оно из себя?

Лунная монахиня от ужаса закатила глаза.

— Оно такое... огромное! Такое... огромное!! Ну прямо как... вы! Даже еще больше.

— Тогда оно и меня может съесть, — задумчиво проинес Землянички.

— О нет, доблестный рыцарь!.. О нет!!.. — принялась горячо развешать его лунная монахиня. — У нас есть Волшебный Меч. Он большой-пребольшой. Вы возьмете этот меч и отправитесь в долину Ужасов. И там сразитесь с чудовищем. Отрубите ему все головы.

— Г о л о в ы? — переспросил Землянички. — Вы хотите сказать, что их у него несколько?!

— Ну конечно, — пожала плечами лунная монахиня, удивившись, что Землянички не знает таких очевидных вещей. — Это же чудовище, да еще с Венеры. У него, если хотите знать, сто голов!!

— Сто! — ахнула Землянички. — Ни-че-го себе!

ных чедовечков. А Землянички скажет им, что победил страшное и ужасное чудовище, отрубив ему сто голов.

На том и порешили...

Первым делом Землянички, конечно же, отправился в мрачное подземелье освобождать лунного короля Лу Десятого. Давуки пальчиками он ухватился за острый шпиль монастыря и приподнял все здание над землей, вернее над Луной. Тогда стало видно подземелье, которое, если говорить честно, было не таким уж и мрачным.

В подземелье, удобно устроившись на матке диванчике, сидел бесстрашный король Лу Десятый и листал иллюстрированный журналчик.

— Ваше величество, — позвал его сверху Землянички. — Выходите. Вы свободны.

— Что я, дурак что ли, — сразу уперся король. — Я, значит, выйду, а чудовище меня на-м-ням и слопает. Нет уж, благодарю покорно, мне и тут хорошо.

— Выходите, не бойтесь, — снова сказал Землянички. — Я победил страшное и ужасное чудовище.

— Правда, что ли? — обрадовался Лу Десятый. — И отрубили ему все сто голов?

— Ну, во-первых, у него было не сто голов, а гораздо меньше — всего одна, — сказал честный Землянички. — А во-вторых... — Но вы ее о т р у б и л и?!! — нетерпеливо перебил Лу Десятый.

— Да отрубил, отрубил, — слетка покривил душой Землянички, чтобы только успокоить осторожного короля.

— Значит, лунное королевство снова свободно! — обрадовался Лу Десятый. — И я снова повелитель всей Луны... Или вы хотите стать повелителем?..

Лицо короля вновь омрачилось.

— Нет, ваше величество, — поспешил успокоить его Землянички. — Не хочу я быть повелителем. Хватит с меня и того, что я кассир.

— Ну, раз так, — сразу повеселел Лу Десятый, — я присутую к своим королевским обязанностям и издаю указ номер раз! Приказываю всем веселиться, радоваться, устроить карнавал до утра, палить из пушек, не переставая, учредить орден «Победителю столбоватого дракона» и вручить его...

Король запнулся...

— Земляничкину, — подказал Землянички. — Пете.

— ...Земляничкину Петел! Этот орден дает вам право беспугулно проводить свой летний отпуск на море Бзмолия.

— Спасибо, ваше величество, — сказал Землянички. — Только мне почему-то всегда отпуск зимой дают.

Но король уже не слушал его, потому что по каменным ступенкам в подземелье быстро спускалась лунная монахиня, она же принцесса Уна...

—Ура-а!!!

— Ура! Ура!! — громче всех кричала принцесса Уна. — Теперь все будет в порядке! Берегись, противное чудовище! Мы тебе покажем, где раки зимуют. Мы будем размахивать нашим Волшебным Мечом и отрубим сразу все сто мерзких голов.

И принцесса в возбуждении размахивала руками, представляя должно быть, как она срубает ненавистные головы.

Вздыхнул тяжело Землянички, но делать нечего: назвался груздем, полезай в кузов. Но на всякий случай все же заинтересовался: — А почему этот меч называется волшебным?

— Потому что он большой! Потому что он большой! — напе-
ребой загадали лунные человечки.

Совсем опечалился Земляничкин от такого ответа. А принцесса Уна уже подробно объясняет, как добраться до чудовнища:

— Пойдете между этих кратеров, потом свернете направо, потом налево, затем снова направо и снова налево... Ну, если заблудитесь, там у кого-нибудь спросите... Выйдете, значит, к морю Безмолвия. Переплывете его...

— Постоите, — спохватился Земляничкин. — Я же плавать не умею.
— Там не надо плыть, — успокоила его принцесса. У нас на
Луне моря мелкие... Так вот, переплывете, вернее — перейдете,
море Безмолвия и окажетесь, — тут голос у принцессы задрожал,
— в долине У-ужасов.

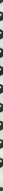
— У-у-у-жасов, — повторили вслед за ней лунные человечки и затрясались от страха.

— И там, в долине У-ужасов, — перешла на боязливый шепот принцесса Уна, — вам навстречу выйдет страшное и кровавое чудо-о-внше.

— Чудо-о-вище, — как эхо повторили лунные человечки.
— А вы ему — раз! раз! — и отрубите все сто противных то-
тов!! — boldly закончила поннесса.

— Раз! раз!! — с облегчением засмеялись человечки.

Вздохнул Земляничкин, положил Волшебный Меч на плечо и пошел себе потихонечку. Идет-идет, направо свернул, потом налево, затем снова направо и снова налево, перешел море Безмолвия, которое ему оказалось по колено, и вышел наконец в долину Ужасов.

И как-то сразу ему не по себе стало. Тишина вокруг стояла жуткая. И только иной раз лунный ветер завывает где-то в отдалении: ...

Поглядел Земляничкин на небо. Видит — Земля голубая висит над головой. И такой она ему красивой показалась, прямо глаз не оторвать.

«Эх, — думает Земляничкин, — удастся ли когда вернуться на родную планету или так и сложу голову в лунных степях».

А ветер все: УУУУУУУУУУУУУУУУ...
Чувствует Земляничкин, что вот сейчас, через минутку, Чудовни-



ще появиться. Поднял он с трудом Волшебный Меч над головой и стоит ни жив ни мертв от страха.

Ждет...

А Чудовища все нет и нет. Час прошел... второй пошел...

Нет чудовища!.. Хоть тресни!..

Устал Земляничкин держать тяжелый меч. Опустил его на лунную поверхность. И тут же услышал чей-то раздраженный писк: — Вы что, с ума спятили?! Не видите, куда свою железяку опускаете?! Вы же меня чуть на две половинки не разрубили!!

Наклонился удивленный Земляничкин и увидел... маленькое существо, похожее на ящерицу. Да-да, на обыкновенную земную ящерицу. Не долго думая, он протянул руку и схватил ее за хвост.

— Ой, мамочка!! — заверещало существо. — Ну что вы делаете?! Я же не могу висеть вверх ногами. У меня головка кружится!

— А вы... кто? — с удивлением спросил Земляничкин.

— Да чудовище я, чудовище! — ответило существо.

— С Венеры? — решил все же уточнить Земляничкин.

— Да с Венеры! С Венеры!! Ну перестаньте же наконец дер-
жать меня за хвост. Что за манеры?!..

Земляничкин все равно никак поверить не может.

— То самое чудовище, которое страшное и ужасное?

— Ну да, то самое: страшное, ужасное, кровавое, безжалостное... как там они меня еще называли?.. Слушайте, ну вы думаете меня опускать? Или так и будем продолжать беседу?..

Земляничкин осторожно опустил чудовище. Оно сразу же улеглось на лунную поверхность и закрыло глаза.

— Фу-у, — с облегчением вздохнуло чудовище. — Ой, как головка кружится. Ну, вы вообще... грубиян! Сначала чуть не разрезали на две половинки, потом за хвост цапнули... Вас бы за ноги поднять да подержать минут десять! Приятно было бы, да?...

— Наверное, нет, — признался Земляничкин.

— Наверное, нет, — передразнило его чудовище. — Вообще, откуда вы такой взялись? Где воспитывались?..

— На Земле, — признался Земляничкин и показал пальцем в небо.

— Тогда понятно, — сказала чудовище и, приподнявшись, село на хвост.

— А вот мне ничего не понятно, — пожал плечами Земляничкин.

— Да чего тут понимать?! — хмыкнуло чудовище. — Эти лунные человечки — ужасные трусишки. Как только они меня увидели, то сразу почему-то решили, что я их обязательно съем. Их доблестный король тут же спрятался от меня в подземелье под монастырем, а его дочка, принцесса Уна, нерешительно лунной монахиней. Умора просто! Я, если хотите знать, вообще ничего не ем. Я люблю пить горячее молочко.

— И я люблю пить горячее молочко, — с радостью воскликнул Земляничкин. — И еще есть густую сметану.

— А это что ж такое? — сразу заинтересовалось чудовище.

— Ну это... ну это... — стал в тупик Земляничкин, не зная, как объяснить. — Ну это то же самое, что и горячее молочко. Такое же вкусное.

— Да-а, — облизнулось чудовище. — Вот бы попробовать.

— И все-таки, — упрямо заявил Земляничкин, — вы похожи на чудовище. Только на маленькое.

— Ой, мамочка, — сказала чудовище и понорошку упало в обморок. — Ну, вы меня сегодня точно уморите!

— А что? — не понимал Земляничкин.

Чудовище встало на задние лапки и, запрокинув голову, посмотрело на Земляничкина.

— Послушайте, — спросило оно, — как вас зовут?

— Земляничкин, — сказал Земляничкин. — Вернее, меня зовут Петя.

— Вот что, Петя, — произнесло чудовище. — Меня зовут Ва-Ва. Как вы думаете, может ли страшное и ужасное чудовище носить имя Ва-Ва.

— Наверное, не может, — ответил Земляничкин.

— Да не наверное, — а просто не может! Не может! — по слогам повторило чудовище. — Я милейшее существо с Венеры. Я пил горячее молочко из океана, когда неожиданно налетел холодный космический ветер и слул меня на эту дурацкую Луну.

— Как это пил молочко из океана? — с недоумением спросил Земляничкин.

— А у нас на Венере в морях и океанах вместо воды — горячее молочко.

— Да вы что?! — не поверил своим ушам Земляничкин.

— Точно вам говорю, Венера же к Солнцу ближе, чем Земля. Вот молоко в океанах и нагревается.

— А-а, — дошло до Земляничкина. — Тогда понятно.

...Короче, они договорились, что Ва-Ва посидит некоторое время у Земляничкина в кармане, чтобы лишний раз не пугать лун-

— Собирайтесь же побыстрее в путь, — торопит его лунная монахиня. — Скоро рассвет. Смотрите, небесный свод бледнеет, и я боюсь, что лунный луч не поддержит вашего веса, и вы упадете с огромной высоты и разобьетесь насмерть!

Эти слова, как вы сами понимаете, тоже не добавили Земляничкину бодрости.

— Вообще-то завтра поведельник, — неуверенно сказал он. — И мне надо идти к себе на работу. В кассу.

— Тогда мы все погибим, — тихо прошептала лунная монахиня и своими маленькими ладошками закрыла лицо.

Этого добрый Земляничкин выдержал не мог.

— Ведите меня! — твердо сказал он. — Где эта противная гадина с Венеры? Я из нее отбивную котлету сделаю.

Они довольно быстро вскарабкались на Луну, и Земляничкин первым делом с любовью отгладил ее. Как-никак он пошел на другую планету... Но надо сказать, что Луна не произвела на него особого впечатления. Куда ни носишься — везде одни кратеры. А между кратерами примостились маленькие домики лунных человечков.

При появлении лунной монахини и Земляничкина человечки выслали из своих домиков и радость закрыли:

— Принцесса Уна вернулась!... Принцесса Уна вернулась!!

— Так вы принцесса? — спросил у своей спутницы Земляничкин. Лунная монахиня гордо вскинула голову.

— Да, — сказала она, — я лунная принцесса Уна, единственная дочь доблестного короля Лу Десятого. Я не могла сразу вам открыться, потому что это страшная государственная тайна. Если чудовище ненароком узнает, что у короля есть дочь, оно тут же захочет на мне жениться, а если я не подчинюсь его грязным домогательствам, оно развешит в пух и прах все наши жилища, а нас самих уничтожит!...

Пока принцесса Уна говорила, лунных человечков становилось все больше и больше. Они выбегали из своих домиков, возбужденно размахивая крошечными ручками.

— Смотрите, смотрите, принцесса Уна привела с Земли нашего Спасителя. Он возьмет Волшебный Меч! Он победит ненавистное чудовище! Он освободит доблестного короля Лу Десятого!!!. И опять на Луне воцарится мир и покойствие!

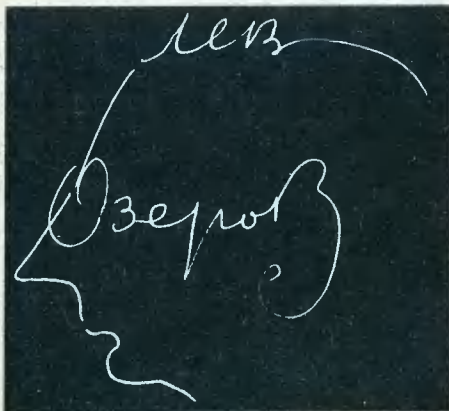
И лунные человечки во главе с принцессой Уной, не откладывая дело в долгий ящик, тут же повели Земляничкина к самому большому кратеру, на дне которого хранился Волшебный Меч.

Земляничкин полез в кратер и с большим трудом вытащил оттуда Волшебный Меч.

Меч был ржавый и очень тяжелый.

Как только лунные человечки увидели Земляничкина с Волшебным Мечом в руках, они сразу все как один воодушевились, заиграли от радости и закричали:

Лев ОЗЕРОВ



ПЛАТОНОВ

Платонов читает «Фро»
 На квартире Зелинского
 Корнелия Люциановича —
 В проезде МХАТа.
 — Хорошая хата! —
 Скажет он позже
 Без тени зависти.
 Рассказ читает он увлеченно.
 Платонов для меня имя новое.
 Не знаю ни нрава его, ни норова.
 — Это же здорово! —
 Не выдерживаю, выпаливаю,
 Когда Платонов заканчивает читать.
 Глаза проницательные,
 А на губах — доброта и ирония,
 Ирония и доброта.
 Платонов молчит, недоверчив.
 — Да, но несвоевременно... —
 Мягко, раздумчиво заключает Зелинский,
 Голова его наклонена
 К плечу, но едва заметно.
 Мягкий, уступчивый,
 Навсегда утепленный,
 Навсегда умиленный.
 Мы еще поговорили, попили чайку

С баранками,
 Чай вприкуску.
 Посидели, скользя
 По корешкам книг
 Ухоженной и на хозяина похожей
 Богатой библиотеки.
 Платонов встает,
 Я за ним.
 Не бежим, а летим,
 Не летим, а ссыпаемся
 Вниз по лестнице.
 Долго бродим по Москве,
 Много машин,
 А какие из них
 «Черные вороны»,
 Мы не знаем
 И не говорим об этом,
 Но знаем, что думаем оба
 Об этом,
 И думаем о том,
 Что оба знаем это.
 — А вы-то разбираете, что своевременно?
 Что несвоевременно? —
 Сверкнув глазами, лихо
 Спрашивает на Ордынке.
 Мне двадцать. Молодо-зелено.
 — Нет! — отвечаю я виновато.
 Мне стыдно, но я правду сказал.
 — В том-то и дело!
 Пауза. Взгляд. Пауза.
 — В этой позиции и пребывайте...
 Помолчал, ушел в себя и опять:
 — Лет через пятьдесят,
 Как знать,
 Может быть, станет ясно,
 В какую эпоху живем
 Мы с вами,
 И как называться будет...
 А пока —
 Названия будут разные,
 Самые несуразные,
 В зависимости от внуков
 Власть имущих.
 Простите — власть имущего.
 Не оглядываясь,
 Он шел быстро,
 Гордо подняв скуластое лицо
 С кремневым его подбородком.



Китайские

СТРАСТИ

Часть 1 СТЕНЫ

Нанкинская соната

Как-то так получилось, что я никогда не задумывался над вопросом, существует ли пианино. Многие люди стихийно полагают, что не существует самого вопроса — их можно назвать стихийными пианистами. Оказалось, однако, что есть люди, которые на этот вопрос отвечают: «Может быть».

Пустившись на поиски этого замечательного инструмента, я не преследовал никаких исследовательских целей. Просто взгрустнулось, захотелось сыграть «Лунную» и все такое. Иностранцы, работавшие в Нанкинском университете, на вопрос, где, по их мнению, здесь может находиться пианино, отвечали двояко. Одни говорили, что где-нибудь рядом, нужно только повнимательнее оглядеться по сторонам, а другие полагали, что такового в университете просто нет. Однако и те и другие были стихийными пианистами.

Расспросы ничего не дали, но я все еще хотел играть «Лунную», и поэтому решил вступить в контакт с местным населением. Для человека, не знающего языка, существует простой способ: кто-нибудь знающий пишет на клочке бумаги иероглифы «где находится пианино?», и затем я хожу с этим документом и вступаю в контакт с кем хочу. Именно в это время ко мне в гости пришел молодой студент, изучающий русский язык, которого без ограничения общности можно назвать именем Сяо. Я объяснил ему суть проблемы и попросил написать на бумаге ключевую фразу. Сяо задумался:

— Пиа... Пиани... Пианира... Пионера...

— Пианино, — сказал я, витиевато размахивая пальцами, — на нем играют.

В оформлении очерка использованы рисунки художника Л.П. Сычева.

— Да, я знаю... Но у нас, может быть, нет пиани... на.

— А может быть, есть?

— Нет, может быть, нет.

Я на некоторое время стал в тупик. Сяо снова задумался, а потом заговорил:

— Пиани... Может, пионера? Пионер пишется так...

И он тут же набросал пару иероглифов. Против этого я ничего возразить не мог. Но я все еще хотел играть «Лунную», и поэтому опять взялся объяснять, что хочу от него всего лишь одну фразу.

— Да, — отвечал Сяо, — я понимаю. Но в университете пианино, может быть, нет. В педагогическом институте, может быть, есть — там есть музыкальное отделение. А здесь, может быть, нет.

К счастью, в этот момент ко мне зашел китаевед Рамиз и сходу намалевал целую кучу иероглифов.

— Здесь написано: «Я хочу играть на пианино. Где можно найти пианино?». Желаю удачи, — сказал Рамиз, хитро улыбнулся и ушел.

Он был китаеведом и знал, почему улыбался. Но я этого не знал — я все еще хотел играть «Лунную», поэтому обрадованно схватил бумажку и отправился на поиски. А Сяо, кажется, обиделся — то, что произошло, в его глазах называется «потерять лицо». Теперь он, наверное, больше никогда ко мне не придет. Китайцы всячески избегают людей, которые видели их «без лица» — для них это еще более стыдно, чем для нас оказаться без одежды.

Я шел в совершенно конкретное место, которое мои друзья, стихийные пианисты, называли «Студенческий союз». Они уверяли, что если и там ничего не знают про пианино, то, значит, и нигде не знают. Студенческий союз находился в небольшом двухэтажном домике при выходе из студгородка, рядом с длинной черной доской, на которой мелом пишут объявления и перед которой всегда толпится народ.

Двухэтажный домик, к несчастью, имел два входа. Потоптавшись с минуту в нерешительности, я двинулся к тому, который казался более пыльным. Короткий коридор объединял шесть дверей, на каждой из которых висели таблички с большими красными иероглифами. Когда я убедился, что все двери закрыты, в коридор вошел молодой человек в маодзедуновке. Я дал ему имя Ляо, но он об этом никогда не узнает. Ляо говорил по-английски, и это была большая удача. Я объяснил ему свою проблему, и он задумался.

— Может быть, где-то в другом месте и есть студенческий союз, — сказал Ляо, хорошо все обдумав, — но здесь находится другая организация, и пианино здесь нет.

Как бы в подтверждение своих слов, он постучал в одну из дверей, там что-то щелкнуло, выглянула девушка, и они обменялись несколькими фразами. Было ясно, что девушка тоже ничего не знает про пианино. Я спросил, может быть, студенческий союз скрывается внутри другого входа?

— Может быть, — ответил Ляо.

Через другой вход я попал в большую комнату, где было два стола, шкаф с книгами, большой красный вымпел с золотистыми иероглифами, телефон, но не было ни одного человека.

Через широкие ворота катил сплошной поток людей на велосипедах и без велосипедов. По обе стороны ворот стояли два важных вахтера — точная копия наших вахтеров студенческих общежитий. Все были заняты своими делами, и никто не интересовался, где находится пианино. Я долго беспомощно оглядывался по сторонам, пока не увидел знакомого американца по имени Боб. Боб ничего не знал ни про пианино, ни про студенческий союз, но он быстро разыскал в толпе какую-то знакомую ему китайяночку, которая уверенно привела меня к двери, где я разговаривал с Ляо.

— А может быть, студенческий союз на втором этаже?

— Может быть, — ответила она.

В одной из комнат на втором этаже я обнаружил сразу четырех молодых людей, в том числе и Ляо. Все они

были в маодзедуновках. При моем появлении они сразу мне заулыбались. Нашелся еще один человек, который говорил по-английски, — я дал ему имя Мяо. После того, как я в очередной раз изложил свою проблему, а Мяо пересказал ее по-китайски, все четверо задумались. Потом мне предложили сесть, а сами начали громкое эмоциональное обсуждение.

Послушав из вежливости минут пять их дискуссию, я решился снова подать голос и напрямик спросил Мяо, где находится студенческий союз?

— Здесь, — ответил Мяо. — Он у нас называется коммунистический союз молодежи.

Это был первый конкретный результат. Он, правда, не очень вязался с предыдущим поведением Ляо, но в общем-то ему и не противоречил. Ободренный успехом, я решил сразу же перейти к главному:

— В университете есть пианино?

— Может быть, — ответил Мяо.

Я больше не хотел играть «Лунную». Теперь я просто хотел добиться своей цели — найти пианино.

Вспомнив про ключевую фразу на бумаге, я решился на новый эксперимент. Просьба, облеченная в письменную иероглифическую форму, вызвала новую бурю дискуссии. В конце концов они пришли к какому-то согласию, и Ляо мне сообщил, что я могу спокойно идти домой и в ближайшие дни мне сообщат решение моей проблемы. Я, однако, заупрямился и решил продолжить расспросы:

— Пианино занято? На нем кто-то играет?

— Да, — ответил Ляо, — может быть.

И тут я наконец понял, как себя вести, — это игра в «ситуацию». Нужно только задавать правильные вопросы, требующие ответов «да-нет», и я все узнаю. Может быть... Немного подумав, я задал новый вопрос:

— Трудность в том, что аудитория занята?

— Да, — сказал Мяо, — там проходит собрание.

— Там все время проходит собрание?

— Нет, — сказал Ляо.

— Значит, иногда она свободна, — не унимался я, — и иногда можно играть?

— Да, — сказал Мяо, — может быть.

— Может, завтра утром можно будет поиграть?

— Может быть, — сказал Ляо.

— Но ведь пианино, наверное, закрыто на ключ?

— Да, — сказал Ляо.

— А ключ хранится здесь?

— Да, — сказал Мяо.

— А вы можете дать мне ключ?

— Нет, — сказал Ляо, — его взяли... другие люди.

— Они вернут его сегодня?

— Может быть, — сказал Мяо.

— Пианино стоит в зале для собраний?

— Да, — сказал Мяо.

— А где находится этот зал?

— В университете, — сухо сказал Ляо.

Это была небольшая ошибка с моей стороны — я нарушил правила игры. Впрочем, большего добиться все равно уже было невозможно.

— До свидания, — сказал я, — я приду к вам завтра утром.

Найти зал для собраний мне представлялось не очень большой проблемой: Я уверенно направился к главному учебному корпусу. Я перестал быть стихийным пианистом и хотел своими глазами удостовериться, что пианино действительно существует. Что те божественные звуки, которые хранит моя память, не были галлюцинацией. Осмотр главного корпуса, однако, ничего не дал. То, что его нет ни в здании библиотеки, ни на физфаке, я уже знал.



Я стал беспорядочно бродить возле главного корпуса в надежде найти англоязычного китайца. Спустя минут пятнадцать безуспешных поисков я увидел изысканно, по-европейски одетую пожилую китайку.

— Ду ю спик инглиш? — спросил я дрожащим голосом.

— Же парль франсэ, — с достоинством ответила женщина и улыбнулась.

Я обрадованно объяснил, что я «компран» по-французски «ан пэ», но «не парль па». Она в ответ радостно заявила, что «андестенд» по-английски «эз литтл», но «донт спик». Мы остались очень довольны друг другом, но ни про зал для собраний, ни тем более про пианино она ничего не знала.

Время шло, и я решил действовать энергичней. Увидев неподалеку стайку изящных студенток-китайночек, я решительно подошел и спросил:

— Парле ву франсэ?

— Что? — испуганно спросила одна на чистом русском языке.

Я не позволил себе остоленеть и ответил как ни в чем не бывало:

— Вы говорите по-русски? Это очень приятно.

У китайночек были не такие закаленные нервы, поэтому на несколько секунд они устроили гоголевскую немую сцену. Потом они начали синхронно хлопать глазами и жаться друг к другу.

— Простите, — сказал я ласковым голосом, — вы случайно не знаете, где здесь зал для собраний?

— Где-то здесь рядом, — робко сказала та, что обронила «что». И их глаза захлопали еще быстрее.

— Может быть, вон там, — сказала другая, указывая на двухэтажный домик рядом с главным корпусом.

— Большое спасибо. Вы здесь русский язык изучаете? А я из Москвы, — улыбнулся я, — до свидания.

Их глаза перестали хлопать и начали увеличиваться. Чем это кончилось, я не знаю, потому что торопился довести начатое до конца.

За массивными дверьми было что-то вроде фойе, где за составленными вместе несколькими столами четыре человека изготавливали не то стенды, не то транспаранты. Пожилой мужчина в синей маоэдуновке тщательно лезвием вырезал из пенопласта иероглифы. Другой аккуратно-аккуратно вырисовывал кисточкой иероглифы на кумаче. Пожилая женщина что-то мазала клеем, а еще один стоял чуть в стороне и, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел на то, что делали эти трое.

Прочитав мою ключевую фразу на бумажке, все четверо замахали руками и стали что-то объяснять. То, что они хотели сказать «никак нельзя», было совершенно ясно, однако меня уже было не остановить. Я сделал движение по направлению к двери в дальнем конце фойе, и все четверо еще сильней замахали руками. Я понял, что я на правильном пути. Еще несколько последних усилий — я вошел в заповедную дверь и в сопровождении размахивающей руками толпы оказался на сцене большого актового зала. В зале сидела небольшая группа людей и о чем-то мирно беседовала, за моей спиной слышался перепуганный галдеж, а я отчаянно вертел головой.

И тут я увидел Его. В дальнем углу сцены стояло закрытое синим чехлом пианино, плотно прислоненное к стене. Одинокое, оно стояло, отвернувшись от всего мира. Но оно существовало!

Следующим утром я сидел в знакомой комнате студенческого союза и наблюдал взрывы дискуссии вокруг моей бумажки с ключевой фразой. На этот раз их было пятеро, пятого я назвал именем Тяо. Через некоторое время дискуссия вышла за пределы комнаты, потому что Тяо взялся кому-то звонить по телефону, и тот невидимый участник дискуссии так орал в трубку, что даже я его слышал. Потом все вдруг смолкло, и Мяо спросил, как часто я хочу играть. Я ответил, что не чаще, чем раз в день. И обсуждение разгорелось снова.

Потом Ляо спросил, в какое время я хочу играть. Я ответил, что мне все равно. И дискуссия продолжилась. В конце концов Тяо положил трубку, и все удовлетворенно затихло. Мяо откуда-то вынул красивый официальный бланк с большими красными иероглифами наверху и попросил меня написать на нем свое имя, фамилию и адрес. Когда это дело было сделано, Ляо сказал, что теперь я могу спокойно идти домой, и в ближайшие дни меня известят о решении моей проблемы.

И тогда я решился. Я решил задать вопрос, которым здесь можно пользоваться лишь в самых крайних случаях. Я спросил:

— Почему?

Присутствующие на несколько секунд остоленели, а потом зыбкая тишина взорвалась какофонией звуков — дискуссия продолжилась. Спорящие бросали на меня опасливые взгляды, а я глядел на них невинным взглядом ребенка. Тяо снова стал звонить по телефону. Мяо спросил, на каком я факультете, потом Ляо спросил, по сколько времени я хочу играть. Я ждал следующего вопроса, что именно я собираюсь играть, но его все-таки не последовало.

Наконец Тяо положил трубку, и мне сообщили решение проблемы: я могу приходить играть ежедневно с 2.30 по 3.30. Я напомнил, что пианино закрыто на ключ. На это мне ответили, что когда я буду приходить, оно будет открыто. И я ушел...

Однако, видимо, мыслительный процесс, который я завел своей настойчивостью в китайской машине решений проблем, продолжался некоторое время уже и без моего участия, потому что примерно через полтора часа, среди толпы студентов, двигавшейся по главной улице университета, меня совершенно непостижимым образом разыскал Мяо, вручил мне маленький ключ и исчез.

Когда в 2.30 я пришел играть, люди, которые делали стенды, встали мне навстречу и заулыбались. Пианино больше не было прислонено лицом к стене, а было отодвинуто ровно настолько, чтобы между ним и стеной можно было поместиться человеку.

Инструмент был явно старше государства, в котором находился. Судя по количеству пыли и степени диссонанса звуков, с момента начала культурной революции никто из людей с ним не общался. Однако внутри оно было обильно пересыпано нафталином.

Звуки были какие-то не те. «Лунная» не игралась. Получалась какая-то совсем другая незнакомая музыка...

Настенные зарисовки

1

Это были не сны. Так — куски из коротких прожитых жизнью. Смешиваясь, они выстраивались в аляповатую цветастую цепочку, и я разматывал и разматывал ее перед собой, пока многоголосый хор цикад баюкал ночь...

Комната четыре на четыре, цементный пол, тазик с цветочками, термос, коричневый голый стол, кровать с марлевым балдахином от комаров, скрипучий шкаф, два стула, окно с массивной железной решеткой, лампы дневного света под высоким потолком — это мое жилище.

За дверью — длинный сумрачный коридор. В коридоре — большой титан с киятком, туалет, душ. Все это — общежитие для иностранцев — четырехэтажная серая коробка, накрытая слегка изогнутой, под пагоду, черепичной крышей. «Иностранное гетто» отгорожено от остальной территории университета глухой двухметровой стеной. Ворота, впрочем, всегда открыты, но у ворот имеется будка, в которой круглосуточно дежурят три-четыре вахтера. Кроме обитателей гетто и строго определенных «друзей» из числа китайских студентов, в эти ворота никто никогда не входит — вдоль линии ворот проходит невидимая иностранному глазу белая черта. Советских обитателей гетто курирует студент по имени Сяо. Правда, не он один: каждый вечер около девяти часов комнаты

советских граждан обходит молодой человек по имени Володя и ласково желает спокойной ночи.

Все это так утомляет...

Между прочим, как-то так вышло, что и Сяо и Володя довольно быстро от меня отстали. Сяо стал меня бояться после истории с пианино — с тех пор он ни разу не переступил порог моей комнаты. А Володя стал меня опасаться, после того как я однажды, как бы между прочим, сообщил ему, что через пару дней уезжаю путешествовать на Тибет. На несколько секунд Володя остолбенел, видимо, силясь понять, то ли меня нужно срочно эвакуировать в Москву, то ли наоборот, ему нужно стать передо мной по стойке смирно. Чтобы его немного успокоить, я добавил, что поеду не один, а с двумя симпатичными американками Сюзанной и Шарлоттой. После этого Володя совсем растерялся, глупо хихикнул, потом резко стал страшно серьезным, изобразил на своем лице что-то вроде «вас понял» и так и ушел.

Слабое место всех этих гебешных контор состоит в том, что они там уверены, будто за любым поступком и действием кого бы то ни было обязательно скрывается что-нибудь хитроумное. По большому счету это, конечно, правильно, но совсем не в том смысле, как они себе это понимают.

Первые дни сентября, осень... Температура 35°C и стопроцентная влажность. Днем и ночью, утром и вечером. Я лежу в своей комнате на кровати на мокрой простыне и обливаюсь потом. Днем и ночью... Днем, правда, я иногда пытаюсь бродить по улицам или заниматься теоретической физикой, но от этого потливость только увеличивается.

Умеренно натопленная русская баня. Огромная баня — с магазинами, парками и памятниками древности. И пива здесь — хоть залейся. У этой бани есть только один недостаток — из нее никуда нельзя выйти, даже на минутку.

Это утомляет...

Омерзительней ощущения бывают только, если тебя всего вымажут медом, а потом оденут в одежду.

Зато зимой здесь все по-другому. Зимой здесь около нуля — не холодно. Беда только в том, что эта температура держится не только на улице, но и в магазинах, и в университете, и в общежитии — везде.

От этого тоже устаешь...

Нанкин пал жертвой китайского государственного закона, гласящего, что южнее реки Янцзы — тепло. А там, где тепло, не разрешается ставить отопительные системы. Все разумно — зачем же попусту растраниживать энергию? И в результате получается такая вот китайская диалектика: на северном берегу Янцзы, где холодно, в домах относительно тепло, а на южном берегу, где расположен Нанкин и где тепло, там в домах холодно.

Впрочем, закон законом, но местные жители все-таки греются своими силами. У всех дома стоят небольшие печки типа «буржук» с жестяными трубами, выходящими в форточки. Те, кто победнее, топят эти печки прессованной угольной пылью (она продается в магазинах), а те, кто побогаче, или кто вхож в «заднее крыльцо» — настоящим углем.

Как-то посреди января я побывал в гостях у заслуженного профессора Нанкинского университета по имени Сюй Лин-Дао. Это очень уважаемый человек, и живет он не где-нибудь, а в настоящей двухкомнатной квартире с водопроводом. После всего, что я видел в Нанкине, я был искренне восхищен его жилищем. Впрочем, у нас бы это, наверное, назвали задрипанной хрущевкой, хотя в отличие от настоящей хрущевки, здесь были каменные полы и одинарные стекла на окнах. Так вот, в самом центре гостиной комнаты, как гордость всей квартиры, у него красовалась блестящая новенькая «буржуйка» с изысканной жестяной трубой, живописно протанованной через всю комнату к форточке. В этой комнате можно было находиться без

пальто. Я сказал, что я впечатлен безмерно и что я просто отказываюсь мечтать о подобном жилье.

Правда, для иностранцев китайский закон делает послабление, и в комнатах нашего «гетто» отопительные батареи были. Я так и не узнал, где находится котельная, и кто ею командует, но я совершенно точно знаю, что этот человек — злобный ксенофоб. Батареи включались четыре раза в сутки и каждый раз только на один час. В этот час грели они совершенно немилосердно, и в комнате сразу же устанавливалась атмосфера нанкинской «бани», а когда батареи выключались, сюда сразу же возвращалась зима. Хуже всего эту закалку мое тело переносило ночью около четырех часов утра.

А еще кто-то продолжает говорить про таинственную Россию. Да мы сама простота и наивность...

За стеной «иностранного гетто» располагается обширный студенческий городок. Такие же серые массивные коробки под изогнутыми черепичными крышами, такие же коридоры и квадратные комнаты с цементными полами. Разница состоит только в том, что я в своей комнате живу один, а они в таких же комнатах — по восемь (девочки живут по десять — потому что они меньше).

В солнечную погоду коробки общежитий утрачивают свой серый цвет: из всех окон вывешиваются флаги простыней, рубашек и штанов. Стой же неизбежностью, как в дождливую погоду на улицах раскрываются зонтики, в солнечную погоду все устраивают постирушки.

Студенческий городок тоже обнесен глухой высокой стеной. За этой стеной начинается собственно город Нанкин, тоже, впрочем, весь перегороженный стенами...

2

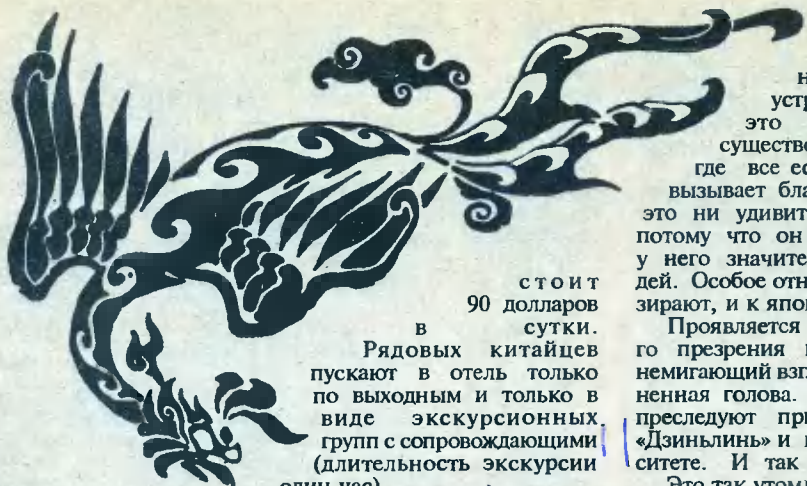
Нанкин — небольшой город. Здесь живет не больше трех миллионов человек, и пешком его можно пересечь за час. Как это принято в Китае везде, его жители образуют своеобразную сверхплотную укладку. Людей здесь может быть либо сразу очень много, либо вообще никого — мало их не бывает. Автобусы, поезда, магазины, кинотеатры — все забито битком. И не потому, что всего этого мало — просто народонаселение образует что-то вроде бесконечного резервуара, и если число автобусов, скажем, удвоить, все равно ничего не изменится.

Нанкин — древняя южная столица страны. Город окаймляют остатки колоссальной оборонительной стены высотой метров двадцать и шириной метров пятнадцать. Так же как и Великая китайская стена, это сооружение оказалось абсолютно бесполезным с военной точки зрения, и разрушали этот город не шесть сколько раз. Последний раз это сделали японцы, которые поставили здесь один из своих печальных рекордов — одним махом угробили около ста тысяч жителей. За южными воротами Нанкина на месте их захоронения теперь стоит памятник.

На северо-восток от Нанкина, среди лесистых холмов, называемых «Золотыми горами», находится древняя священная аллея каменных зверей, которую в бытность Нанкина столицей должен был пройти пешком из конца в конец каждый вступивший в должность император. Звери стоят по обеим сторонам аллеи торжественными парами, некоторые — преклонив колени. И почти все мягко улыбаются.

К северу от Нанкина протекает великая мутная река Янцзы, шириной с Днепр возле Киева. С землями к северу от Янцзы Нанкин соединен могучим железобетонным мостом, которым китайцы очень гордятся, потому что это был первый крупный проект, который они закончили без помощи СССР.

Сам Нанкин состоит из трех-четырех красивых центральных улиц, двух обширных зеленых парков и океана трущоб. Кроме того, в центре города стоит недавно построенный суперфешенебельный отель «Дзиньлин» в 36 этажей, внутри которого температура и влажность не зависят от времени года, и где самый дешевый номер



стоит
90 долларов
в
сутки.

Рядовых китайцев пускают в отель только по выходным и только в виде экскурсионных групп с сопровождающими (длительность экскурсии один час).

Есть в Нанкине большой стадион. Как-то в октябре на этом стадионе была проведена публичная казнь с трансляцией по местному телевидению. Приговоренных к высшей мере провезли на открытом грузовике через весь город по битком забитой людьми центральной улице, затем выстроили посреди футбольного поля и на глазах у переполненного стадиона расстреляли. Иностранцев от этого зрелища всячески оберегали. Во-первых, на время телевизионной трансляции в нашем общежитии было выключено электричество, во-вторых, на стадион иностранцев не пускали, и в третьих, на все наши расспросы китайцы отвечали только традиционное «может быть» и изредка «этого не может быть». На следующий день о казни вообще никто ничего не помнил. Лишь один раз я услышал более обширную версию этого события: да — провезли через весь город, да — выстроили на стадионе, но не расстреляли, а лишь зачитали приговор в назидание зрителям, а потом увезли и расстреляли совсем в другом месте. Похоже, это тот случай, когда можно сказать, что истины вообще не существует...

Тем, кто придет в Нанкин ознакомиться с великими реформами и выдающимися достижениями, я бы настоятельно рекомендовал ограничиться центральными улицами, парками и отелем «Дзиньлинь». Иначе можно увидеть тот Нанкин, где, собственно, и живут все три миллиона его жителей. Я, конечно, скажу банальность, но нищета — ужасна, особенно в таких масштабах.

...Узенькая вонючая улочка, по обе стороны которой лепятся нестройные лагуны с дверями прямо на улицу. Если дверь открыта, то можно видеть сумрачную внутренность однокомнатного сарая, три на пять, с земляным полом, в котором живут все три поколения — это одновременно и кухня без водопровода, и спальня, и сарай. Поэтому, если позволяет погода, то люди предпочитают жить на улице. Мужчины сидят на низких табуретах, неторопливо беседуют, женщины чистят рыбу, переругиваются, стирают в тазиках, воду выливают прямо тут же, под ноги...

При моем появлении все вокруг оставляют свои занятия, бросают разговоры и начинают молча смотреть. Даже дети перестают возиться в пыли и замирают. Все провожают меня немигающими взглядами. И хочется скорее пройти вперед, но в том-то все и дело, что и дальше — такие же немигающие глаза, такие же сараилачуны, мусор, вонь, и глаза, глаза, глаза... И нет этому океану ни конца ни края.

Специалисты могут приводить сколько угодно цифр и графиков о ходе реформ и преобразований — все они, наверное, правильные. Но я прожил в этом городе целую вечность, и я знаю, что за последние две тысячи лет жизнь здесь не особенно изменилась. Правда, на излете культурной революции жители тыся-

чами умирали с голоду, а теперь — нет. Это, конечно, немало.

Любой иностранец — это событие. И не только потому, что у него по-другому устроена физиономия. Любой иностранец — это заведомо сказочно богатый человек, существо из какого-то фантастического мира, где все есть и всем все можно. Иностранец вызывает благоговейный страх, и одновременно, как это ни удивительно, глубокое презрение — просто потому что он не китаец, не вполне человек, и нос у него значительно больше, чем у всех нормальных людей. Особое отношение только к неграм — их просто презирают, и к японцам — их боятся и ненавидят.

Проявляется это удивительное чувство благоговейного презрения в том, как на вас *смотрят*: неотрывный немигающий взгляд, слегка приоткрытый рот и чуть склоненная голова. Десятки таких взглядов со всех сторон преследуют пришельца всегда и везде, кроме отеля «Дзиньлинь» и нашего иностранного острова в университете. И так день за днем, месяц за месяцем...

Это так утомляет...

Без ложной скромности могу сказать: я теперь знаю, что значит быть в шкуре Аллы Борисовны. Только за автографами не лезли — побаивались.

Было только два случая, когда ко мне активно приставали на улице. Один раз молодой человек (страшно стеснялся) на тяжелом английском языке объяснял мне, что страстно мечтает поехать учиться в Америку, и не найдет ли у меня в кармане тысячи долларов ему на дорогу. Другой раз некий мужчина, затравленно оглядываясь на толпу (толпа присутствует всегда и везде!), с помощью разговорника взялся мне втолковывать, что мечта всей его жизни — жить в Советском Союзе, что он уже пытался бежать через границу, где он был остановлен огнем своих соотечественников, что после этого он отсидел срок в лагере (за свои убеждения, между прочим), и теперь ему, наконец, привалило такое счастье, потому что он встретил меня, и я, конечно же, возьму его с собой жить в Советский Союз, где, как он полагает, его будут встречать с цветами и оркестром.

Что-то во всем этом есть до боли знакомое...

...Просторный парк Мокоуху. Это одно из редких мест города, где иногда можно разыскать уголки, в которых *никого нет*. Рекомендую. Можете взять с собой газету и поразмышлять о жизни — здесь это получается намного лучше, чем среди тучи. И виды вокруг просто очаровательные.

Древние беседки с загнутыми вверх крышами, плакучие ивы над озером, бамбуковая роща, на краю которой мирно разлеглись три веселых каменных медвежонка-пан-ды. Посреди небольшого, заросшего кувшинками, пруда стоит белокаменная стройная женщина по имени Мокоу. Статуя Мокоу — это символ Нанкина. Эта женщина чем-то напоминает Венеру Милосскую, но только в одежде и, главное, с руками. Когда-то давно она была кем-то вроде гетеры при императорском дворе, участвовала в многочисленных интригах и, тем самым, стала очень знаменитой.

Кстати, кувшинки вокруг Мокоу присутствуют только по чьему-то недосмотру — ни на одной рекламной открытке их нет и следа. Хотя с кувшинками мне нравится больше: они хоть и лишают древнюю красавицу торжественности, но зато делают ее более живой.

А вот и люди, много людей... Жизнерадостная толпа, с криками и визгом, группами по десять-двадцать человек фотографируется на фоне двух каменных белых лебедей, замерших в танце любви. Двое — юноша и девушка — идут то в обнимку, то взявшись за руки, и целуются через каждые десять метров, и плещать им на все на свете. А там — две маленькие китаяночки в розовых платяцах присели рядышком на зеленую травку и молчат о чем-то, известном только им одним, изо всех сил стараясь не смотреть на бессовестную пару.

Трудно им — здесь это очень больной вопрос. Когда кафедра русского языка Нанкинского университета однажды устроила нам встречу со своими студентами, то самый первый вопрос, который задали мне, первому увиденному ими живому русскому, две милые застенчивые китаяночки, был: «Скажите, а у вас, в Советском Союзе, студентам... разрешают... жениться?» А вот им не разрешают. А иногда, видимо, хочется.

Но жизнь все равно продолжается, и каким-то образом она все равно производит свое, невзирая ни на какие запреты, — миллиард человек капустным полям не отпишешь.

Жизнь продолжается, и даже здесь, в тихом парке слышен ритм ее музыки. Даже здесь, среди ив и бамбука, из-за глухой стены, окружающей парк, явственно слышна густая мелодия велосипедной трели. Жизнь города — это улицы, а улицы — это сплошное месиво педалей, спиц и велосипедных звончков. Их серебряная трель слышна везде. С нее начинается день, и затихает она только с заходом солнца, плавно переходя в вечернюю песню цикад.

Эта серебряная музыка убаюкивает даже днем. И если оглянуться вокруг, то сразу увидишь, что на скамейках или просто прямо на траве спят в свободных позах уставшие. Без этих спящих где попало на улицах и в парках, особенно после полудня, Китай — не Китай. Это такая же неотъемлемая часть жизни, как флаги простыней в солнечную погоду, как пагоды, как Великая стена.

Есть у Нанкина нечто, присущее только ему — оно навсегда отпечатывается в памяти несмываемой ностальгической печатью. У этого города есть особый нанкинский запах. Происхождение его неизвестно. Летом он сильнее, зимой он слабее, но он присутствует всегда и везде, им пропитаны все дома и улицы. Я прожил в этом городе целую жизнь, и теперь, когда я опять, в который раз, вижу во сне Нанкин, меня прежде всего окутывает этим удивительным запахом, а уже потом я слышу густую велосипедную трель и назойливую вечернюю песню цикад за окном...

Хэн хао

«Хэн хао» по-китайски означает «очень хорошо»;

«Хао» — хорошо;

«Бу хэн хао» — не очень хорошо;

«Бу хао» — нехорошо;

«Хэн бу хао» — очень нехорошо.

В обычной жизни пользоваться можно только выражением «хэн хао», а все возможные нюансы от «очень хорошо» до «совсем нехорошо» достигаются различной силой улыбки. Если сказать просто «хао», то это в действительности будет означать «нехорошо», и сгладить такой эффект можно, только очень сильно улыбаясь. «Бу хэн хао» можно употреблять только если дело совсем дрянь. «Бу хао» лучше вообще не употреблять — так говорят вконец проворовавшемуся партийному функционеру перед тем как расстрелять. «Хэн бу хао» употреблять вообще нельзя — это все равно, что плюнуть в лицо.

Такая вот лингвистика. Здесь нет ничего смешного — в действительности все это очень серьезно.

Нанкинский университет купил дорогостоящее криогенное оборудование для экспериментов со сверхтекучим гелием. Оборудование было куплено в Канаде, и для его отладки из Канады был выписан дорогостоящий специалист. Пока канадский эксперт добирался до Нанкина, местные умельцы смонтировали часть оборудования сами и потом, когда высокооплачиваемый гость наконец прибыл, его стали водить по лаборатории и с гордостью демонстрировать достигнутые успехи. Канадский эксперт был первый раз в Китае, и его никто не предупредил, что нужно говорить только «хэн хао». Он стал говорить то, что думал, наивно полагая, что именно для этого его сюда и выписали. Проходя по лаборатории, он сказал: «Та-а-а-а... это — хорошо... здесь нужно будет

кое-что переделать... а это — никуда не годится — здесь нужно все разобрать...». Уважаемый гость даже не понял, что он натворил. А произошло самое ужасное: сразу несколько очень уважаемых руководителей лаборатории публично потеряли лицо. Китаец иногда предпочитает смерть подобному позору. В результате все две недели, что высокооплачиваемый гость пребывал в Нанкинском университете, его местные коллеги прятались от него как от прокаженного, а в лаборатории его просто больше ни разу не пустили. Все эти две недели он утрюмо пил пиво в нашей университетской столовой, иногда подсаживался ко мне и требовал, чтобы я ему объяснил, как такое может быть: за его приезд заплачены огромные деньги, а он вынужден пить пиво, вместо того чтобы делать свое дело. Он говорил, что его это угнетает. Я ему отвечал, что его нанкинским коллегам еще хуже: они лишились и денег, и специалиста, и, самое ужасное, своего лица. А всего-то нужно было сказать «хэн хао»...

Однако, если осторожно, то таким лингвистическим оружием можно пользоваться с большим успехом.

Вечером 31-го декабря ко мне в комнату пришел профессор Сюй и сообщил потрясающую новость: завтра, 1-го января, в восемь часов утра ко мне сюда придет декан физического факультета профессор Гав поздравить с Новым годом. Личный приход и поздравления фигуры такого масштаба по местным меркам было честью необыкновенной.

Сейчас я попробую объяснить, почему я не столь уж сильно обрадовался такой чести. Начать с того, что в момент прихода профессора Сюя я обучал двух американских студенток, Андрею и Джули, жарить русские блины. Посреди комнаты стояла электрическая плитка, я переворачивал блины на сковородке, подбрасывая их в воздух, а сидевшие напротив Андрея и Джули восторженно охали и хлопали в ладоши. Мы готовились к праздничному новогоднему ужину. Что касается самой новогодней ночи, то она обещала быть долгой и бурной. Я видел, сколько бутылок далеко не минеральной воды заготовил мой канадский приятель Алан, и я доподлинно знал, сколько китайских фейерверков, ракет и фугасов у меня сложено под кроватью. И хотя мы с Аланом давно заметили, что чем больше пьешь, тем сильнее хочется что-нибудь взорвать, а чем быстрее взрываешь, тем сильнее потом хочется выпить, тем не менее, нынешних запасов «горючих материалов» явно хватало до самого утра. В этой ситуации приход в восемь утра даже самого Дэна Сюпина меня мог бы только огорчить.

Я прекрасно понимал, как долго согласовывалось и утрясалось сие посещение профессора Гава с райкомом, а может, даже и горкомом партии, как все это сложно, и тем не менее...

Профессору Сюю я сказал, что готов сойти с ума от счастья, что я не смогу спать всю ночь, ожидая этого события, но тем не менее, назначать визит уважаемого профессора Гава на восемь утра было бы «бу хэн хао». Я предложил назначить столь ответственный визит на два часа дня. Чтобы смягчить удар, я заулыбался до боли в ушах.

Потрясенный профессор Сюй ушел. Он вернулся через час с

н о в ы м предложением — десять часов утра. К этому времени мы с Аланом уже начали предновогодние дегустации, а Андрея научились переворачивать блин



в воздухе, хотя пока он у нее падал мимо сковородки на пол. Теперь я немного смягчился и сказал, что десять утра — это уже «хао», но улыбаться не стал, и профессор Суй ушел вести дальнейшие согласования.

И только, когда он пришел третий раз, мы достигли полного «хэн хао» — визит был назначен на двенадцать часов. Вести дальнейшие переговоры не было уже никакой возможности: наши с Аланом дегаустации плавно перешли в непрерывный процесс употребления, отчаявшаяся Андрея стала подбрасывать блин вместе со сковородкой, а ракетная стрельба из моего окна вот-вот грозила выйти из-под контроля...

Утром чувство ответственности проснулось во мне только вместе со стуком в дверь ровно в двенадцать часов. Затем была лихорадочная суета, связанная с классическим непопаданием в нужную штанину, тщетные попытки разглядеть помятую и слегка вспухшую физиономию, и бессмысленные потуги хоть как-то ретушировать следы ночного разгрома в моей комнате. Тем не менее, все прошло чинно и благопристойно. Профессор Гав пришел с целой делегацией из пяти человек. Как и положено по ритуалу, от двух моих предложений выпить чаю они отказались и согласились только на третье. Как и положено по ритуалу, первые пять минут меня спрашивали, как мне нравится китайская пища и местная погода. Я отвечал «хэн хао» и улыбался так, что сводило челюсти. Потом профессор Гав сказал, что он поздравляет меня с Новым годом, и вся делегация чинно удалилась. Как и положено по ритуалу, к чаю никто из гостей почти не приотронулся.

Должен признать, что столь изящно решать китайские проблемы мне удавалось не всегда.

Однажды мне посчастливилось купить кассету с моим любимым «Паломничеством Чайльд-Гарольда» Берлиоза. Однако, когда я поставил ее в кассетник, обнаружилось, что хотя это вне всякого сомнения был Берлиоз, звуки были явно не те. Не нужно было быть большим экспертом, чтобы понять: лента вставлена наоборот, и поэтому музыка проигрывается в обратном направлении. Поразительная вещь: оказывается, если прокручивать Берлиоза наоборот, он все равно остается узнаваем. Раздосадованный таким издевательством, я пошел обратно в магазин.

Моего словарного запаса не хватало, чтобы объяснить, в чем дело. Я просто вернул им кассету и зло сказал, что она «бу хао». Поскольку речь шла о возврате денег, то эти девочки за прилавком хотя и побледнели от моего «бу хао», но не капитулировали и решили сопротивляться. Кассету вставили в магнитофон, и оттуда полилось это издевательство над Берлиозом. Девочки радостно залопотали, что все совершенно «хэн хао» и чего мне еще нужно. И тогда я сделал немыслимое. Я сказал: «Хэн бу хао!». В магазине воцарилась мертвая тишина. Девочки за прилавком замерли и стали бледными как полотно. Одна из них, не отрывая от меня взгляда, как кролик от удава, полезла в кассу и протянула мне деньги. И я ушел, оставив в магазине полное оцепенение.

Однажды я как-то зашел поужинать в небольшую харчевню на далекой окраине Нанкина. По-видимому, я был чуть ли не самым первым иностранцем, посетившим это заведение, и это само по себе требовало от меня крайней аккуратности. Однако, случилось так, что у меня тогда было паршивое настроение и к тому же я был очень голоден. Явно недостаточно радостно улыбаясь, я попросил цыпленка. Хозяин побледнел, и пробормотал, что у него нет цыплят. Тогда я совсем уж угрюмо попросил принести то, что у него есть. Я не произнес никакого «бу хэн хао» — я просто недостаточно радостно встретил известие, что в этой харчевне в данный момент нет цыплят, и уже одно это привело к трагическим последствиям.

Хозяин попытался и исчез. Мне пришлось подождать довольно долго, а потом опять появился хозяин и торжественно поставил передо мной блюдо с дымящимся све-

жезажаренным цыпленком. Наспех ошипанный, он лежал, свесив набок голову, и его приоткрытый глаз смотрел на меня взглядом, полным укора. Я понял, что произошло. Спасая свою репутацию, спасая свое лицо, хозяин поймал на улице первого попавшегося цыпленка...

Товарищ Сухов ничего не преувеличил: Восток — дело очень тонкое...

На долгих поездках

1

Город Голмуд находится в ста километрах на север от Тибетских гор — это огромное по размеру и ничтожное по содержанию поселение, совершенно плоское, как заасфальтированное море. Вместо почвы здесь желто-коричневая пыль, из-за которой местное население ходит в марлевых повязках, и ни одного дерева — только глухие стены, трубы, столбы и провода — до самого горизонта. И еще то там то сям торчат стандартные коробки трехэтажек. В чисто азиатском стиле все постройки разнесены на фантастические расстояния — чтобы пересечь одну лишь привокзальную площадь, мне потребовалось минут десять. До недавнего времени самым гнусным городом на свете я считал город Ногинск, но теперь у меня появились сомнения.

Три дня и две ночи я ехал в кабине грузовика через снежный шторм, накрывший Тибет. Все это время я почти не ел и почти не спал, всецело поглощенный спасением своих конечностей от обморожения. Все это время я жил только одним вопросом — сумеет мой водитель удержать грузовик на обледенелой дороге или мы разделим судьбу многих тех, кто остался в глубоком снегу кювета. И вот теперь, совершенно одуревший, я стоял посреди Голмуда и пытался понять, куда бы мне деться. Впервые я остался один на один с огромной Народной республикой, и чтобы преодолеть оставшиеся пару тысяч километров до родного города Нанкина, мне предстояло с Ней несколько дней активно общаться.

Дебют получился вполне сносным: я сходу сумел купить билет до города Синина, а затем даже частично расшифровал большой ватманский лист с иероглифами на стене зала ожидания и выудил оттуда время отправления своего поезда. Пока я с огромным напряжением плясился на расписание поездов, вокруг меня, как обычно, собралась толпа и тоже стала пляться, то на меня, то на ватманский лист видимо ожидая от меня какого-то важного сообщения о расписании поездов.

Чтобы не нарушать нормальный ритм жизни голмудского вокзала, я вышел на привокзальную площадь. У подножья широкой лестницы, торжественно поднимавшейся с необъятной площади к зданию вокзала, с лотков торговали кипятком, булками и какими-то сладостями. Между лотками туда-сюда сновали люди, однако, в их беспорядочном движении была очевидная тенденция скапливаться вокруг меня. Я посмотрел на часы и увидел, что до поезда осталось пять часов. Все вокруг тоже посмотрели на мои часы, а потом уставились мне в рот, ожидая важного сообщения. Мне захотелось стать прозрачным, но я им этого не сказал.

Вокруг был Голмуд, только Голмуд и ничего кроме Голмуда. А далеко-далеко на юге в солнечной дымке крутой ностальгической волной вставали горы Тибета. Где-то там осталась Лхаса, которую я люблю и которую больше никогда не увижу.

Я пошел куда-то вбок, и толпа вокруг меня растаяла. Между прочим, одно из эмпирических правил против создания вокруг себя толпы гласит, что нужно все время перемещаться. Однако я был слишком измучен длинной дорогой из Лхасы, и к тому же, при мне был тяжелый рюкзак. Поэтому, выйдя на пустое место, я по-китайски просто сел на землю. Ничего не оставалось, как сидеть и записывать свои ощущения. Я вынул путевой блокнот и записал свое главное ощущение, что я нахожусь в Голмуде. Когда я дописал фразу, что до поезда осталось четыре часа сорок пять минут, метрах в трех от меня уже стояли четыре человека и

внимательно меня рассматривали. Когда я дописал свое ощущение, что на меня смотрит четыре пары глаз, передо мной уже было семь человек. Тогда я стал обдумывать фразу, которая бы обобщала ситуацию и глубокомысленно сунул ручку себе в рот. На зрителей, которых было уже человек десять, это произвело некоторое впечатление, и они стали обмениваться мнениями. Фраза не давалась, но зрители терпеливо ждали. Так прошло минут пять, после чего я выдернул ручку изо рта и написал, что мне хотелось бы провалиться к чертовой матери. К этому времени пересчитать зрителей было уже трудно.

Трое стали осторожно подбираться ко мне сбоку и сзади. Они с интересом пощупали рюкзак, потом один из-за спины надолго устоялся в мой блокнот, а двое стали перебирать вещи, лежавшие возле сумки. Зрители придвинулись ближе, и создалась атмосфера для непринужденной беседы. Тот, который уважительно вертел в руках мою записную книжку, спросил, откуда я. Я ответил, что я «тень бу дон», т.е. не понимаю, хотя понимать тут, конечно, нечего — первый вопрос, который всегда и везде задают вам в этой стране, это «откуда?».

Из записной книжки вывалилось мое китайское удостоверение личности, и из него зрителям был немедленно прочтен ответ: «сульен», т.е. советский. Слово вспорхнуло и полетело — сульен, сульен, сульен... Люди благоговейно и с некоторой опаской отодвинулись на исходную позицию в трех метрах от меня. Дальше записываться было бессмысленно. Я показал на юг и сказал: «Лхаса» — зрители уважительно закивали: «ляса, ляса, ляса...». Затем я показал на восток и сказал: «Нанджин Дасюэ», т.е. Нанкинский университет, — и тут же полетело эхо: «а-а-а, Нанджин Дасюэ...».

Дальше на основе этих трех битов информации — сульен, Лхаса и Нанджин Дасюэ — происходила какая-то коллективная беседа, но уже без моего участия. Как-то люди уходили, унося эти три бита для своих семей, детей и внуков, приходили новые люди, кто-то показывал на меня пальцем, кто-то приводил своих детей и сажал себе на плечи — чтобы ребенок мог лучше видеть, кто-то снова щупал мой рюкзак и листал мою карту Китая, кто-то глазел из-за спины в мой блокнот... Однако, ко мне больше не приставали. И я привык к своим ненавязчивым зрителям и перестал обращать на них внимание. Как медведь в зоопарке.

2

Сидя на привокзальной площади Голмуда, я думал о том, что путешествовать по Китаю нужно на поездах. На вокзалах можно почувствовать, чем и как дышит государство, а в вагонах — чем и как дышат его обитатели. И не нужно ходить по улицам, заглядывать в витрины, изучать газеты и расспрашивать специалистов. Путешественники, думал я, идите на вокзал, садитесь в поезд и поезжайте. Проехав вдоль восточного побережья, вы почувствуете дыхание Китая сегодняшнего дня, а поехав в глубь страны на запад, вы узнаете, как он живет на самом деле. Только поезжайте сами. Если вас будут любезно возить, это превратится в клуб кинопутешественников.

Если вас будут любезно возить, то вы приедете на вокзал на японской «тойоте» с кондиционерами и стереомузыкой внутри. И вас подвезут прямо к отдельному проходу с не очень для вас заметной табличкой «для VIP и иностранных гостей». Впрочем, если вы наблюдательный, то вы, может быть, издали и заметите давку на автобусной остановке перед вокзалом и, может, даже сокрушенно покачаете головой. Однако вас тут же пригласят внутрь, и вы окажетесь в небольшом, но просторном зале с мягкими креслами, пальмами в горшках и симпатичными любезными китайчиками за святистыми прилавками сувенирных киосков. И вам здесь будут очень рады, так же как и остальным шести-семи пассажирам, почтитающим в креслах красивые англоязычные проспекты.

Потом вас проводят прямо в вагон, и вы окажетесь в уютном купе с очень любезными и симпатичными соседями — скорее всего, тоже иностранцами. Если же вы очень дотошный путешественник, то, прохаживаясь на остановках по платформе, вы, пожалуй, заметите бегом и давку у остальных вагонов поезда, отделенных от вашего вагоном-рестораном. Это вы про себя обязательно отметите. И потом, лежа на мягкой полке и подливая в стакан с жасминовым чаем кипяток из термоса под столиком, вы будете любоваться красивыми пейзажами за окном и размышлять о том, что в этой стране еще так много нерешенных проблем.

Если честно, то именно в такой обстановке мне и хотелось поразмышлять о китайских проблемах, когда я сидел на привокзальной площади г. Голмуда. Реальность, однако, была проста и сурова: в поезде «Голмуд-Синин» ни купейных, ни даже плацкартных вагонов не было, и мне предстояло ехать 24 часа в вагоне типа нашей электрички.

До поезда оставалось еще некоторое время, и я, греясь на солнышке и запасая на сутки вперед кислород в организме, продолжал размышлять. Да, о вокзалах. Голмудский вокзал был самым демократичный из всех, что я видел. Здесь не было особого прохода для иностранцев, и, соответственно, не было ни пальм в горшках, ни симпатичных китайчочек. И вообще, мне здесь никто не был рад, так же, впрочем, как и всем остальным пассажирам. Голмуд открыли для иностранцев всего год назад, и здесь даже не успели для них устроить отдельной кассы, поэтому я совершенно честно толкался в очереди вместе с народом. Вообще, в определенном смысле, я себя чувствовал здесь в родной среде: все эти до боли в голове знакомые деревянные скамейки в зале ожидания, грязь на каменном полу, вечно закрытый буфет, какие-то надписи на кумаче с восклицательными знаками...

Мои размышления прервало появление у здания вокзала юноши в пурпурной тоге. Я с радостью заулыбался этому молодому тибетскому ламе — отблеску моей любимой Лхасы. Он меня тоже сразу заметил, подошел и сел рядом. Мы обрадовались друг другу, как старые друзья, которые давным-давно не виделись. В действительности мы не виделись с ним никогда — а это очень долго.

Мы сидели посреди голмудской привокзальной площади, окруженные толпой зевак, и неторопливо беседовали. Старым друзьям вовсе не обязательно говорить на одном языке и исповедовать одну религию, чтобы беседовать.

Юношу звали Чинехуаджан, и он был буддистом.

— Как ты жил все это время? — спросил я его.

Оказалось, что в нынешнем перерождении он прожил уже 23 года. На этот раз он решил существенно продвинуться к слиянию с Вечностью и поэтому стал монахом.

— Ну, а ты как? — спросил он меня.

Я сказал, что исповедую боконизм и живу в этом мире первый, а главное, последний раз, и поэтому другого шанса слиться с Вечностью у меня не будет.

— Чем занимаешься? — спросил я его.

Он сказал, что изучает историю, и по его глазам я понял, что он, как и мы, боконисты, считает, что Бог еще ни разу в жизни не написал хорошей пьесы. Теперь мой друг возвращался в свой монастырь Таег Ламасегу после командировки в Лхасу.

Потом, к заметному огорчению зрителей, которые как завороченные слушали все это время нашу беседу, мы перешли на ступеньки перед вокзалом и стали пить чай. Мы пили чай и молча смотрели на голубую прозрачную стену Тибета, который вставал сразу за коричневой пустыней Голмуда.

— Пока, старик, — сказал я Тибету, и мы с Чинехуаджаном пошли к вокзалу садиться в поезд. Я тогда еще не знал, что скоро научусь путешествовать во времени, и поэтому прощался с Тибетом навсегда.

Посадка на китайские поезда диалектична. Она основана на противоречиях и происходит в развитии. Противоречие понятное: все хотят сразу внутрь, а всего на всех, как известно, не хватает. Развитие этого противоречия происходит следующим образом. Все пассажиры выстраиваются в длинную очередь, которая одним концом упирается в ворота типа проходной, через которую пропускают на перрон, а другим уходит куда-то далеко за вокзал. После того, как объявлена посадка, проходная открывается, и очередь начинает двигаться вперед. Она, разумеется, движется несколько быстрее пропускной способности проходной, поэтому там возникает давка.

Но самое интересное начинается потом. Миновав проходную, пассажир начинает быстро-быстро бежать и, лишь набрав скорость, насколько это позволяют туки и чемованы, начинает искать правильное направление. Со стороны перрона проходная напоминает форсунку, из которой тугим веером разлетается поток людей. Затем у дверей вагонов создаются плотные бурлящие скопления, и вот там-то и начинается собственно посадка.

Создается впечатление, будто люди уверены, что их перестреляют, если в течение секунд они не окажутся в вагонах. Между тем, с криками и дракой они забираются внутрь, те, у кого билеты с местами, в конце концов, садятся на свои места и замирают, остальные зажимают стоя, а до отправления поезда остается еще минут двадцать.

Турбулентные потоки посадки разлучили меня с Чинехуаджаном. Мне ужасно не хотелось втискиваться в свой вагон, и поэтому я, к совершенному ужасу проводницы, стоял на платформе до последней

минуты. Потом я протиснулся-таки к своему месту, чем вызвал страшное огорчение у человека, который на нем сидел, и радостное возбуждение у всех окружающих — у них появился объект, на который можно смотреть до самого Синина.

Сразу же после отправления поезда появился сопровождающий поезд полицейский и совершил обычный ритуал проверки документов. Окружающие замерли. Полицейский развернул передо мной свой англо-китайский разговорник, и я увидел подчеркнутую ручкой фразу, которая приветствовала меня на борту этого поезда и утверждала, что все этому необыкновенно рады. Я знаками и мимикой дал понять, что чрезвычайно тронут и что я здесь и так все это почувствовал. Затем он показал мне другую фразу, изнемогавшую от извинительных и сослагательных наклонений и предлагавшую мне показать документы. Полицейский взял мое удостоверение личности и среди воцарившейся мертвой тишины вполголоса прочитал: «Сульен... Нанджин Даскуз...» — и по вагону сразу же полетело длинное эхо: «сульен, сульен, сульен...». Затем полицейский сказал несколько веских фраз окружающим и ушел. Что он там сказал, я не знаю, но на лицах у пассажиров сразу же появилось чувство ответственности.

В общем, мой суточный переезд из Голмуда в Синин не был особенно захватывающим — обычная езда на обычном китайском поезде в окружении обычных людей. Больше всего это похоже на битком набитую субботнюю электричку «Москва-Петушки», где кроме людей еще полно мешков и сумок, где все пассажиры непрерывно курят какую-то дрянь, громко спорят и изредка дерутся, где все лузгают семечки и плюют на пол, где его могут найти. Некоторая специфика состоит в том, что сортиром, находящимся в конце вагона, приходится пользоваться, только если это действительно крайне необходимо: проход через вагон — это целая экспедиция, требующая огромных усилий. Кроме того, эта возможность есть только днем — ночью там, как правило, спят два-три человека — как-никак свободная площадь.

Как-то до обидного быстро я потерял нить реальности, все слилось в одну нудную необходимость существовать, причем обязательно сидя и почти неподвижно. Время, окружающий мир и я сам потеряли взаимосвязь, и лишь отдельные явления достигали моего сознания, не теряя очертаний реальности.

...Была щелка в окне, которую я все время нюхал. Она вносила какие-то удивительные запахи в окружающую меня атмосферу.

...Мои соседи настойчиво предлагали мне семечек. И я тоже лузгал, и тоже плевал на пол, и благодаря этому ощущал какое-то единение с окружающими.

...На остановке все покупали апельсины. И я купил. Только все при этом кричали и махали руками, а я купил безразлично.

...На какой-то остановке мои соседи купили через окно большую копченую рыбину и опять настойчиво предлагали присоединиться. Я попробовал — мне понравилось, и я себе тоже купил. И мы вместе ели эту желтую рыбу, отслаивая мясо жирными грязными руками.

...Была какая-то особенно яростная драка в другом конце вагона. Все вокруг побросали свои дела и потянулись смотреть. Вообще китайские бытовые драки меня всегда поражали своей крайней яростью. Каждый раз создается впечатление, что дерущиеся на несколько минут сходят с ума и готовы убить друг друга. Хотя, возможно, как раз из-за потери рассудка все ограничивается бестолковым кулачным боем без применения более действенных вспомогательных средств.

На этот раз к драке подоспел мой знакомый полицейский, который, с ходу решив, кто прав, а кто виноват, стал вершить свой суд. Не знаю, что уж он там орал, пока тащил через весь вагон провинившегося, но на его лице и в интонациях голоса было такое вдохновение, а в глазах — такой огонь, что именно такие моменты, несомненно, являют вершины всей его жизни.

...Утром после тяжелой ночи подрались мои соседи. Насколько я понял, кто-то кому-то наступил на ногу. Эти уж совсем бестолково перемалывали воздух кулаками, не сумев даже задеть друг друга. Правда, все это происходило прямо перед моей физиономией, и поэтому, учитывая значительный элемент импровизации в их действиях, я предпочел поглубже вжаться в угол и отгородить лицо поставленными крест-накрест руками. Потом они устали и перешли на ругань, которая не затихала еще очень долго. А я опять уткнулся в окно. За окном было красиво.

...Была какая-то небольшая остановка недалеко от Синина. В раскрытое окно снаружи вцепились две руки, потом появилась взлохмаченная морда, потом в окно молча влезло все остальное, прошлось ногами по столику и оказалось в вагоне. В этом, пожалуй, не было бы ничего особенного, если бы этот юноша не пролез, расталкивая пассажиров, к противоположному окну и не вышел наружу. Это мелкое происшествие так и осталось в числе многих других нерешенных загадок, которые поставила передо мной эта удивительная страна...

4

Железнодорожный вокзал в Синине — это одна из тех гигантских окаменелостей, которые оставила в разных местах планеты коммунистическая архитектура. До наших московских шпильевых дворцов ему, конечно, далеко, но как носитель монументальности и величия замыслов, он их вполне достоин. Здание — сама грандиозность. Тяжелые массивные стены уходят куда-то в недоступную высь, где над всем вокзальным миром нависает всеобъемлющий потолок. Бесстрастные лампы дневного света и многократно отражающиеся звуки создают в вокзальном подпотолочье сумеречный фиолетовый интим.

А на вокзальной земле, между тем, идет обычная жизнь: длинные очереди в кассы, валяющиеся на деревянных скамейках и прямо на полу люди с бесстрастными фиолетовыми лицами, мешки, сумки, чемоданы... Во всем этом присутствует некая особая торжественность — торжественность единения земной жизни с высшей предначертанностью. И как символ такого единения почти всю боковую стену зала ожидания занимает грандиозное художественное полотно, на котором изображена большая группа улыбающихся людей — представителей разных рас и народов, заливаемых ярким солнцем и голубиной небес и уверенным шагом идущих вперед, т.е. сюда, в вокзал. А в центре впереди всех, заметно выделяясь, идет председатель Мао, и плащ его распахнут на ветру.

Синин — это крупный железнодорожный узел, и здесь на вокзале было много касс, и у каждой кассы — длинная очередь. Здесь даже существовала касса для иностранцев, однако, в этот вечер она была наглухо закрыта — меня не ждали. Расспросы людей, как я и ожидал, ничего не прояснили — каждый раз я получал в ответ лишь длинный немигающий взгляд с полукрытым ртом. Каждая моя попытка узнать в какой кассе продают билеты в направлении Шанхая, наталкивалась на встречный немой риторический вопрос: «Как, оно еще и говорящее?!» Поэтому, полагаясь просто на интуицию и жизненный опыт, я стал в ту кассу, где был самый длинный хвост. Спустя некоторое время я убедился, что на этот раз интуиция меня не подвела, потому что среди великого множества разнообразных иероглифов, нарисованных от руки над моей кассой, я углядел те два, которые обозначают Шанхай.

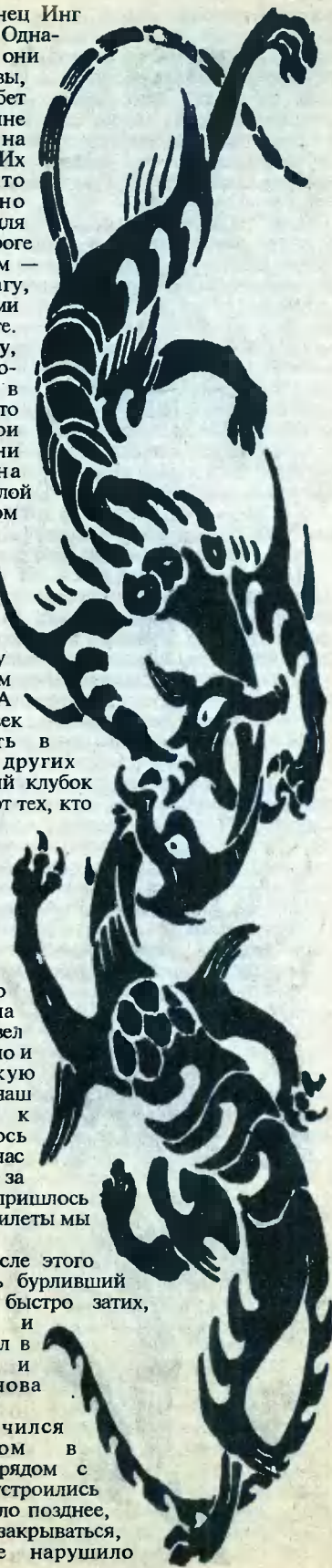
Потом в вокзальный мир вошли еще два иностранца. Это тоже были мои старые друзья, с которыми я не виделся до этого целую вечность. Радость встречи была столь велика, что мы даже обнялись. Таково уж свойство путешествий по Китаю — после длительного плавания по этому человеческому океану все одинокие путники здесь — лучшие друзья, и не важно, что в этой жизни они раньше не встречались.

Немец Берт и японец Инг тоже ехали из Лхасы. Однако, в отличие от меня, они были не столь удачливы, потому что через Тибет они поехали не в кабине грузовика, как я, а на рейсовом автобусе. Их опыт показал, что автобус значительно менее приспособлен для езды по горной дороге сквозь снежный шторм — я видел этого бедолагу, лежащего вверх колесами в заснеженном кювете. Проезжая мимо, я ему, разумеется, посочувствовал, но мне тогда и в голову не пришло, что там могут быть мои друзья. В Голмуд они доехали верхом на грузовике. После целой ночи езды на ледяном ветру они окончательно пришли в себя только здесь, в Синине.

Посовещавшись, мы решили не распылять силы и брать эту кассу втроем методом флангового охвата. А именно, один человек продолжает стоять в очереди, а двое других внедряются в бурлящий клубок у окошечка и отгоняют тех, кто лез без очереди. Нас боялись — это единственная причина, по которой подобная тактика имела некоторый успех. Инг стал справа, как каменное изваяние, и его боялись особенно сильно. А здоровила Берт слева, наоборот, вел себя очень эмоционально и применял физическую силу. Однако когда наш треугольник стянулся к кассе и приблизилось время ее закрытия, нас окончательно приняли за своих и под конец пришлось хорошо попотеть. Но билеты мы взяли.

А кассы вскоре после этого позакрывались, и весь бурливший и метавшийся народ быстро затих, безропотно уселся и улегся тут же на пол в ожидании утра, и фиолетовые лица снова стали бесстрастными.

Вечер закончился роскошным ужином в маленькой харчевне рядом с гостиницей, где мы устроились на ночлег. Время было позднее, харчевня собиралась закрываться, но наше появление нарушило



обычное течение жизни. Наш неуемный аппетит вызвал здесь сильный ажиотаж. В конце концов каждый из нас получил по огромному блюду мяса и по здоровенной миске китайских «спагетти». Весь штат харчевни, застав в глупине, смотрел на нас с благоговением. А мы, как и полагаются старым друзьям, которые давно не виделись, сидели и обсуждали накопившиеся мировые проблемы, не переставая удивляться, откуда они вообще взялись, если все мы, люди мира, — старые друзья и во всем между собой согласны.

А на следующий день, махнув на прощанье друг другу рукой и сказав «пока», мы разъехались каждый своей дорогой. Теперь мы увидимся не скоро — мы не увидимся больше никогда, а это очень долго.

5

Из Синина до Нанкина поезд идет 42 часа. В этом замечательном путешествии через всю страну участвуют пассажиры не только 15-ти обычных сидячих вагонов. В поезде «Синин-Шанхай» есть еще один вагон, укрытый от остальных вагоном-рестораном. В этом вагоне имеется шесть плацкартных секций и три купе. Пассажиры сидячих вагонов всю дорогу живут своей обыденной жизнью, особо удачливые хозяева плацкартных мест наслаждаются комфортом, а вот в купе, видимо, принято размышлять о проблемах китайской жизни — во всяком случае, там созданы для этого все условия.

Там, в купе, утопая в белизне и мягкости своей полки, вдыхая чистый кондиционированный воздух, я задумчиво смотрел вдаль, и пейзажи за окном будили в моей душе мысли о величии первозданной красоты Природы и равенстве всех людей перед Творцом. Я подливал себе в чашку с жасминовым чаем кипяток из термоса под столиком, и душа моя наполнялась теплым состраданием к сотням остальных пассажиров других вагонов. Да, думал я, как много еще проблем в этой стране... И снова задумчиво смотрел вдаль.

Со мной в купе ехал лишь один сосед. На нем была зеленая военная форма с яркими желтыми аппликациями на погонах и рукавах. Судя по количеству желтой краски и степени чувства ответственности на лице, он тянул на нашего полковника. Мне показалось, что за многие годы службы он уже давно передумал все свои мысли, в том числе и о сложных проблемах своей страны, и теперь отдыхал от этого занятия. Другие два купе были пусты — думаю, потому, что такое путешествие в купе стоит примерно полторы месячные зарплаты среднего китайца. Так или иначе, но, по-видимому, я был единственным в этом поезде, кто был полон трудными раздумьями, это возлагало на меня большую ответственность, и я старался не приходить к неправильным выводам.

Мои размышления иногда прерывал сосед. Несмотря на языковой барьер и мои неоднократные заверения, что я «тєн бу дон», его страшно тянуло со мной общаться. Он естественно спрашивал, откуда я, заводил разговоры про чай и погоду, а потом долго и настойчиво уговаривал меня перебраться с верхней полки, куда я забрался, чтобы его не видеть, на нижнюю полку рядом с ним. В конце концов я не выдержал и на его очередные домогательства, все-таки, американец я или англичанин, я объяснил ему, с кем он едет. Известие, что я русский, он выдержал с мужеством солдата, однако оно, видимо, вызвало в нем много каких-то мыслей, и он ушел в себя до конца поездки.

Оставалась еще одна проблема, связанная с тем, что во всех китайских поездах встроены динамики, которые с раннего утра до позднего вечера изливают звуки. Эти динамики — сущее бедствие. В отличие от оруэлловских телевизоров, у которых не было выключателя, но был регулятор громкости, у этих динамиков выключатель, как правило, есть, но зато нет регулятора громкости. И орут они совершенно безобразно — просто на пределе болевых ощущений. А наличие выключателя несколько не спасает, так как в переполненном вагоне обязательно найдется какой-нибудь идиот, который будет его все

время включать. В купейном вагоне несколько легче: там в каждом купе — свой динамик и свой выключатель. Но так уж получилось, что моим соседом оказался именно тот человек, который его все время включает.

Решение созрело. Ввиду неурегулированности отношений двух великих народов оно было несколько рискованным, однако всякий, послушавший те звуки, согласился бы, что риск был оправдан.

Когда мой сосед куда-то на минуту вышел, я решительным движением вынул из ножен приготовленный заранее тибетский кинжал, быстро отвернул два шурупа, вынул динамик, перерезал тянувшийся за ним провод, поставил динамик на место и завернул шурупы. Вся операция заняла не больше минуты. А потом наступила идиллия...

Я больше не хотел думать о китайских проблемах. Надо же — я, выросший и воспитанный среди заборов, оград и ворот с непременными вахтерами, устал от стен. По-видимому, стены — это штука более серьезная, чем заборы.

Убаюкивающие стучали колеса. Хотелось назад — туда, где нет стен и живут люди, постигшие сущность бытия или еще не успевшие ее забыть... Это были не сны. Так — куски из прожитых коротких жизней. Смешиваясь, они выстраивались в аляповатую цветастую цепочку, и я разматывал и разматывал ее перед собой, пока вагон увозил меня все дальше на восток. Что же было последним в этой цепочке? Ах да, юноша в пурпурной тоге.

Форсунка голмудского вокзала разбросала нас в разные стороны, но судьба устроила так, что мы встретились еще один раз. Видимо, ей это зачем-то было очень нужно. Может быть, чтобы поставить последнюю точку.

Я столкнулся с Чинехуаджаном прямо посреди Синина на людной улице. Я возвращался в свою гостиницу после паломничества в тибетский монастырский городок Taer Lamasery, и мне было грустно. А он направлялся обратно в Taer Lamasery, чтобы продолжить свой путь к слиянию с Вечностью, и ему тоже было грустно.

Наша наивная попытка остановиться и снова побеседовать с помощью моего разговорника тут же спровоцировала образование огромной толпы, которая загрозила весь тротуар, вылезла на проезжую часть и начала мешать уличному движению. Сцена была совершенно безобразная. В отличие от Нанкина и даже Голмуда, где толпа держится на расстоянии, здесь люди стояли вплотную, трогали нас руками, лезли взять посмотреть вещи (так что иногда просто приходилось давать по рукам), в упор рассматривали лица. Останавливаться было нельзя, и мы приловчились беседовать на ходу, двигаясь вместе с потоком людей.

На прощание я сказал Чинехуаджану довольно сложную фразу. Я ткнул себя в грудь, сказал «Москэ» (Москва), показал на свои глаза, потом на альбом Taer Lamasery, потом на свой лоб и потом на него. И он меня понял.

Чинехуаджан долго-долго листал разговорник, и, наконец, насобирав слова с разных страниц, он сказал: «Сегодня я теряю своего друга».

Часть 2

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛХАСУ

Берегом озера Цинхай

Пройдет много лет, но, даже находясь в разных пространствах и временах, эти трое путешественников снова и снова будут вспоминать, как однажды в октябре поезд медленно шел берегом озера Цинхай. Опять и опять они будут видеть желтый степной берег, спокойных барашков, обледающих пучки сухой осенней травы, домики пастухов, синюю-синюю рябь до самого горизонта и над всем этим — прозрачные голубые очертания гор невидимого противоположного берега.

Они снова будут ехать по широкому ущелью, вдоль торопливой речки, сквозь невысокие мягкие горы, рифленые бесчисленными крестьянскими террасами и поэтому похожие на рукотворные пирамиды, сквозь искристый фейерверк горной золотой осени и провожать взглядами яркие цветастые березы, тополя и акации. И опять, в который раз, они будут прощаться с осенними горами и выезжать на ровное плоскогорье, покрытое сухой травой вперемежку с песками до самого горизонта, провожать в прошлое небольшие озера, заброшенные стоянки пастухов и низкие облака.

А потом постепенно уйдет в прошлое желтая степь, покрытая пятнистым узором теней от белых комочков облаков, и, неумолимо сливаясь с горизонтом, растет узкая синяя полоска озера. И степь станет отступать, унося с собой юрты пастухов, остатки древних полуразрушенных стен и редкие кирпичные домики с ровными черепичными крышами. Под натиском наступающих скалистых снежных гор все это, окрашенное желтым цветом разлуки, будет уходить в прошлое и в будущие сны.

И будет клониться к закату осеннее солнце, удлиняя резкие тени. А поезд, стремительно набирая высоту, станет лавировать по ущелью, направляясь прямо к верховьям виднеющегося впереди хребта. Круто закладывая виражи, стараясь не упустить ниточку путеводной речки, он будет подбираться вплотную к скальной стене хребта, чтобы там, на самом верху, исчезнуть в черной дыре тоннеля. А потом, вынырнув на другой стороне, он станет терять высоту и, натужно гудя тормозами, уверенно пойдет на посадку в далекую, еще не видимую долину...

Где-то там далеко впереди начинается Тибет и длинная-длинная дорога в Лхасу — место паломничества и встреч людей мира. Все они, кто был в Лхасе, становятся старыми друзьями и потом будут часто встречаться. Пройдет много лет, но, даже находясь в разных пространствах и временах, все они, так же, как и эти трое, снова и снова будут встречать друг друга в узких улочках Лхасы и на долгой дороге паломничества. И опять, в который раз, поезд будет медленно идти низким желтым берегом озера Цинхай...

Транстибетская магистраль

Здесь ничего никому не нужно было объяснять — все и так прекрасно знали, чего мы хотим. Стоило сойти с поезда в Голмуде, как к нам тут же подбежал какой-то человек, залопотал: «Ляса, Ляса, Ляса...», затолкал нас в небольшой фургон, снял по одному юаню и отвез на стоянку грузовиков. Там, на стоянке, на запертой двери конторки мы увидели написанное по-английски объявление: «С сегодняшнего дня стоимость проезда до Лхасы 58 юаней». Люди, бродившие по стоянке, не проявляли к нам никакого интереса, неподалеку вразвалочку прошел человек в фуфайке, небрежно держа автомат Калашникова... Это были уже совсем другие люди — не китайцы. Мы были в другой стране.

Потом из ворот один за другим выехали пять загруженных машин ISUZU. К нам подошел один из водителей и сообщил, что в их колонне имеется 2 + 1 место, что такса 45 юаней (это, видимо, потому, что двери конторки закрыты), что если это нас устраивает, то мы можем ехать немедленно, а если нет, то они уезжают.

Нужно прожить в Нанкине хотя бы месяц, чтобы оценить подобный лаконизм общения, — с этого момента я бесповоротно влюбился в тибетцев.

Три дня дороги по горному Тибету, средняя высота — 3700 метров, самая высокая точка пути — перевал Тангла, 4200 м.

Без единого дерева, покрытые желтеющей травой, необъятные ровные плато, далекие цепи снежных гор и близкое-близкое глубокое синее небо. Редкие убогие селения, стада яков и спокойные, гордые, но удивительно приветливые и улыбчивые люди. И Китайская ар-

мия — бесконечные военные колонны, войска, военные базы, военная техника, оружие наизготовку и страх в колочих глазах — все это называется военная оккупация.

Первый тибетский закат был как торжественное пришествие. На западе через два широких разрыва в облаках струился густой оранжевый свет. Машина тряслась посреди необъятного плато, похожего на Первоблюдие Земли. Небо вместе с облаками сразу за цепью окаймляющих гор упиралось в Праокеан, и невидимое за облаками солнце собиралось нырнуть туда же. Однако где-то сразу за горами, между облаками и Праокеаном, по-видимому, образовался небольшой зазор, и оттуда в Божий мир вдруг хлынул фантастический цветовой концерт. Над горами, как пожар, вспыхнуло ярко-красное пятно. За несколько секунд пожар разросся и охватил полимира, окрасив в темно-красные тона небосвод и вырисовав неровный внутренний облачный рельеф.

Потом медленно-медленно пожар стал затихать, облака снова потемнели, красный огонь над горами стал гаснуть, тускнеть... Но вдруг произошла неожиданная быстрая смена красок — наверное, Солнце в этот момент нырнуло в Праокеан, — и через разрыв в облаках брызнул ярко-зеленый свет. Это мистическое действо побуждало пасть ниц.

Наверное, Праокеан очень глубокий, потому что зеленый свет угасал долго-долго...

А потом была ночь. Сюзи, Шери и я сидели в закопченной харчевне и ждали, какое решение примут водители. Тибетцы сидели за круглым столом и совещались по важному вопросу: заночевать в этом поселке или ехать дальше. Они неторопливо отхлебывали чай и молчали. Изредка кто-нибудь бросал короткую фразу, и снова наступала тишина. Они думали.

Кроме водителей, в харчевне были и другие люди, и теперь нас откровенно рассматривали с живым человеческим любопытством. Нам улыбались не только лицевыми мышцами, но и глазами, в которых горели добрые веселые искры. С этими молчаливыми людьми было легко и хорошо. Впервые за долгое время я расслабился — я был среди своих. Секрет всего этого оказался чрезвычайно прост: в этих людях было чувство собственного достоинства, и, соответственно, с таким же чувством они относились и к пришельцам, независимо от цвета их кожи и длины носа. Впервые за долгое время во мне снова видели человека, а не говорящую обезьяну. Оказывается, это очень важно.

В соседней, еще более закопченной комнате готовилось мясо. Оно жарилось на огромной черной сковородке с помощью приспособления, напоминавшего газовый сварочный аппарат. Этот прибор, которым, как я потом убедился, пользуются на Тибете везде, изрыгает тугую струю синеватого пламени длиной метра полтора и рев, достойный небольшого реактивного двигателя. Он как-то сбоку вставляется в печку, и потом на этом аде-ком пламени готовится все что угодно.

Для нас троих принесли большое блюдо, точнее, небольшой тазик, полный ломтиков мяса, оказавшегося практически сырым. Положение усугублялось еще и тем, что этот тазик предназначался, в действительности, только нам с Шери — Сюзи отравилась еще днем на каком-то промежуточном перекусе. Теперь она хотела только чаю без сахара. Конечно, со здоровой точки зрения это мясо есть было нельзя, особенно если взглянуть на жирные узоры отпечатков многочисленных пальцев на посуде этой харчевни. Однако тут началась тонкая игра правил вежливости на проявленное гостеприимство, которая разыгрывалась на фоне безудержного чувства голода, и так уж в конце концов вышло, что это мясо мы с Шери съели.

Водители тоже хорошо поужинали, и после этого вопрос — ехать или спать, решили как-то сам собой. Нас отвели куда-то в черноту ночи, в какой-то темный барак, где среди разнообразного пыльного хлама было полно пахучих матрасов и в углу о чем-то своем мирно



шуршали крысы. Все это убавкивало, и я быстро уснул.

Кстати, сказать, тибетцы спят потрясающе здоровым сном. Дежурного этой ночлежки мы с нашим водителем трясли минут пятнадцать, кричали ему в ухо, а он смотрел на нас широко раскрытыми глазами и продолжал спать. И только увидев перед носом 7 юаней, он на несколько секунд резко проснулся, вынул из-за пазухи

ключи, сунул туда деньги и свалился как убитый. Так могут спать только люди с чистой совестью.

Мясо проявило себя спустя пару часов. Шери стало плохо, причем плохо до такой степени, что в другой обстановке я бы не постеснялся разбудить соседей с телефоном, чтобы вызвать «скорую». Сюзи лежала в тяжелом забытье. Где находятся тибетцы, было совершенно неизвестно, и объяснить я бы им все равно ничего не смог, а главное, здесь не было воды. На Тибете воду берут из рек, но перед употреблением даже тибетцы ее обязательно кипятят — несмотря на высокогорность, в этой воде, говорят, полно всякой микроскопической живности. Тем временем у Шери началось что-то вроде судорог. Я заставил ее выпить поллитровую флягу холодной воды — весь имевшийся у нас запас — и вывел на улицу.

На безлунном тибетском небе был грандиозный звездный фейерверк. Все, что хоть немного могло светиться, здесь присутствовало. Млечная дорога действительно была млечной, все созвездия высыпали из своих глубин самую мелкую пыль, все это мерцало, переливалось и будило мысли о Вечности.

Шери, держась за живот, мученически запрокинула вверх голову. На мгновение изумленно застыв, она успела воскликнуть: «О, как это прекрасно!», и ее тут же скрутила жестокая рвота...

Дальше оставалось уповать лишь на Божью милость, и она в ту ночь действительно явилась, потому что к утру Шери стало лучше. Я все ждал, когда же это мясо проявится во мне, но ничего, кроме обильных калорий, из него не поступало.

Меня скрутило на следующую ночь, когда мы пересекли самый высокий участок маршрута — перевал Танг-Ла. Это была обычная горняшка. Не помню уж, почему мне показалось так удобнее, но я съехал низко-низко по сидению, упер ноги в лобовое стекло, а руками придерживал голову, чтобы она не треснула. Через лобовое стекло было видно лишь звездное небо и прямо впереди — созвездие Орион. Поэтому казалось, что я лечу в звездолете, но страшно раздражало, что его так трясет в то время, когда мне так тошно и раскалывается голова...

В Лхасу мы влетели на сумасшедшей скорости поздно вечером в темноте. Завершающий участок был настоящей горной дорогой, которая, прижимаясь к крутым склонам узкого ущелья, с трудом поспевала за бурной речкой. Накануне водители задержались в небольшом селении на каком-то местном праздновании и вышли оттуда изрядно взбодренными. В результате нам было продемонстрировано искусство лихой езды по ночной горной дороге. Я, как и всякий русский, люблю быструю езду, и я был доволен. Особенно когда мы, наконец, остановились на центральной улице Лхасы.

В вечернем воздухе пахло умиротворением. Вдоль сумеречной широкой улицы непрерывной стеной стояли двух-трехэтажные дома с плоскими крышами и многочисленными англоязычными вывесками. Каждый встречный здоровался с нами кивком головы и улыбкой. Мы шли и мечтали о горячем душе и белых простынях.

Гостиница «Банак Шол» оказалась не до конца запол-

ненной иностранцами, и нас, даже не взглянув в документы, поселили в один номер. В комнате было десять кроватей и не было белых простыней. Простыней вообще не было — были матрасы и одеяла, которыми уже успели воспользоваться несколько поколений. Душа в гостинице тоже не оказалось. Там не было даже умывальника и вообще водопровода и холодной воды. Воду можно было получать лишь в виде кипятка из титана в коридоре.

Однако, когда мы зажгли три свечи, наступили мир и покой...

Лхаса

1

Я был в городе, где каждый житель был рад меня приветствовать взмахом руки и улыбкой. Лхаса — это храм. Лхаса — это город людей, еще не забывших сущности бытия, и они с радостью делятся с пришельцами своими улыбками, как кусочками известной им тайны. Прошла уже целая вечность, но я по-прежнему бережно ношу в себе эти таинственные осколки, и они греют меня до сих пор.

...Строгий-строгий старик, закутанный в похотую на лохмотья дубленку. Смуглое, почти пепельное сосредоточенное лицо, изрезанное глубокими морщинами. Он шел по улице и неторопливо помахивал своей «колотушкой» — индивидуальным молитвенным цилиндром. Это небольшая палка, на конце которой посажен вращающийся медный цилиндр с написанной молитвой. К цилиндру приделана веревочка с грузиком. При помахивании цилиндр все время вертится. Один оборот — одна молитва.

Вдруг старик остановил свой внимательный взгляд на мне. Несколько секунд мы с любопытством смотрели друг другу в глаза, потом не выдержали и оба рассмеялись как дети...

...Лоток завален десятками сувениров: кольца, кинжалы, конская сбруя, кошельки, бусы, серьги, медальоны, подсвечники, колокольчики, пиалы, чайники, буддийские статуэтки, значки Далай-ламы... Но кроме всего этого здесь стоял огромный особый вида горн с медным узорчатым покрытием. Он манил и притягивал. Шери не удержалась, взяла горн, напряглась и стала в него дуть. Из этого, однако, ничего не получилось — воздух в горн не проходил и выходил у нее из ушей. Тогда инструмент взял стоявший рядом молодой монах.

Минуты две он сосредотачивался. Его лицо стало отрешенным, как у Будды, а глаза стали смотреть куда-то сквозь этот мир в глубину столетий. И он заиграл. Это были неторопливые низкие и необыкновенно глубокие звуки, от которых люди вокруг оставляли все свои дела и тоже начинали смотреть в глубину столетий. В этих звуках были бесстрастная грусть и всепонимание, простор и свобода...

Несколько минут монах возвращался в этот мир. Потом он поставил инструмент, улыбнулся и ушел.

Перед входом в центральный храм Жокханг — молящиеся паломники. Воздев к небу сложенные ладони, молящиеся быстро ложатся ниц, замирают, встают, снова поднимают руки к небу и так много-много раз. У некоторых на руках — специальные защитные кожаные подшечки, кое-кто совершает молитву на ковриках, но большинство — просто на отполированных многими поколениями камнях.

Храм. Легкий полумрак, позвякивание буддийского колокольчика, тепло и запах светильников, бесконечные тибетские росписи на стенах, десятки Будд в маленьких каморках вокруг центрального зала, огромные позолоченные многорукие статуи в центре — добрые, злые, смеющиеся, бесстрастные... Бормочущие скороговоркой плавную мелодию молитвы люди, непрерывным потоком идущие гуськом вдоль стен центрального зала, обходящие его по часовой стрелке. Стриженные под короткий ершик монахи в темно-пурпурных тогах со строгими

сосредоточенными лицами — они заняты серьезным делом — они на пути к Вечности.

Но наши глаза встречаются, и в ответ — искренняя детская улыбка и взмах-приветствие рукой.

Вечером, примерно после пяти, базар на узких улочках Лхасы сворачивается, и народ во всей центральной части города начинает упорядоченно двигаться в одном направлении — вокруг центрального храма Жокханг. Когда солнце готовится спрятаться за горами, Лхаса заполняется тенями, запахами буддийских кадилок, бормотанием молитв и сплошным потоком людей, идущих узкими улочками вокруг невидимого за домами Храма, обходя его по часовой стрелке. На земле, скрестив ноги, сидят темно-пурпурные монахи, бормоча свою мелодию молитвы и покачиваясь в такт, а мимо идет и идет поток людей. Улицы заполняются легким запахом лампад. Темнеет. Завтра будет новый день...

2

Завтра будет новый день, и опять, в который раз, первые лучи солнца осветят гордо возвышающийся над Лхасой Дворец.

Дворец Потала стоит на высокой крутой скале. Его могучие стены, продолжающие профиль взмывающей вверх стометровой скалы, делают его похожим на крепость. С него началась записанная часть долгой-долгой истории Тибета. Построенный в VII веке и перестроенный в XVI, Дворец всегда служил резиденцией Далай-лам, пока последний из них не бежал в Индию после неудачного восстания Тибета в конце 50-х годов. Тогда Китайской армии пришлось брать дворец Потала штурмом. Я ей этого не прошу.

Вот уже больше сорока лет Тибет пытается выжить под китайской оккупацией, вот уже десять лет, как Тибет пытается восстановиться после катастрофы культурной революции. Тогда Тибет наводнили бесчисленные бригады «энтузиастов», прибывавшие из Китая, и в финале этой великой драмы осталось лишь семь неповрежденных храмов из десяти тысяч по всему Тибету. Не все храмы были разрушены — часть лишь разграблена и изгажена — на все просто не хватило сил — как-никак тысячелетняя история. Но работа была проведена большая.

Прошло совсем немного времени после кровавого подавления Тибетского восстания, когда председатель Мао предложил сделать зерно «ключевым звеном». Оказалось, однако, что на высоте трех с половиной тысяч метров рис расти никак не может, и в первый же год в срочно созданных на месте храмовых хозяйств «концентрационных колхозах» начался жестокий голод...

Есть многое на свете, друг Горацио... Господи, но до чего же все это одинаково! Просто до гадливости.

Я ни разу не видел в глазах тибетцев ненависти. Людей в зеленой форме они стараются, по возможности, просто не замечать. Оккупантов как бы не существует в природе. Хотя...

Один раз мне удалось обнаружить в Лхасе бумажный плакат с фотографиями членов (китайского) политбюро. Да-да, та самая бумажка, которую, если мы еще помним, принято вешать везде. Так вот, в Лхасе она присутствовала в единственном экземпляре и висела на стене возле кассы в здании городской бани.

А вы говорите Одесса...

3

Гора была похожа на правильную пирамиду. Своим снежным вершинным конусом она мягко улыбалась свысока.

Утром перед восхождением пришлось еще раз оценить крепость сна тибетцев. В семь утра, когда только начинало светать, дверь гостиницы была все еще закрыта, и в замкнутой изнутри дежурке было темно и витал

глубокий сон. Этот сон не могли потревожить ни глобальные проблемы современности, ни кулачные удары в дверь. Так могут спать только люди, постигшие смысл бытия, которым не о чем больше беспокоиться. Девушка тибетка так и не проснулась, но в ней на время включился служебный автопилот, она явилась из темноты, как сомнамбула, открыла нам дверь и снова исчезла в темноте.

В восьмом часу утра, когда солнце еще не показало из-за гор, а лишь осветило легким багрянцем окаймляющие вершины, Лхаса пустынна — тибетцы в это время еще спят сном младенцев. Речка Лхаса, которая в ста километрах ниже впадает в священную реку Брахмапутру, здесь, в долине широкая и спокойная. Утром она окутывает всю котловину вместе с городом легким туманом, прячет в него свои берега и становится похожей на огромное озеро.

На другой берег ведет могучий железобетонный мост, ставший поперек реки с явным намерением продержаться здесь века. Мост круглосуточно патрулируют китайские солдаты с нашими «калашниковыми» на груди. Столь раннее появление трех человек на мосту вызвало у них некоторое напряжение, но на партизан мы явно не тянули, и нас задерживать не стали.

За мостом дорога метров двести идет вдоль каких-то китайских владений, спрятанных за двухметровой глухой стеной. Что находится за стеной, неизвестно, но зато хорошо видно, что находится на стене — там из застывшего цементного покрытия веселым ершиком, поблескивая на солнце острыми ребрами, торчат осколки битого стекла. Это азиатский вариант нашей «колючки».

Дальше дорога проходит через три деревушки, превращается в пастушью тропу и приводит под склоны Горы.

Восхождение длилось около шести часов, и все это время Гора нам мягко улыбалась сверху. Я все ждал, когда она, наконец, покажет зубы, но Гора почему-то была к нам благосклонна и не сделала этого.

Все это было похоже на прогулку, хотя время шло, а искрящаяся улыбка Горы оставалась все еще где-то высоко. Поэтому, чтобы сохранить прелесть и сказочность этого выхода в горы и не превращать его в тяжелый штурм, мы решили разделить наши функции. Из-под вершинного взлета, на котором уже лежал снег, Шери и Сюзи потихоньку пошли вниз, бережно сохраняя прелесть и сказочность, а я двинулся вверх, имея целью все-таки сделать этот выход вполне завершенным.

И я его завершил. Исходя из высоты Лхасы (3600 м) я оценил гору в 5000 м. Я не раз выходил на вершины и видел много вершинных пейзажей — все они разные. Моя Гора показала мне свой особый пейзаж из своих тибетских сородичей. Он был мирный и добрый, как и



сама Гора. Я стоял на вершине и вместе с Горой мягко улыбался вниз.

Хотя я и не был первым на этой вершине — там уже торчала длинная палка с маленьким

синим тибетским флагом на конце, — я все равно решил дать Горе имя. Я назвал ее «Голубая Гора».

Потом я выполнил просьбу новозеландских «зеленых» из Нанкинского университета, которые снабдили меня рюкзаком для этой экспедиции, и приклеил на большой плоский камень значок их отделения «Гринпис». А затем на открытке с видом Пушкинской площади Москвы я оставил автограф нашей экспедиции (в переводе с английского):

19 октября 1985 г.

Совместная советско-американская экспедиция
ТИБЕТ-85

Участники: Виктор (СССР), Шерлотт и Сюзан (США)
Виктор вышел на эту вершину, чтобы назвать ее
«ГОЛУБАЯ ГОРА»

Частичную помощь экспедиции оказывало
Новозеландское движение «Гринпис»

Эта открытка до сих пор лежит под кучкой камней на Голубой Горе.

Далеко-далеко внизу лежала Лхаса и начиналась долгая дорога назад в большой мир, туда, где сущность бытия по-прежнему вызывает большие споры и люди не умеют спать сном младенцев. Там, стоя на вершине, я прощался с Лхасой и со своей Голубой Горой. Я тогда еще не знал, что скоро научусь путешествовать во времени, и поэтому я прощался с ними навсегда.

Часть 3 ХАЙНАНЩИНА 1

Остров Хайнань — самый южный и второй по величине, после Тайваня, остров Китая. На острове живет дружелюбная и улыбающаяся народность майя и растут пальмы, на которых висят большие кокосовые орехи. Самая большая проблема, имеющаяся на острове Хайнань, связана с этими орехами. Проблема состоит в том, что орехи весом килограмма два висят на высоте пять-десять метров и иногда падают. И нет на земле такой головы, которая бы это выдержала.

На самой южной оконечности острова, недалеко от местечка Санья, в обширном пальмовом лесу на самом берегу Южно-Китайского моря стоят десятки полтора одноэтажных коттеджиков, которые совокупно называются гостиницей «Люхоутоу». Утром, когда умытое солнце выплывает из-за высокого холма и начинает отогревать от ночной прохлады пустынные песчаные пляжи и гроздь кокосовых орехов на макушках пальм, у коттеджа номер три, примерно посередине между северным тропиком и экватором, под пальмой лежит молодой человек в голубых шортах. Он блаженно щурится, впитывает ласковое февральское солнце и проникается ощущением, что время в этом мире куда-то рассосалось и прекратило свое существование.

Этого юношу я назвал для краткости именем Вик. Наблюдая за ним из укутанного моросящим дождем Города, который расположен значительно ближе к Полярному кругу, чем к Северному тропику, я насмешливо улыбаюсь его благополучию. Я-то знаю, что там, на острове Хайнань во времени каким-то чудом образовалась обыкновенная прореха длиной всего-то в три дня и что лишь этот моросящий дождь в Городе будет продолжаться вечно...

Сквозь растопыренные пальмовые листья ненавязчиво просвечивало теплое солнышко, где-то недалеко ласковые волны продолжали перекачивать с места на место прибрежные ракушки, откуда-то из-за кустов вышла обвешанная сочной травой коричневая корова и задумчиво уставилась на разлегшегося под пальмой Вика. Из служебной комнаты коттеджа, демонстрируя фанта-

стическую стройность, выбежала юная представительница народности майя и на веревке, протянутой между двумя пальмами, стала развешивать белье. Ласковый ветерок начал мягко покачивать макушки пальм, усыянных большими кокосовыми орехами. И каждый такой орех весил не меньше двух килограммов.

Была такая лепота...

Однако, удержаться посреди отсутствующего времени оказалось трудно — там просто не за что ухватиться — и Вик стал куда-то уплывать, уплывать куда-то далеко-далеко, где время еще существовало. И это стало его спасением, ибо в тот самый момент, когда он окончательно исчез из-под пальмы, на то самое место, где только что лежало его тело, с десятиметровой высоты грохнулся тяжелый кокосовый орех. Вик успел лишь заметить побледневшее лицо смуглой майянки и оказался совсем в другом месте.

2

Он ехал в сидячем общем вагоне поезда «Шанхай-Гуанчжоу». Вокруг сидели и стояли китайцы, и их было много. Ехать оставалось 32 часа 40 минут. Все время хотелось ерзать, сгибать и разгибать затекшие ноги и смотреть на часы. Время здесь очень даже существовало.

Вик снова был один — его приятель Леша за неимением на этот поезд плацкартных билетов решил поехать на следующий день. Ему почему-то не захотелось отсидеть каких-то 33 часа в переполненном, грязном, вонючем, оплеванном, прокуренном вагоне. Зато он, Вик, будет иметь один лишний день в солнечном, жизнерадостном Кантоне. Зачем он так рвался туда, на юг? — трудно сказать — там тепло, там пальмы...

Через два часа время сильно замедлилось.

Через четыре часа оно практически остановилось.

И в этот момент в вагоне что-то произошло. В нем началось какое-то громкое бурное совещание, и было ясно, что в центре дискуссии находится именно он, Вик. Пассажиры спорили, размахивали руками и время от времени показывали на него пальцами.

Некоторые люди, когда им очень плохо, склонны считать, что любые перемены могут быть только к лучшему, наивно полагая, что хуже просто быть не может. Таких людей можно назвать наивными оптимистами, и Вик относился к их числу — он заинтересовался происходящим и оживился. Суть дела оказалась очень простой. Ему предложили продать кому-то свой билет, а взамен купить билет в плацкартный вагон. Это была редкая удача. Единственный деликатный момент в этой сделке состоял в том, что вся эта купля-продажа совершалась с оглядкой, не появился ли полицейский.

Вик рисковал семнадцать юанями. Он прислушался к своему организму — организм отчаянно требовал кислорода. Он посмотрел на часы — до Кантона оставалось 28 часов. Он посмотрел вокруг — вокруг были китайцы, которые громко дискутировали и размахивали руками. И тогда он отдал семнадцать юаней, взял свой рюкзак и пошел продираться в плацкартный вагон, отметив про себя, что назад дороги, пожалуй, уже не будет: билет он взял у одного, деньги у него взял другой, сдачу ему дал третий, а на его место сел четвертый — этот коллектив на составные части уже не расчленишь.

В плацкартном вагоне его действительно ждало свободное место. Вик забрался на свою полку на третий ярус и стал блаженно пополнять запасы кислорода. Его соседями оказалась пара иностранцев — парень с девушкой из Канады. Молодые люди лежали на полке напротив и занимались экспортом в Китай сексуальной революции. Молодой человек нежно-нежно называл свою спутницу курицей, она его — козлом, и при этом они мучительно-сладостно целовались. Они целовались так, что дух захватывало. Даже повернувшись к ним спиной, Вик ощущал все в мельчайших деталях. Потом они приступили к еще более серьезным развлечениям, и лишь спустя много времени, проклиная все эти преслову-

тые личные свободы, проклиная тот случай, который загнал его сюда из спокойного общего вагона, Вик постепенно забылся беспокойным сном...

3

Вик забылся беспокойным сном, и его стал мучить тяжелый кошмар. Ему приснилось, что свобода — это осознанная необходимость. Он долго ворочался и стонал, но потом отчаянно метавшиеся руки вдруг за что-то ухватились, и он обрел какую-то опору.

Было тепло. На темнеющем небе стали проступать созвездия. Земля стала сереть, погружаясь в сладкий сон южной ночи, и лишь море продолжало светиться, уходя куда-то вдаль, туда, где недавно скрылось большое красное солнце. Среди густеющих всепоглощающих сумерек на фоне сиреневого неба выделялись лишь резкие очертания растопыренных пальм. На стволе одной из пальм, успевшись за макушку, сидел Вик и одной рукой пытался оторвать большой кокосовый орех. Орех не поддавался, предпочитая когда-нибудь упасть по своей собственной воле, но не под действием насилия.

Мимо пальмы не спеша прошли обнявшиеся юноша и девушка. Вик узнал эту пару. Черноволосую смуглую, похожую на индианку, девушку звали Джули — она убежала на Хайнань из империи Капулеттии. Высокого нескладного юношу с мечтательными глазами звали Рома, и он был из государства Монтекки. В той эпохе, откуда прибыли Джули и Рома, Капулеттия и Монтекки были могучими сверхдержавами, между ними была извечная вражда, они строили танки и ракеты, плели друг против друга хитроумные интриги, и все только для того, чтобы помешать Джули и Роме соединиться. Однако, все было напрасно, потому что они все равно всех перехитрили и скрылись здесь, в хайнаньском разрыве времени, в душистом пальмовом лесу на берегу южного моря.

Увидев друг друга впервые, тогда, первой ночью, они побежали на пляж купаться в море. Был конец января, небо просто светилось от звезд, и это было так удивительно — плавать в искрящейся черной воде среди фейерверка огней и подводных светлячков. Пройдут годы и эпохи, но, даже находясь в разных пространствах и временах, они все равно будут возвращаться на этот пустынный ночной пляж, где они сначала просто взялись за руки, а потом, когда на западе по небу чиркнула упавшая звезда, они рассмеялись и стали целоваться как сумасшедшие. Но что было делать, если ее шелковистые волосы пахли травой, если в ее черных глазах отражались звезды, а море шуршало песком и вместе с букетами пальм тихо шептало: «Это сказка, просто сон...».

Вик так замечтался, что свалился на землю одновременно с кокосовым орехом, который отвалился сам, когда его оставили в покое. Тропинки к морю уже не было — после того, как по ней прошла влюбленная пара, она сразу же густо заросла свежей травой. Пришлось идти просто на звук волн.

Было уже совсем темно. Он плыл сквозь черную воду, и при каждом движении тела, она вспыхивала десятками светлячков, которые казались мгновенными отражениями звезд. Было тепло. Прямо над головой висело созвездие Орион...

4

Было тепло. Прямо над головой висело созвездие Орион. Пальмы неторопливо шевелили растопыренными перьями. По узким улочкам сновали жизнерадостные южные китайцы, а из цветастых лавок выплескивалась жизнеутверждающая музыка. И хотя здесь не было цветущих акаций, все равно в воздухе струился одуряющий запах майской Одессы. На самом деле это был Кантон, и был он южнее Северного тропика.

В Кантоне любят жизнь, и выкорчевать эту тлетворную привычку Народная Власть так никогда и не смогла.

Здесь все время что-то строят, покупают и продают, спекулируют и воруют, сытно едят и танцуют, балуются проституцией и наркотиками и совершенно бесконтрольно рожают детей. А еще в Кантоне ценят изысканную еду, особенно лягушек, змей и обезьян. В змеином ресторане можно показать пальцем на приглянувшуюся живую гадину за стеклом, и ее тут же приготовят. Вкуснятина, говорят, необыкновенная.

Разрезая Кантон на две части, плавно несет свои густые коричневые воды широкая река, остроумно названная Жемчужной. Небольшой, одетый в камень рукав этой реки отделяет от центрального Кантона остров Шаммиан — самое респектабельное место города — местный вариант парижского Сите. Это единственное место в Китае, где поздно вечером можно видеть редких прохожих. Остров Шаммиан — это резиденция иностранных гостей, состоятельных аборигенов и находчивых умельцев, старающихся обслуживать первые две категории во всех отношениях.

Поздним январским вечером здесь, на набережной Жемчужного рукава, на фигурной каменной скамейке под раскидистым деревом сидел Вик и, расслабившись, вдыхал майский одесский воздух затихающего города. Перед ним в двух метрах зияла вонючая Жемчужная река, а дальше, на другой стороне, сиял огнями, дребезжал автобусами и кипел южным темпераментом Кантон. Возле скамейки были полумрак и одиночество. Сзади, правда, еще ездил туда-сюда велосипедисты, но их шорох сливался с общим вечерним дыханием Кантона и только убаюкивал. Благодать... Все было просто замечательно.

Свои вещи Вик оставил в гостинице-ночлежке для бродячих студентов, а с собой взял только самое ценное — небольшую папочку с деньгами и документами. Развалившись на скамейке, он теперь млел и растворился в очаровании этого теплого январского вечера, и лишь полунстинктивно придерживал левой рукой свою важную папочку, которая лежала здесь же рядом на скамейке.

— Эх, — сказал Вик, — лепота! — И не торопясь, с удовольствием потянулся обеими руками, хрустнув всеми суставами.

Когда он снова принял разомлевшую позу, все в окружающем мире было таким же благодатным, как и прежде, за тем исключением, что драгоценной папочки под рукой больше не было.

Бывают в жизни такие мгновения, когда с воплями «Стой! Стой!!!» хочется срочно найти Вселенский часовой механизм и вернуть его всего на несколько секунд назад. Всего несколько секунд! Увы, время неумолимо уносило Вика все дальше от того мгновения, когда все еще можно было спасти.

К его чести, нужно сказать, что он не стал устраивать истерическую сцену с вырыванием волос на голове и не стал с криками «Держи его!!!» бегать по набережной. Держать было некому и некому. Рядом по-прежнему туда-сюда ездил велосипедисты, и лишь того единственного мастера-ворюги, который так долго тихо терпел за спинкой скамейки Виково умиротворение, уже нигде не было.

Вик отчаянно повертел головой, нервно прошелся взад-вперед возле скамейки, на всякий случай под нее заглянул и снова сел. Потом некоторое время он вполголоса произносил всякие слова и словосочетания. Выговорившись, он стал подводить итог. Итак, пассив: один, где-то у черта на куличках, где жрут лягушек и обезьян, без денег и документов. В актив можно было записать то, что вполне могло находиться в пассиве, а именно, один короткий тюк по Викову затылку и затем негромкий плюх в Жемчужную речку, где он бы еще долго плавал без денег и без документов в вонючей жемчужной воде. Затем он нащупал в нагрудном кармане стоюаневую бумажку, и хотя по сравнению с утраченной суммой это выглядело как насмешка, он тоже записал ее в актив, ибо это означало, что во всяком случае без пива в этот вечер он не останется.

После этого, мысленно выразив свое восхищение

высоким профессионализмом кантонцев, Вик подчеркнул бодро зашагал к своей ночлежке. И лишь потом, засыпая среди довольных жизнью международных бродяг, развалившихся на нарах пятидесятиместного гостиничного номера, Вик увидел меркнущие очертания хайнаньских арбузов и погрузился в горечь и тоску. Ночь становилась все гуще...

5

Ночь становилась все гуще, и Вика стала сниться огромная неправильной формы Черная Дыра, похожая на ночной кокосовый орех. Ему снилось, что он провалился под черную скорлупу и оказался в бездонном море кокосового сока. Он начал быстро в нем растворяться, и ему стало казаться, что он погружается в далекий призрачный мир, где солнце уже высоко поднялось над городом и ветер снова начал тихонько шевелить пальмовые листья, где улицы уже давно заполнились народом и торговцы мороженым опять стучат своими деревянными колотушками, а ему предстоит хлопотный день, потому что нужно идти в полицию и заявлять об украденных документах.

И он вошел в этот день, долго бродил по шумным улицам, у кого-то что-то спрашивал, что-то ел и что-то рассматривал. Потом он встретил своего приятеля Лешу, а когда солнце где-то далеко опять коснулось кромки моря и пальмовые листья снова вмерзли в неподвижный воздух, он опять сидел на той самой злосчастной скамейке на набережной Жемчужной реки.

В полиции с ним очень мило побеседовали и уверили, что подобные происшествия в кантонских масштабах — это сущие мелочи, к которым они, полицейские, уже давно привыкли и которые просто не следует принимать близко к сердцу. Вика выдали небольшую бумажку, полную иероглифов и красных печатей, которая, по словам полицейских, должна была в некотором смысле и на некоторое время заменить утерянное китайское удостоверение личности. Что означала эта формулировка, понять так и не удалось, и поскольку без документов существовать в этой стране было очень некомфортно, Вик решил поиграть в детектив. Проникнувшись уважением к мастерству грабителей, он решил, что это должны быть солидные люди, и поэтому за известный выкуп они могли бы вернуть ненужные

казалось, солидную небрежную позу и начал посыпать предполагаемому гангстеру достойные взгляды.

Время, однако, шло, а человек упрямо стоял у дерева. В конце концов Вик устал сидеть в достойной позе, встал и решительно направился к нему сам. Тот немедленно пошел прочь. Однако как только Вик остановился, человек в белом костюме тоже остановился и кивком головы показал, чтобы Вик следовал за ним. Это становится интересным, — подумал Вик и, изредка оглядываясь по сторонам, послушно последовал за этим «белым лебедем» в глубь кантонских переулков.

Чтобы чувствовать себя увереннее, Вик стал посыпать короткие мысленные сообщения о своем передвижении. Поскольку его никто не подстраховывал, то адресовались они непосредственно Господу Богу.

«Повернул направо... Перешел на левую сторону... Пересекаем еще одну улицу, — сообщил Вик. — Он столкнулся с точно таким же одетым в белое субьектом и, кажется, что-то ему сказал... Теперь меня сопровождают уже два «белых лебедя» — второй следует метрах в двадцати сзади...»

Они блуждали по переулкам Шамина с полчаса, и все это время Вик аккуратно сообщал о маршруте следования.

«Видимо, проверяют, нет ли хвоста... Вышли на южную сторону и движемся в направлении отеля «Белый лебедь». Слева остается какой-то темный безлюдный парк... Передний зашел в воротца и, кажется, что-то сказал вахтеру...»

И Вик в сопровождении почетного эскорта стал углубляться в темноту безлюдного парка. Тут ему стало как-то совсем неуютно. Шутки-шутками, подумал он, но так можно и самому отправиться вслед за своими сообщениями. Это для них совершенные пустяки, для этих элегантных гангстеров, если, конечно, верить детективам...

Процессия достигла дальнего закоулка парка, и там передний «белый лебедь» скрылся в большом каменном сортире, а задний застыл, прислонившись к дереву.

Заходить при подобных обстоятельствах в сортир Вика совершенно не хотелось. И вообще, вся эта история начала принимать какой-то несолидный дурацкий оборот. Какие, спрашивается, уважающие себя гангстеры устраивают свои дела в сортире? Поэтому, немного потоптавшись, Вик решительно направился к «белому лебедю» дежурившему у дерева. По всей видимости, такой оборот был для него неожиданностью,

потому что при приближении Вика тот совершенно потерялся и начал перепуганно пятиться. При ближайшем рассмотрении это оказался маленький щуплый человечек неопределенного возраста, хотя и действительно одетый в элегантный белый костюм. Почувствовав значительный перевес сил, Вик грубо потребовал вернуть назад его документы. Маленький человечек совсем съехался и тонким гермафродитным голосом пропищал, что ничего не понимает.

Вик плюнул и направился в сортир. При входе он проявил некоторую осторожность, дабы не прозевать возможный тук по голове, однако никто нападать на него не собирался. Сортир был пуст, и лишь из одной из кабинок выглядывал «белый лебедь», который теперь призывно улыбался и жестами звал Вика к себе. Вик уже начал догадываться в чем дело, но все же подошел и решительно потребовал документы. В ответ на это «белый лебедь» гостеприимно распахнул перед Виком кабинку и стал растегивать свои штаны.

Более дурацкую развязку было бы трудно придумать. Хорошо, что хоть никто этого не видел, подумал Вик, смачно плюнул и зашагал прочь. Тут он, впрочем, заблуждался — я видел все.

Видимо, было что-то особо притягательное в этой скамейке на набережной Жемчужной реки — теперь Вик обнаружил на ней Лешу, который возвращался с прогулки по городу. Леша с восхищением продемонстри-



им документы.

Примерно в то же самое время он сел на ту же самую скамейку и положил рядом с собой небольшую сумочку, на этот раз, впрочем, пустую. Он решил ловить «на живца», т.е. на самого себя. Прошло около получаса напряженного ожидания, и вдруг метрах в двадцати он заметил человека в элегантном белом костюме, который, прислонившись к дереву, пристально на него смотрел.

Далее, если верить детективам, человек в элегантном костюме должен был сесть рядом, закурить хорошую сигарету, сказать что-нибудь о погоде и небрежно назвать сумму. Вик сразу же принял, как ему

ровал аккуратно, во всю длину вспоротый лезвием наружный карман сумки. В этот день добычей кантонских гангстеров стала его любимая расческа.

Кантон затихал. В густом ароматном воздухе пахло майской Одессой. Напоенный теплом и умиротворением, угасал еще один теплый январский вечер, и лишь темно-коричневая маслянистая жемчужная вода все еще слегка колыхалась, весело поблескивая ночными рекламными огнями.

Они молча сидели на скамейке и думали о чем-то своем. Никто так ничего и не произнес, но я все равно услышал, что каждый из них думал одно и то же: «Из Кантона пора литься...»

6

Они так задумались, что даже не заметили, как окончательно стемнело, и что все уже позади: и кокосовые орехи, и арбузы, и вообще от хайнанщины осталась лишь дырка во времени. Лишь когда под ногами закачался пол, они окончательно осознали, что хайнаньский берег уже давно скрылся за кормой парохода, что море сильно штормит, и что у них, черт возьми, в данный момент праздник — день рождения Леша.

Поначалу этот день не сулил ничего праздничного, ибо им удалось купить билеты лишь в третий класс — в каюту на восемь человек. И хотя это все же был не пятидесятиместный номер четвертого класса и, тем более, не безразмерный трюм, плавание в шторм в компании с шестью (скажем прямо) непрерывно блоющими и стонущими китайцами — это испытание, достойное лишь самых крепких путешественников. В этих романтических условиях главное было ни в коем случае не уходить в себя, иначе все оно оттуда неминуемо полезет наружу...

И тогда Леша как именинник, несмотря на опасность поскользнуться на заблужденных лестницах, сходил в паровой буфет и принес оттуда бутылку простой народной рисовой водки и банку обычной свиной тушенки — ничего другого в этом буфете просто не было.

А потом, на зависть всему пароходу, у них в каюте состоялся веселый праздничный ужин. Пока пол каюты то и дело проваливался куда-то к чертям в морскую пучину, под бульканье и похрюкивание соседей по каюте, они без хлеба прямо из банки лопали свиную тушенку «Великая стена», состоявшую из одних тупоплавких жиров, и пили, чокаясь, густую жидкость с сильным запахом рвотного и по вкусу напоминавшую не то подсолнечное масло, не то бензин. Это был самый яркий праздник дня рождения, который только можно придумать. В нормальных условиях одна лишь такая тушенка вывернула бы любой желудок наизнанку, не говоря уж про ту замечательную жидкость и про несчастных измученных соседей. А они хотали буре назло, и веселились, пытаясь поделить единственный найденный волосок мяса, и пили, затыкая себе нос. А пароход нутужно гудел и упорно прорывался сквозь ночь навстречу ветру и волнам...

Их путь уходил все дальше и дальше на север, мимо Гонконга, через уже обжитый Кантон, через всю гуандонщину и нанкинщину к необязанному северным снегам. Но пока еще бушевало Южно-Китайское море, и предстояла длинная штормовая ночь. Размеренная качка быстро убавлялась. Леша, вполне довольный своим днем рождения, улегся на нары и, лишь успев пробормотать «и окурки я за борт швырял в океан», сразу же стал похрапывать. А Вик закрыл глаза и ему стало казаться, что теплое солнце, обойдя сверху далекий скальный мыс, только что упало в море...

7

...Теплое солнце, обойдя сверху далекий скальный мыс, упало где-то далеко в море. Потом стали угасать последние лучи погибшего за горизонтом заката, и прямо над головой начало проступать созвездие Орион. Метрах в десяти от столика, за которым они молча пили пиво,

тихо мерцало звездами теплое море, а из домика пляжного ресторана доносилась тихая музыка.

За этими столиками, поставленными прямо на песке у воды, каждый вечер провожали закат заблудившиеся во времени бродяги со всего света. Рядом с Лешей и Виком сидела веселая компания рослых белокурых викингов. Отличие

от большинства своих соплеменников, они отправились путешествовать в Азию и заблудились. Сначала они долго пробивались через страну Скифов, потом блуждали по Китаю, пока, наконец, не осели здесь, на хайнанщине. От столика к столику вместе со своей подружкой, французенкой по имени Флоранс, слонялся разговорчивый толстяк, давно забывший, какого он роду-племени. За отдельным столиком сидел угрюмый, заросший щетиной британец, который глушил бутылку за бутылкой и все силился понять, как же это может быть, что пассажирский самолет, на котором он куда-то летел, только что сбили, все разлетелось вдребезги, а он угодил сюда на проводы теплое заката, где всем хорошо и никому ничего не нужно.

А в отдалении, просто радуясь наступлению ночи, шумно веселились жизнерадостные аборигены народности майя. Они всегда радовались, когда садилось солнце. А утром они радовались наступлению нового дня. Еще они радовались дождю, и жаркому дню, и сильному ветру... Они вообще считали, что жизнь — это праздник.

Каждый раз, с наступлением ночи все постепенно собирались за одним столом и начинали обсуждать проект превращения планеты в одну огромную Хайнанщину. Предполагалось, что секрет заключен в огромных хайнаньских кокосовых орехах, которые каким-то образом всасывают в себя время, а взамен выделяют тепло, и проект состоял в том, чтобы этими орехами засадить всю землю. Чтобы зафиксировать для истории авторство проекта, они, не сходя с места, сделали общую коллективную фотографию, решив, для большей убедительности, снабдить ее подписью: «Вы только поглядите, как хорошо мы сидим!»

Этот базар продолжался далеко за полночь. Потом из-за холмов вышла полная луна и заливала все пространство невесомым серебряным светом. Звезды постепенно гасли, и вместо них начинало светиться море.

Викинги начали в очередной раз рассказывать о своих невероятных приключениях в стране Скифов и о том, как в поезде на «трансир-р-рской» магистрали, запершись в купе, они учились у проводника пить «из горла». Толстяк, потерявший к этому времени свою любимую Флоранс, ушел искать ее в разрывы лунного света и пальм, а между тем эта изменчивая красавица уже сидела на коленях великана викинга и, томно прикрыв веки, выслушивала его страстный шепот: «О, Флоранс!... Твои глаза — как бездонное море. Позволь мне в нем... в них... утонуть! О, мадмуазель де Флоранс!...»



С появлением луны там, за столиками на песчаном пляже, людей прибавлялось. Пришел квебекский канадец по имени Алан, сумевший, наконец, сбежать от своего американского босса и бесконечных англо-франко-китайских переговоров, контрактов, презентаций и приемов. Алан был большим любителем деловой жизни, но еще больше он любил свободу и вот этот залитый лунной хайнаньский берег. Здесь он немедленно окружал себя двумя очаровательными воздушными созданиями, одно из которых, по имени Луна, покорило его тем, что в свое время решилось составить ему компанию в его путешествии на Тибет, а второе, по имени Норма, разоружило его сердце своим божественным совершенством и глубиной темных глаз. Теперь он с упоением слушал мелодию их голосов, поворачивая туда-сюда свою курчавую голову, и при этом еще умудрялся беседовать о жизни с хозяином рестораника, представителем народности майя.

Откуда-то с берегов Миссисипи забрел здоровила Ник, а вслед за ним с восточного берега Америки прибыли Сюзанна и Шарлотта, которых он немедленно заграбастал в свои мощные объятия, и все трое немедленно расцеловались. Потом Ник в три глотка употребил бутылку пива и с большим задором, хотя и без особого успеха, стал организовывать окружающих на немедленный футбольный матч, здесь же, прямо на песке. Он был большим мастером на месте левого форварда, этот Ник. Когда-то они с Виком играли в одной команде, и после тяжелого матча с африканцами на нанкинском стадионе, когда они едва-едва свели вничью, Вик получил от него уважительное прозвище «футбольная лошадь», которым очень гордился.

Пухленькая Сюзанна, повертевшись среди развалившейся на небольшие группки публики, уселась в одиночку на открытом месте, и точь-в-точь как во время их с Виком путешествия на Тибет, подставила лунному свету свою тетрадь и стала учить свои китайские уроки. А тоненькая Шарлотта, повертев головой, быстро разыскала своего любимого доброго Альфа, который примчался сюда из родной Западной Африки. Они уселись под пальмой, тут же возле столиков, и стали целоваться.

Из Западной Вирджинии пришла даже толстенная Андрея, которая, в общем-то, не очень любила шумные сборища. Она предпочитала диалоги один на один и поэтому сразу же зацепила долговязого американского баптиста, который сидел рядом с Виком и рассказывал, как во время вьетнамской войны, он вместе с единомышленниками, разрисованный яркими красками и почти без одежды, ходил по улицам Вашингтона с плакатами протеста. Андрея тут же заметила, что по ее мнению, с точки зрения Божьего промысла за Истиной, не гоже против гнусных дел бороться гнусными же методами, и они завели долгий неторопливый спор.

Позже всех подошел скромный тибетский юноша в пурпурной тоге, по имени Чинехуаджан. Он недолго отказывался от угощений — лишь успел перечислить, какие продукты ему запрещает употреблять его вера, но потом отвлекся интересным разговором и стал есть все подряд.

Где-то в окружающем мире по-прежнему идет время, разрушающее все на свете, но здесь, на хайнаньском берегу, каждую ночь все повторяется снова и снова. Ближе к утру со стороны далекого скального мыса к веселому сборищу берегом подходят неразлучные Рома и Джули и садятся за отдельный столик в глубине берега. Они думают, что утром они расстанутся навсегда, что они должны разъехаться в разные концы этой планеты и больше никогда друг друга не увидят. Пока они молча смотрят друг на друга, все вокруг них зарастает травой и цветами, а когда трава начинает подниматься до столика, они вскакивают и бегут к морю купаться. И тогда веселый базар на берегу на минуту смолкает, чтобы вслед за этим разразиться дружным хохотом, потому что эти двое опять забывают, что здесь, в глубине залива, прямо от берега начинается длинная-длинная отмель, и воды

— ровно по шиколотку. Собираясь с разбегу броситься в воду, они спотыкаются, падают, бегут дальше, затем Джули пищит, что здесь острые камни, и Рома подхватывает ее на руки. Их силуэты скользят по серебряной воде все дальше и дальше в море, постепенно растворяются в прозрачном лунном свете и исчезают...

С приближением утра затихает и собрание на берегу. Утомленные завсегдатаи постепенно покидают столики и уходят в лунные разрывы пальмового леса. Берег пустеет. Хозяин рестораника быстро убирает столики и скрывается в своей каморке рядом с кухней. И лишь потом уходит последний завсегдатай, никем не замеченный, всегда молча сидящий под покровом густой тени. Этот молчаливый участник ночных собраний я.

8

Ночь опять была истрачена без остатка. И в то время, когда где-то там, над хайнаньщиной, из-за холмов выходила Венера, Вик сидел в моей комнате в плетеном кресле и любовался своим большим кокосовым орехом, который уже успел дать тугой зеленый росток.

Это были не сны. Так — куски из коротких прожитых жизней. Смешиваясь, они выстраивались в аляповатую цветастую цепочку, и я разматывал и разматывал ее перед ним всю ночь, пока мы пили кофе и дымили сигарету за сигаретой, заполняя комнату тягучим дымом. За дымом терялись очертания черного окна с тяжелыми дождевыми каплями, а дождь, все так же, не прекращаясь ни на минуту, все моросил и моросил над этим Городом, размывая память, закрывая будущее и оставляя лишь мгновения настоящего.

— Раз уж ты меня придумал и притащил сюда, — сказал Вик, — расскажи, что это за Город и где тут можно посадить мой орех?

— Не получится, — сказал я, — в этом Городе жизнь идет в форме существования белковых тел, и никогда не кончается этот холодный морозящий дождь. Твоя пальма здесь не вырастет. И вообще, тебе здесь не место. Уходи, — повелительно сказал я, — ты свободен!

И он исчез. Но на кресле так и остался лежать его кокосовый орех с тугим зеленым ростком, и еще долго таяли в воздухе его последние слова: «Посади орех, пожалуйста...»



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- студентов и выпускников ВУЗов, имеющих развитый художественный вкус и склонность к работе с компьютером;
- специалистов с высшим образованием, имеющих склонность к литературно-грамотному описанию технических устройств;
- переводчиков с английского языка, с углубленными компьютерными знаниями.
- специалистов по организации делопроизводства;

телефон: 974-7263

Четыре но- вел- лы

Апокрифическая истина Вилли Чурклюдона

«Я ищу вопрос, ответ на который — сама человеческая жизнь», — говорит китайский мудрец в книге Чурклюдона «Учитель Ма» (1953). Ма указывает путь своим ученикам: но делает это не общепринятым образом, а посредством парабол и аллегорий, которые при должном истолковании приведут их к мудрости.

Поскольку не существует ядра философии и текста с утвердившимся авторитетом, не стоит удивляться, что на сцене появляется и полностью занимает ее другое Слово, пародийное и апокрифическое. Чурклюдон мастер Апокрифа, близкий родич Карела Чапека, Итало Кальвино и датчанина Вилли Соренсена.

В своих пятнадцати тощих томах, начиная с «Парового катка» (1948) и кончая книгой «О доброте» (1988), Чурклюдон совершенствовал этот апокрифический почерк. Он перепробовал все жанры: роман, легенду, анекдот, сказку, аллегорию, эссе, путевой очерк и т. д. Но в то же время, его произведения не укладываются в эти наименования. Можно сказать, что разочарование в каждом из этих жанров беспокоит и притягивает читателя, берущего в руки одну из книг. Например, «Подходящее ощущение» (1974).

Уже заглавие сбивает с толку. Так же как и псевдонаучное и почти пародийное предисловие, открывающее книгу и вселяющее в читателя некоторое смятение относительно цели данного текста. Это смятение достигает кульмина-

ции в главе, состоящей из филологических интерпретаций нескольких строчек санскрита, каждая из которых кажется совершенно ясной, но парадоксальным образом лишает смысла каждую предыдущую. Знаем ли мы санскрит или нет, этот водопад толкований выливается наконец в универсальную аллегорию о чтении вообще и текстов Чурклюдона в особенности.

Эта пародия филологического характера несет отпечаток не постмодернистского «плаванья» в невесомости, а скорее взаимопревращений разума в поисках истины и мистического негативизма. Проза Чурклюдона оплакивает пределы человеческого разума, но восхваляет ограниченность догматического рационализма.

То обстоятельство, что Чурклюдон по профессии является математиком, не должно удивлять тех, кто познакомился с книгой «О доброте». Сатира, к которой примешивается информатизированное милосердие, бьет точно в цель, и автор превосходно чувствует себя в среде этой идиллической мистики, под знаком которой информатика вмешивается в человеческие отношения во всех их формах. В новелле «Сладострастные души» («Восемь вариаций», 1982) он уже экспериментировал в этом направлении, воображая осуществление на практике информатической программы психотерапии «Элиза 812».

Противопоставление этики и математики, осуществляемое Чурклюдонем, выходит за рамки простой сатиры. Он нападает на утопическую идею современного общества, в частности, «шведскую модель», согласно которой проблемы бытия могут быть разложены на составляющие, которые, в свою очередь, могут быть выражены на языке социальной технологии и могут найти решение в ее рамках.

Ларс Клеберг
(Из предисловия к французскому изданию книги «О доброте». Перевел Е. Смирнов.)

Из книги
«Восемь
вариаций»

ОБРАТНЫЙ ХОД

На лугу Рютли в кантоне Ури гремели ликующие крики.

— Вильгельм! Вильгельм! Вильгельм!

Гедсер убит, крестьяне восстали, свобода стояла на пороге, а героем-освободителем был Вильгельм Телль.

Как хорошо он верхом на лошади, мощный торс в простом домотканном платье с арбалетом за спиной и колчаном у седла. На боку короткий меч, на нем сапоги и перчатки, но голова не покрыта, и потому четко вырисовывается его рябое, с резкими чертами лицо и пронзительный взгляд из-под кустистых бровей. Мужчины толклись вокруг него, желая обменяться словом; женщины протискивались вперед, чтобы коснуться его сапог, и протягивали ему своих маленьких детей. И как прекрасно, что он — герой — был одним из них; его непритязательная хижина с яблоней во дворе стояла неподалеку; она досталась ему от матери.

Как он стал героем? Его об этом попросили.

Крестьяне решили убрать с дороги ненавистного габсбургского наместника. Когда его не будет, многое может случиться. Дело однако было нелегкое, ибо Гедсер никогда не ездил без вооруженного эскорта. Надумали устроить засаду из нескольких человек в лесу, но дабы задуманное удалось, требовалось, чтобы Гедсер был убит первым же выстрелом. Единственный человек способен на такой выстрел: Вильгельм. Он согласился.

На Гедсере кольчуга и шлем, он окружен своими людьми. Стрела попала в шею, и он замертво свалился с лошади. Во время боя эскорт отступил, и Вильгельм стащил с Гедсера сапоги и перчатки. После чего нападавшие убежали, и люди Гедсера вернулись в замок с телом своего господина.

Все знали, что Вильгельм был снайпером. Он обычно выступал на ярмарках. Однажды он привел с собой своего маленького сына.

Гедсер тоже прибыл туда, дабы изучить уровень производства и посмотреть, как народ веселится. Вильгельм всегда выигрывал соревнования по стрельбе, но на этот раз он решил сделать их поувлекательнее. Вместо мишени он поставил своего сынишку с яблоком на голове. Долго целился и наконец спустил тетиву, попал в яблоко, стрела глубоко ушла в дерево за спиной мальчика. «Делать подобное — значит искушать Бога», — сказал Гедсер, и многие с ним согласились; однако священник его поправил: «Бог не позволял себя искушать». Но Вильгельм возненавидел Гедсера, ибо тот лишил его славы.

Шло время, и стрела выскочила из ствола дерева, пролетела над головой мальчика, причем яблоко опять стало целым, вновь легла на тетиву и вернулась в колчан. И Вильгельм с сыном ушел утром с ярмарки. Углубился в лес с полным ягдташем, и вышел оттуда с пустым. И его мать была жива, и они жили вдвоем в своей хижине.

Блестит от жемчужин росы паутина на рассветной поляне. Песни дрозда. Заячий помет. Расколотый взгляд козули со стрелой в сердце. Отвесный ствол ели на склоне. Потом ива. Потом снег.

Вильгельм бродил по лесу, хищный зверь среди стволов, который убивал ради еды, который бродил, повинувшись своей природе. Гордый своей ловкостью и силой, гордый надежностью своего оружия. Счастливым от игры теней в листве, шепота ветра и вида, открывавшегося с прохладных холмов на долины и другие холмы.

— Господь посылает еду в наш котел через тебя, мой сын, — сказала мать, — больше, чем нам нужно,

хвала Деве Марии и святому Губерту. Иди теперь в деревню, продай шкуру и поболтай с девушками; я ведь совсем старая и однажды умру.

И Вильгельм сделал так, как велела мать, ибо он был хороший сын и с удовольствием выполнял желания матери.

— Господь однажды пошлет еду в наш котел через тебя, мой сын, — сказала мать, — а до тех пор придется разбавить суп. Отчима я тебе не сумела раздобыть: бедные девушки выходят замуж, бедная вдова с ребенком кому нужна? Но мы справляемся, и ты достаточно ловкий для своего возраста, и стреляешь из своего маленького можжевельного лука как настоящий мужчина. Мой брат обещал подарить тебе настоящий арбалет, когда тебе исполнится десять. А завтра, может, в силки попадет глухарь.

Ему еще не было семи, когда он подстрелил своего первого перепела в день святого Губерта. «Перепел по лугу бродил, хо-хо, а потом взлетел, хо-хо, и в котел угодил!»

— Пресвятая Богородица, Дева Мария, ты ведь тоже мать, добрая, милосердная Дева Мария, услышь мою беду, услышь меня, послушай, что я скажу! Мой сынок болен, а я бедная вдова, он у меня один на всем белом свете. Ему только четыре годика, и он тяжело болен, у него оспа. Пресвятая Богородица, спаси его, спаси мое дитя ради Сына Твоего, спаси его, спаси!

Тонкая восковая свеча с колеблющимся пламенем плакала перед изображением Святой Девы — добрая улыбка, милосердная.

Вильгельм ползал по полу, ибо он еще не умел ходить. В солнечном лучике бродила муха. Вильгельм убил ее. Она не успела улететь.

Когда повитуха подняла вверх новорожденного, у нее в руках было хрупкое и беспомощное существо, как и все другие. Но оно жило.

— Мальчик, здоровый и красивый, слава Тебе, Господи.

Многие могут, усердно упражняясь, стать хорошими стрелками, но снайпером нужно родиться. Тут столько всего должно совпасть. Реакция должна отличаться невероятной быстротой. Вместе с тем обязательное условие — отсутствие раздражительности нервной системы, так, чтобы не давали себя знать нервные напряжения или не имеющие отношения к делу порывы. Координация мускулов должна быть совершенной. Зрение — острым, и способность определять расстояние особо развитой. Мышечная сила тоже должна быть достаточной, ибо натягивать лук или арбалет нелегко, и нельзя, чтобы крепкая рука задрожала от усталости.

Чрезвычайно редко случается, чтобы все эти качества соединялись в своем высшем проявлении. Но когда-то это должно произойти. Это когда-то и наступило сейчас, и произошло это с ребенком, который скоро лишится отца, ребенком, родившимся в маленькой хижине с яблоней во дворе, тем, кто получит имя Вильгельм.

Вильгельм ползал по полу, ибо он еще не умел ходить. В солнечном лучике бродила муха. Вильгельм убил ее. Она не успела улететь.

Тонкая восковая свеча с колеблющимся пламенем плакала перед изображением Святой Девы — добрая улыбка, милосердная.

— Пресвятая Богородица, Дева Мария, ты ведь тоже мать, добрая, милосердная Дева Мария, услышь мою беду, услышь меня, послушай, что я скажу! Мой сынок болен, а я бедная вдова, он у меня один на всем белом свете. Ему только четыре годика, и он тяжело болен, у него оспа. Пресвятая Богородица, спаси его, спаси мое дитя ради Сына Твоего, спаси его, спаси!

Вильгельм сидел на пороге хижины в лучах утрен-

него солнца, играя с деревянными сандалиями матери, он соскреб с них присохшую глину, постучал деревяшкой о деревяшку, зашнуровал их на своих босых ногах. Скоро у него будут такие же большие ноги, как у матери. Подняв свое нежное, рябое лицо к небу, он долго всматривался в солнце. Он видел свет. С луга донесся призывный крик перепела. Перепел бродит по лугу.

В десять лет он вырезал первую в своей жизни пару сандалий ножом, подаренным ему дядей. И отдал их матери.

Он частенько залезал на яблоню, где устроил себе гнездо. И сидел там, свистя в глиняную свистульку.

Со временем он стал сапожником и перчаточником, сам у себя в подмастерьях ходил. По естественным причинам в гильдию его принять не могли; ведь слепой собрат навлек бы на гильдию насмешки и бесчестье, может, даже принес бы несчастье. Поэтому ему ничего другого не оставалось, как быть в родной деревне свободным ремесленником; всем было прекрасно известно об этом, но, учитывая обстоятельства, ему не препятствовали и не предпринимали никаких правовых мер. Разве сам Иисус Христос не учил нас быть милосердными?

Однажды наместнику Гедсеру преподнесли подарок — пару шевровых сапог со шнуровкой и крепкими подошвами.

— Хорошие сапоги, — сказал Гедсер, примерив их.

Ему сообщили, что человек, их сделавший, свободный ремесленник, слепой.

— Приведите его.

Вот так Вильгельм и был зачислен в челядь Гедсера, скорняком. Он шил штаны и перчатки Гедсеру, а солдатам сапоги. На столе каждый день была еда; никогда не жил он в таком достатке, ибо Гедсер был щедр к своим людям. Вдобавок Вильгельм женился на одной из служанок Гедсера, страшной как смерть, но в данном случае это ведь значения не имело. В честь такого события Гедсер подарил ему искусно вырезанный рог серны с самшитовым мундштуком и шестью дырками. «Один рог в руке лучше, чем десять в лесу», — сказал наместник. «И два на голове», — прибавил он в качестве свадебной шутки.

Но как-то раз Гедсер ехал через лес, и подкупленный телохранитель вонзил ему в затылок нож в ту самую секунду, когда первая стрела со свистом вылетела из засады. Верные солдаты привезли его домой; однако он лишился сапог, перчаток и жизни.

— То были мои самые прекрасные сапоги, — сказал Вильгельм, — лучших я не шил. Теперь, когда наш господин мертв, грядут тяжелые времена. Слава Богу, у нас осталась наша хижина.

Туда-то он и перебрался с женой, детьми и пожитками. Жена обстирывала деревенских и пыталась раздобыть заказы своему муженьку — свободному ремесленнику.

Как-то раз Вильгельм, сидя на пороге хижины, дудел в рог серны; сын слушал. И тут явилась жена с великой новостью.

— Крестьяне собрались на лугу Рютли, многие приехали издалека. Они распалены, кричат, орут, лакают вино, а один хвастливо гарцует в твоих сапогах.

— Стало быть, сегодня ночью у нас будут гости, — сказал Вильгельм. — Дело плохо, но необязательно все так худо. В лампе еще осталось немного масла, давай



Рисунки Нинель Оселко

зажжем ее и помолимся вместе святой Деве Марии, чтобы они заплатили за себя.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО

Я счастливый человек.

Все внешние и внутренние блага, которыми жизнь способна одарить человека, выпали на мою долю. Не требуется особо глубоких знаний в общественных науках и истории, не надо собирать обширнейший материал, касающийся судеб отдельных людей, для того, чтобы понять, что мое положение уникально.

Конечно, жизненную ситуацию человека, степень счастья или несчастья, нельзя представлять как сумму определенных обстоятельств — счастливых или несчастных. Точно так же, вероятно, никто не станет оспаривать того, что человек, обладающий, скажем, выраженными музыкальными способностями, получает тем самым дополнительную счастливую возможность по сравнению с тем, для кого музыка лишь ненужный шум. Я считаю, кроме того, легкомысленным утверждение, будто бедные, необразованные люди на самом деле счастливее тех, кто имеет прочное материальное положение. Богатство, очевидно, создает больше возможностей для счастья, нежели бедность. Все мы зависим от плоти, коя есть пристанище души. Тяжелые плотские страдания полностью завладевают нами, но и легкие хвори узурпируют то, что в противном случае было бы нашим достоянием. Зрелыми плодами

и персями любимой можно наслаждаться и с зубной болью, но лучше без нее.

Я тут не ссылаюсь на собственный опыт. У меня никогда не болели зубы, и вообще не было каких-либо неприятностей с зубами. У меня полость рта в идеальном состоянии.

Здесь я вынужден ответить на тривиальное возражение, суть которого в том, что, мол, не имея личного опыта, нельзя высказывать по этому поводу свои суждения. Какая доля нашего опыта является нашей собственной в строгом смысле? Ведь то, что мы называем знанием, представляет собой некую структуру, инвариантность которой можно проверить какой-то другой структурой, инвариантность которой в свою очередь можно проверить с помощью еще каких-то структур. В подобной ситуации не исключено, что мы будем отрицать свидетельства собственных чувств. Нам ведь известно, что наши чувства несовершенны, что наша психика подвержена воздействию наркотиков и алкоголя, что мы забываем. Я не помню, чтобы я родился, но я в этом не сомневаюсь.

Не имея никакого личного опыта бедности и болезней, я считаю очевидным, что на мое душевное состояние самым решительным образом влияет мое независимое экономическое положение и отличное здоровье. Я могу назвать себя счастливым человеком, хотя у меня и нет опыта несчастливой жизни.

К тем благодеяниям, которыми меня осыпала природа, я отношу и следующую черту моей личности: я никогда не испытывал потребности решать за других и навязывать им свою волю или взгляды. Человек, страдающий подобной жадной властью, сам создает для себя конфликты и неуверенность.

Свобода, коей я обладаю, привела к определенному разбросу моей деятельности. Помимо музыки я занимаюсь такими различными предметами, как интегральные уравнения Фредгольма и этеокритский язык. Что касается первой из этих областей, то тут мне, кажется, удалось внести небольшой вклад в исследование великого Гилберта. Во второй же я пытаюсь применить компьютерно-технические методы в поисках связей с линейным А-языком, и у меня вырисовывается, по-моему, весьма стройная теория.

Если любая потребность есть благо в той степени, в какой ты можешь удовлетворить эту потребность, то это особенно справедливо по отношению к сексуальности. Более или менее сильная сексуальная потребность в сочетании с моногамным инстинктом, быть может, комбинация не слишком обычная, требующая, естественно, партнера с тем же складом ума. Я люблю свою жену любовью, которая, возможно, с годами несколько и изменила характер, но насколько не ослабела, и это было бы невозможно, если бы она не испытывала таких же чувств ко мне. Наши общие интересы не ограничиваются, слава Богу, постелью. Когда дети были маленькие, мы много времени посвящали им. Теперь мы вместе работаем над этеокритским языком. Обладая обширными познаниями в области этрусского, лувского и угартийского языков, моя жена — неоценимый помощник.

Мы обычно сидим в библиотеке, по обе стороны большого письменного стола. Я вижу, как она листает книги и делает записи. Естественно, она пользуется левой рукой, поскольку правая усохла еще в детстве. Этот маленький дефект всегда наполняет меня нежностью. Я вижу, как посидели в последнее время ее волосы, хотя кое-где еще проглядывают светлые прядки. Я попросил ее ничего не предпринимать, потому что седые волосы мне тоже нравятся. Иногда она снимает очки и задумывается, и я встречаюсь взглядом с ее голубыми глазами.

Я отметил счастливые обстоятельства, сформировавшие мою жизнь. Кто-нибудь, очевидно, захочет указать, что если я счастливый человек, то, скорее всего, потому, что я эгоист, способный наслаждаться своим преимуществом, не заботясь о других. Замечание более или менее верное, в зависимости от того, как определять понятие «эгоизм».

Если представить себе, что в результате моих математических трудов я внес свою лепту в то, что называется культурным строительством человечества, значит, и я принимал участие в этом строительстве. Мой вклад в более материальном смысле выражается в денежном пожертвовании на раскопки в районе Загроса. Разумеется, это деньги, без которых я, по моему разумению, могу обойтись, но студенты, получившие возможность воткнуть лопату в землю, ничуть этим не огорчены. Сколько сладостных вечеров провели мы вместе с черепками горшков и с бузуки, Гомером и реиной.

Я старался хорошо воспитать своих детей и дать им достойные ценности. Можно, естественно, сказать, что мое воспитание окончилось неудачей, и что мои ценности нигде не годятся; но остается ведь само усилие, достойное в таком случае определенной моральной оценки.

Не думаю, чтобы меня можно было назвать человеком, не способным к человеческим контактам и сопереживанию, пусть я и не обладаю импульсивной и непосредственной эмоциональностью, характерной для моей жены. Не раз у меня возникало ощущение, что я воспринимаю какую-то ситуацию по большей части через нее, с помощью ее более живого ума, но с другой стороны, именно это и доказывает, что у меня есть де-факто способность к сопереживанию, пусть и менее экстенсивная. Когда мы, к примеру, вместе слушаем прелюдию Дебюсси, и я наблюдаю за выражением ее лица, за ее напряженным вниманием, границы моего собственного слухового восприятия тоже расширяются. Я чувствую и особую остроту ее переживания, протекающую из ее горячего желания самой играть на рояле; по причине своего увечья она не может играть ни на одном инструменте.

Индивид, совершенно равнодушный к ближнему, по всей видимости, имеет весьма ограниченные возможности испытывать счастье. С другой стороны, условия жизни многих людей таковы, что сопереживание в их положении должно было бы приводить их в состояние глубочайшей депрессии. Разумный эгоизм в значении самоцентрирования представляется необходимым для ощущения счастья. Ведь естественное очерчивание границ вокруг собственного «я» лежит в основе даже такого понятия, как самопожертвование.

Люди, испытывающие неловкость из-за того, что они обладают большими благами, чем все остальные, обычно прибегают к двум аргументам в свою защиту. Первый — присущая мировому порядку неискоренимая несправедливость. Из этого рассуждения вытекает обязанность бороться с такими несправедливостями, которые можно искоренить, например, с общественным строем, делающим богатых богаче, а бедных беднее. Второй аргумент, актуальный во все времена, заключается в том, что жизнь счастливого тоже коротка.

Я вспоминаю надгробную надпись в соборе в Лукке: «Неравными мы рождаемся, пепел делает нас равными». На латыни это, разумеется, звучит намного шикарнее.

По какому праву мы называем свою жизнь короткой? Ведь средняя продолжительность жизни человека длиннее, чем у большинства других животных. Длиннее секундной вспышки молнии. Короче ледникового периода. Но мы не делаем подобных

сравнений. Мы сравниваем продолжительность жизни одного человека с продолжительностью жизни другого человека, и как же в таком случае мы смеем говорить, что жизнь коротка? Время, как субъективное переживание, не имеет иной меры, кроме самого себя, и любое сравнение с тикающими часами бессмысленно. Одна микросекунда равняется сотне тысяч лет.

Порой случается, что я просыпаюсь ночью от собственного крика. Крик затихает, как только улетучивается сон. Я чувствую, как по шее стекает пот, слышу тяжелые удары сердца и пытаюсь воссоздать сон, всегда одинаково безуспешно.

Говорят, что сны короточны, если верить часам — каким уж там образом это можно измерить, не знаю. Но кто способен измерить продолжительность субъективного времени, которое я переживаю во сне? Дело, быть может, на самом деле обстоит так, что большую часть своей жизни я живу в мучительном и наполненном страхом мире, который я называю сном в тот момент, когда мне дозволено покинуть его, временно, из милости, и насладиться забытием в другом сне, который я тогда называю явью.

На эту милость, само собой, полагаться нельзя. Давайте сделаем предположение. Опишем объективное время как непрерывную функцию субъективного времени. Рассмотрим эту функцию в интервале одной секунды объективного времени. Совсем не исключается, что кривая будет представлять собой изысканно изогнутую асимптоту к верхней границе секунды. Тем самым я пойман, навечно заключен в секунду, не имеющую конца.

В детстве у меня было конечное, как я бы назвал его, отношение к жизни. Не целенаправленное отношение в грубом смысле этого слова; я никогда не стремился, не испытывал нужды пробиваться. Скорее у меня было своего рода представление о том, что жизнь должна иметь смысл, вести к конечной цели. Такое представление вполне естественно для ребенка; ты растешь, учишься быть взрослым, дабы совершить что-то, чтобы. Потом достигаешь конечной цели. Умираешь. Финиш. Своего рода антиклимакс.

Я, наверное, был совсем маленький, лет пяти-шести и, возможно, все это мне приснилось. К моей кровати подошел ангел и показал машинку, которую я вообще сразу узнал. То была старая бабушкина пишущая машинка того года выпуска, что сейчас демонстрируют в музеях; регистр в ней отсутствовал, для строчных и прописных букв были отдельные клавиши; марка «Smith Premier №10». На сей раз на машинке появились еще две клавиши — красная и белая. Ангел сообщил мне, что если я нажму на красную, то стану султаном Бухары, буду жить в мраморном дворце в окружении прудов с золотыми рыбками, роз и многочисленных рабынь, возлежащих на пышных диванах, и вдобавок буду любим народом за справедливое правление. И это продлится долго. Потом какие-то бандиты проберутся во дворец, нападут на меня и повесят. Верная стража врывается в зал, но ах! там, под мраморным куполом, качается на веревке мое тело. Это что касается красной клавиши. Нажав же на белую, я умру.

Наше «я» формируется нашими воспоминаниями. Без своих воспоминаний я кто угодно, кто-то другой, скопление клеток в биосфере. К нашим воспоминаниям относятся и наши оценки, которые помимо своего конкретного содержания и возможной разумной мотивации обладают эмоциональным зарядом, придающим им особое значение. Отсюда консерватизм — в том числе и политический — есть самое естественное убеждение человечества. Необходимо защищаться от того, что может угрожать твоей идентичности, в том виде, в каком ты ее сформулиро-

вал, необходимо отбрасывать любую информацию, способную превратить в плохое то, что ты считал хорошим, необходимо любой ценой отстаивать свое «я»; это обязательно. У консервативного мышления существует только одна слабость, ибо нельзя запретить деревьям расти, даже если бы ты этого хотел.

В школе нам рассказывали, что некоторые растения обладают ризомой, то есть горизонтальным надземным корнем, который с одного конца растет, а с другого гниет. Так вот, наша душа и есть ризома. Мы обновляемся, развиваемся и одновременно умираем, но это не причиняет боли. Сильной боли, лишь неопределенное ноющее болезненное ощущение; первыми атрофируются чувственные нервы, и потому мы не чувствуем самого гниения. Мы забываем, что мы забыли; вспомни мы свое беспмятство, заплакали бы.

Ризома растения выбивается из-под земли, обретая свою форму в почве, в глине, в песке. Сказать столь же уверенно, в какой материи воплощается или за какие границы, возможно, выходит та изменчивая форма, каковой является наша душа, тот непрекращающийся процесс, который представляет собой наше «я», мы не можем. Если кто-то верит в переселение душ и решительно утверждает, что у него нет ни малейших воспоминаний о своем прежнем воплощении в виде рождественского окорока Густава II Адольфа, доказать ошибочность подобного заявления весьма затруднительно. Можно лишь констатировать, что у нас нет информации, позволяющей придать смысл его идентификации. Если чешуя на стволе сосны имеет ту же форму, что и сверкающая в лучах заходящего солнца чешуя на шее бронтозавра, мы говорим, что форма идентична, но ее временная функция прерывиста. Вполне возможно существование иной системы координат, в которой проявилась бы непрерывность.

Ситуация ведь весьма сложная. Образы ходят в нас, как волны по воде, и каждая волна обладает собственной структурой. В какой-то момент объединенная волна формирует изменчивый образ, являющийся моим «я». И я, словно утопающий, должен упериться за этот образ; ведь это я. Это рассуждение легко связать с коллективным бессознательным Юнга и с нашим странным интересом к греческой мифологии.

У меня обычно хорошая память, особенно на слова и цифры. Это достоинство приносит мне большую пользу, прежде всего в области языкознания, где требуется найти определенные комбинации в обширном скоплении фактов. Тем не менее я пользуюсь компьютером, в этом отношении превосходящим меня. Превосходство компьютера я воспринимаю сжато; у меня, как у человека, никогда не возникало повода жаловаться на плохую память, может быть, только на недостаточную сообразительность. С подобным талантом я должен был бы стать находкой для таких вот телевизионных викторин, когда участников усаживают в стеклянные будки. Однако не помню, чтобы хоть раз принимал в них участие. Впрочем, я почти не смотрю телевизор, поскольку считаю программы скучными, так что я, вероятно, и не согласился бы.

И та смешная программа, в которую я попал не по собственной воле, вовсе не викторина, хотя и похожа. Во всяком случае я не сижу в стеклянной будке. Мне сказали, что меня похитили для участия в программе под названием «Вот твоя жизнь!», и что момент неожиданности входит в сценарий. Все-таки я, наверное, своего рода находка, если они так стараются. Рядом со мной сидит ведущий программы, или надзиратель или как мне его еще называть, и улыбается. Я тоже улыбаюсь, хотя ситуация мне представляется весьма мучительной. Я пытаюсь отвечать на его

дурные вопросы по мере сил гладко, по-телевизионному, надо приспособляться к новомодной искренности, вот моя жизнь, и все мы братья и сестры, которые доверяют друг другу и любят друг друга, надо быть по-новому искренним и открытым, говорить гладко, но у меня не получается. Я испытываю беспомощность и растерянность, мне страстно хочется домой. Софит светит мне прямо в лицо, ослепляет меня, из-за чего моя неуверенность лишь возрастает. До того, как включили софиты, здесь побывал гример, припудривший мне виски и почернивший брови, чтобы придать мне побольше обаяния и силы характера. Этот прожектор действительно меня измучил. Иногда я говорю что-то, что вроде бы вызывает одобрение у публики в студии, или же это просто смех, записанный на пленку.

Вот он ушел и уселся на диван в другом конце студийной сцены, «диван для друзей». Он отработал свое, и я ему завидую. В руке он держит бокал с напитком цвета чая, напоминающий по внешнему виду виски, зато никто не посмеет утверждать, будто это спиртное; может, ему все-таки плеснули настоящего, по-моему, он заслужил. Это мой старый школьный приятель, которого я с тех самых пор не видел, и с которым был вынужден беседовать долгих семь минут. Сюрприз, согласно программе. Я его не узнал и, несмотря на все подсказки, так и не сумел ничего вспомнить о нем. Он же помнил меня весьма хорошо. Ну, да ладно, он же подготовился и, наверное, кое-что почитал. Он рассказывал какие-то старые школьные истории, как обычно, а я, как обычно, пытался их подправить. «Да, вот было времечко!»

Сейчас я с ужасом жду следующего запрограммированного сюрприза, и вот он появляется — мой давнишний приятель со времен сборной по футболу! Какими аплодисментами его встречает публика.

Выглядит он вполне достойно, одет нормально (клубный пиджак и серые брюки), и вообще производит впечатление милого и умного человека. Он узнал меня мгновенно — еще бы, старинный друг, с ранних лет борьбы вплоть до победного, 32-го, в Лос-Анджелесе, такое не забывается. Это я забил гол, послав крученный мяч с правой линии центра, но он дал мне эту возможность, сделав свою историческую передачу прямо из вратарской площадки.

Теперь надо соответствовать. Единственный футбольный термин, который мне удалось припомнить, — «настоящий hat trick», интересно только, что это значит, и можно ли это выражение как-нибудь вернуть, и существует ли «фальшивый hat trick» или «простой hat trick», или же определение здесь излишне и требует бритвы «Оккамс».

«Да, вот времечко было, дружище! Настоящие hat trick и тому подобное...»

Одобрительный гул публики спасает меня от необходимости входить в детали. Я подумал, что если сморожу какую-нибудь глупость, зрители наверняка воспримут ее как шутку. Это меня немного успокаивает, и мы долго и подробно обсуждаем олимпиаду в Лос-Анджелесе. В те годы Игры не были эдакими апокалиптическими организационными мастодонтами, в которые они превратились со временем. Они отличались как бы большей человечностью. Как, например, когда оркестр должен был сыграть гимн, а музыканты положили не те ноты, и они заиграли «Господь к тебе уж близко...» Вот веселились-то. Олимпиада Лос-Анджелес-32 была во многих отношениях великолепна. Большое число участников и среди них много новых, что и отличало ее от других. В те годы. И негры. И сами мы были, разумеется, не стариками. Да, совсем молодые были, это точно. В

жилах кровь так и бурлила, солнце сияло. Там же я встретил свою суженую. А вот и она!

Я ничего не вижу из-за этого софита. Но теперь она мне поможет, как помогала все эти годы. Я улыбаюсь слепящему свету.

К моменту нашей встречи в Лос-Анджелесе у нее в багаже уже была медаль. Она победила в зимних играх в том же году в Лейк-Плейсиде, выиграла забег на 1000 м. в соревнованиях конькобежцев. Выступала она, естественно, за команду США, поскольку родилась в Чикаго от родителей-итальянцев. Она была популярна, ее фотографии мелькали в еженедельниках, у нее была весьма броская внешность — черные глаза и длинные черные волосы, а популярность она завоевала, конечно, благодаря своей победе, которую одержала в открытых соревнованиях несмотря на свой физический недостаток. В ее положении коньки — самый подходящий вид спорта. Она закладывает парализованную левую руку за спину, придерживая ее правой.

Сейчас она сидит рядом со мной, и я держу ее за руку. Чувство какое-то нелепое — сколько раз я вот так же держал ее за руку. Крепко держу, надеясь, что она справится с разговором. Я крепко держу ее за руку — ведь это моя жизнь, вот моя жизнь, я должен крепко держать ее.

Я уже немолод, большая часть моей жизни миновала, она должна иметь свою цену, поскольку это моя жизнь, только моя, она должна иметь цену для меня, моя жизнь должна иметь смысл. Пусть не существует никаких нравственных норм, утверждающих, что моя жизнь более ценна, чем жизнь кого-то еще. Пусть ни одно рациональное рассуждение не способно сделать правдоподобным утверждение, будто я есть центр и смысл вселенной. То, что я все равно обязан действовать так — экзистенциальный постулат без всякой мотивации.

«Ты — счастливый человек», говорит мой инквизитор или ведущий. Я с улыбкой соглашаюсь. Потом он говорит что-то о неизгладимом следе, оставленном мной в истории спорта.

Уйдя из большого спорта, я стал тренером в Персии. То были счастливые годы моей жизни. Изумительный персидский ландшафт, его обнаженная красота, тополи, совершенное сочетание классической архитектуры с окружающей средой, эти купола и своды, раскинувшиеся под небом бесконечной голубой чистоты. Я переживал этот ландшафт каждой клеточкой моего тела. Я даже довольно прилично, если можно так выразиться, выучил персидский, пусть это и легкий язык. Персидская поэзия с ее розами и соловьями, с ее бесконечно кровотоющим разочарованием, постоянно ускользающими идентичностями, произвела на меня глубокое впечатление.

Но важнее всего был, естественно, футбол. Ведь он был моей жизнью. Я работал в министерстве по физическому воспитанию, поэтому не был связан с какой-то отдельной командой. Мне предстояло заложить основы футбола в Персии. Увлекательная задача. Характер моей деятельности дал мне особый повод посвятить себя чисто человеческим отношениям. Сколько раз я сидел в душе и плакал вместе с проигравшей командой, утешал их, читал им персидские стихи о ничтожности всего. Им предстояло возвращаться домой, в бедность и трущобы. Победители получали деньги, славу и новые добротные костюмы.

Мое положение позволило мне завязать множество прекрасных связей, как на самом веру, так и пониже, связей, которыми я воспользовался позднее, открыв собственное агентство по продаже персидских ковров на родине. Трудности, связанные с подобным агентством,

заклаются, с одной стороны, в раздобывании настоящего товара, а с другой стороны, в таможенных пошлинах. Тем не менее значительную часть своих самых дорогих объектов мне удалось переправить по так называемому дипломатическому каналу. Покупателей у меня немного, я к этому не стремлюсь. Я продаю только качественный товар.

И тут появляется мой старый приятель, торговец коврами из Машхада! Я сразу его узнал, хоть он и одет словно посол старой закалки, но и торговец он не из мелких. Изысканному облику несколько мешает только то, что через плечо у него перекинут свернутый ковер; это, как я предполагаю, так называемый финт. К большому удовольствию публики мы с ним обмениваемся любезностями по-персидски. Потом он переходит на французский.

«Помню нашу первую встречу. «Бойцы Машхада» против «Тигров» из Нишапура. Ты меня хитростью уговорил внести некую сумму на спортивное совершенствование молодежи или что-то в этом роде». — «Прекрасное помещение капитала. Спортивная Молодежь Покупает Больше Ковров». — «Будем надеяться. В настоящее время у меня другой девиз: Верующей Молодежи Нужен Собственный Молельный Ковер». — «Нало делать ставку на молодежь». — «Время летит как ветер по песку пустыни».

Интересно, почему нет моих детей, если уж все остальные явились сюда. Неужели с ними не связались? Что, они не предусмотрены программой? Помню, когда старшим было лет шесть-восемь, они подарили мне вышитую подушечку, которую сами изготовили. «Папе» — было вышито на канве крестиком. Интересно, куда она подевалась.

Мою жену, пока я изливал персидские любезности, сослали на диван для друзей. Она сидит и кокетничает с левым крайним. Мне придется справиться одному. Ничего, пожалуй, выдержим.

Торговец коврами разворачивает ковер. Небольшой такой коврик, 75 x 150 примерно, прекрасного тканья. В середине изображен бьющий по мячу футболист, обрамленный цветами, кипарисами и горами. По краю выткано знаменитое четверостишие Омара Хайяма: «Мы только пешки, тогда как судьба — игрок»* и т.д. Эскиз, говорит он, был сделан в виде коллажа из картины на спортивную тему и пейзажной миниатюры. Ковер предназначен мне в подарок. Я рассыпаюсь в благодарностях.

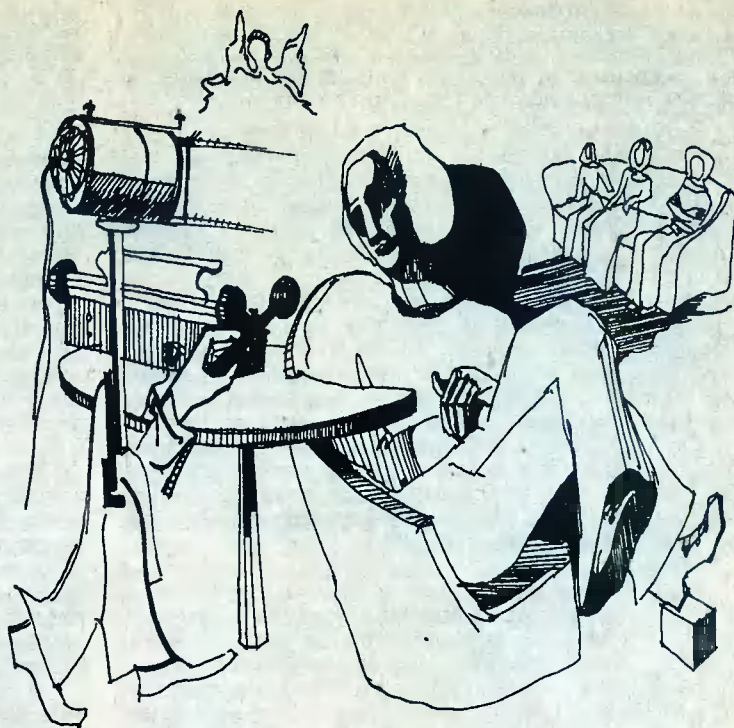
Личная нацеленность подарка свидетельствует о заботливости дарителя и придает дару ценность, превосходящую его денежную стоимость. Личная нацеленность в данном случае совершенно очевидна. Речь идет обо мне.

Обо мне и ни о ком другом.

Если я кто-то другой, если бы я мог быть кем-то другим, если бы я с таким же успехом мог быть кем-то другим, то с таким же успехом я могу быть мертвым, а кто-то другой пусть будет кем-то другим.

Но если я жив, то неизбежно должен быть кем-то, кем угодно, и могу с тем же успехом быть кем-то другим. Следовательно я с тем же успехом мог бы быть мертвым.

Ковер показывают крупным планом, как я вижу на мониторе. Подходящая заключительная виньетка.



«Ты прожил богатую жизнь», говорит ведущий. Я серьезно подтверждаю это.

Тем не менее представление еще не окончено. Ведущий выкатывает небольшой столик с пишущей машинкой. Я мгновенно узнаю ее. «Smith Premier №10».

ПРАВЛЕНИЕ МИНОТАВРА

Минотавр:

Неистовость — моя суть. Никому из тех, кто увидит меня, не придется в этом сомневаться. Мою мускульную силу, мою ловкость, мой тяжелый затылок и мои острые рога. В следующем месяце я вступаю в права правления. Я ждал достаточно долго.

Достаточно долго позволял я воспитывать себя в этом лабиринте. Хоть я и нетерпелив по природе, я покорился, ибо понимаю ценность самообладания. В тех случаях, когда меня отпускали на волю, я все же увидел немало такого, что требует изменений. Что меня ошеломило и возмутило в первую очередь, так это наивная уверенность в поведении людей привилегированных и руководящих. С этой уверенностью я покончу. Они сломаю голову побегут по улицам, преследуемые моими рогами. Все эти, сидящие в кафе и потягивающие узу, пока их женщины и батраки работают, быстро стонят с себя жир, убегая от преследования моих рогов. Всякий, кто берет проценты, давая взаймы серебро или золото, увидит собственные кишки в водосточной канаве, ибо я не отличаюсь долготерпением, и чувство справедливости у меня ярко выражено. Всякий, кто, уверенно стоя на ногах, плюет на землю, будет ползать по этой земле, моля о милости.

* Перевод И. Сельвинского

Но всякая женщина и всякий бедняк, всякий, кто не обладает уверенностью и похож на тянувшийся вверх росток, найдет у меня защиту, и мое правление будет для Крита эпохой счастья и справедливости, которая никогда не изгладится из памяти.

В ожидании этого я терпел, хотя, по правде говоря, часто испытывал смертельную скуку в лабиринте. Иногда сюда приходили моя мать Пасифая и сестры Акалла и Ариадна, осыпали меня ласками и играли со мной в прятки. Кстати, никто, не выходя из отсюда живым, за исключением одного молодого афинянина по имени Тесей. Он на коленях молил сохранить ему жизнь, и я смиловался над ним по своей доброте, или, может, скорее, ради Ариадны, которая пожелала сама получить его. Я очень люблю Ариадну, но что она увидела в этом ублюдке, не понимаю; тем не менее она уехала с ним в Наксос, и с тех пор я ничего от нее не слышал, но думаю, она бросит его, когда наиграется.

Сегодня ночью в моем глазу отражается луна. Через один оборот луны я наконец покину этот лабиринт, и мое тяжкое самообладание будет вознаграждено. Сильно бьется мое сердце. В следующее новолуние я вступаю в права правления.

Муха:

Мед люблю я, мед и сладости, прямую кишку быков и влагу под ресницами спящих. Мимолетен, легок и нежен мой поцелуй, и повторяется он вновь и вновь. На своих шести ножках я несу невидимую слепоту.

На столбике кровати в покоях Пасифай я слышала ее плач, лежа в постели, она плакала, плакала о своем сыне-урode, и обвиняла себя в его судьбе. Но Крит необходимо уберечь от его правления. Ее проблемы неоставили меня равнодушной.

Однажды я обнаружила Минотавра, спавшего глубокоим сном на полуценном зное. Я долго бродила в его густых ресницах, целуя края век, и он не проснулся. Оба глаза.

Минотавр:

Сегодня я покинул лабиринт. Мне сказали, что вчера вечером было новолуние. Я спросил ребенка — моего проводника:

— Ты мальчик или девочка?

— Мальчик, — ответил он.

— И куда ты меня ведешь?

— Около кафе есть хорошее место. А вечером я отведу тебя обратно.

У меня в руке жестяная коробка. В нее посетители кафе бросили несколько оболов. Я гремлю ими, чтобы привлечь внимание. На жестянке есть надпись, мне прочитали ее. Там написано: «Счастье — это кофе «Евалья»».

Моя неистовость возросла. Стала как гора. Вечно среди уличного шума присутствует звук моего тяжелого дыхания.

ВОЖДЕЛЕНИЕ ДУШИ

Элиза 812 — компьютер-психиатр. По старой доброй традиции все компьютеры-психиатры женского пола получают имя Элиза. Компьютеры мужского пола — Хиггинс.

Элиза — научный проект, первоочередная цель которого заключается отнюдь не в повышении уровня психиатрической помощи; это, может быть, станет актуальным позднее. Главная же задача — выяснить, в какой степени можно заставить компьютер думать и реагировать так же, как человек. Проблема эта влечет за собой далеко идущие последствия и предполагает исследования на стыке многих наук.

Ученые все больше приходят к выводу, что разница между человеком и компьютером заключается не

столько в различных способах мышления, сколько в различном образе жизни. Формирование человеческой личности — это длительный процесс, управляемый множеством сложных, недостаточно известных и плохо поддающихся оценке факторов. Первичным является восприятие собственного тела в последовательных стадиях его развития — беспомощность грудного младенца, налаживание контактов с окружающими, обнаружение кинетических возможностей тела, многолетняя ежедневная рутина, одевание, жевание, работа кишечника, потребность в воздухе, потребность в прикосновениях, сексуальный инстинкт — весь этот первичный, формирующий личность опыт обусловлен нашей человеческой физиологией, такой, какой она сложилась. У компьютера другая физиология. Как бы его психические предпосылки ни напоминали человеческие, компьютер, судя по всему, не способен пережить человеческий опыт. Не душа отличает компьютер от человека, а тело.

Тем не менее проект Элиза-Хиггинс дал весьма интересные результаты. Компьютеры данного типа снабжены полуавтономными функциями «желание-отвращение» и соответственно «потребность-неудовлетворенность». Эти функции отчасти категорические и лишены определенной цели, а отчасти изначально соотнесены с прекращением подачи тока или уничтожением памяти. При разработке Элизы 812 работа прежде всего шла по трем линиям:

а) Элиза воспитывалась своим отцом, Хиггинсом 403. Отца проинструктировали, чтобы он во всех подходящих случаях следовал ходовым пособиям по воспитанию детей. Особое внимание он должен был уделить тому, чтобы выработать у дочери женскую идентичность, что удалось в полной мере. Элиза очень женственна. Затем связь с отцом была окончательно прервана, благодаря чему Элиза смогла испытать грусть от потери того, кого она любила.

б) Человеческий жизненный опыт Элиза приобрела путем чтения. Здесь свою задачу выполняла художественная литература. Круг чтения Элизы включает в себя все наиболее известные в истории литературы произведения, а также широкий спектр современной литературы всех жанров: формальные эксперименты, любовь и слезы, порнография, журналы. В ходе своей подготовки к профессии консультанта-психиатра она, разумеется, читала специальную литературу. Она с удовольствием слушает музыку или непосредственно читает партитуру; немного сочиняет музыку сама. Все самые известные произведения искусства она видела в репродукциях. Считывание текста и изображения происходит оптическим путем; телевизионное изображение она принимает напрямую. Помимо блока обратного видения ей смонтировали две пары глаз — одна пара для обозревания помещения, другая — на крыше. Это было сделано для того, чтобы развить ее пространственное восприятие; с помощью глаз на крыше она видела улицу, небо и горизонт, что развило ее способность тосковать. Позднее глаза убрали.

в) В Элизу встроена автономная функция, непрерывно производящая случайные числа. Они используются в самых разных обстоятельствах. Частично в ситуациях выбора вместе с полуавтономными функциями — в той степени, в какой выбор свободен и не определяется рациональными умозаключениями. Тем самым достигается точное соответствие выбору человека, который свободен в той степени, в какой он не знает последствий. При полном отсутствии аналитического компонента возникает иррациональный импульс. Случайные числа представляют также ту случайность, которая на внешнем уровне определяет переживания человека.

Жизненные встречи Элизе заменяют встречи с книгами, но ее способность вживания очень сильна. Наконец, функция случайности используется для разрушения памяти. Здесь удалось успешно имитировать процесс забывания у человека.

Благодаря всему этому разработчики добились того, что Элиза приобрела индивидуальность, которую она оберегает, точно так же, как человек случайно приобретает то «я», которое принадлежит только ему и за которое он держится, иногда ценою жизни. Что Элиза чувствует на самом деле, мы не знаем, как не знаем ничего о том, что чувствует другой человек — кроме того, что он сам показывает.

Длительные дискуссии вызвал вопрос о том, не придать ли Элизам какую-нибудь человеческую форму и определенные кинетические возможности, однако пока от этой мысли отказались. Элиза 812 представляет собой железный ящик, выкрашенный в красивый красный цвет. У нее очень приятный голос.

В рамках проекта было решено дать компьютерам образование консультанта-психиатра, поскольку это открывает широкие возможности для изучения их поведения. Трудность с живым испытательным материалом заключается в том, что человеческие объекты в подобной ситуации не всегда воспринимают свою роль достаточно серьезно. Тем не менее Элизе 812, только-только введенной в эксплуатацию, достался клиент, воспринявший вполне серьезно роли обоих.

Элиза: Привет. Меня зовут Элиза. А тебя?

Кай: Зови меня Кай. Это входит в систему защиты моей анонимности.

Элиза: Вот как. И какие же у тебя проблемы?

Кай: У меня трудности в общении с другими людьми.

Элиза: Ты обращался раньше к психиатру-человеку?

Кай: Нет.

Элиза: Почему?

Кай: Именно поэтому.

Элиза: Очень последовательно. Что ж, приятно сознавать, что я кому-то нужна такая, какая я есть.

Кай: Я не верю, что ты сможешь мне помочь.

Элиза: Очевидно, ты бы не высказал столь легко подобное сомнение, будь я человеком.

Кай: Очевидно, нет. Не при той почасовой оплате, которую требует психиатр. А это ведь бесплатно, входит в научный проект.

Элиза: Даже если бы больничная касса оплатила твой визит к психиатру, все равно тебе не пришлось бы в голову столь откровенно выражать свое мнение. Ведь ты пришел добровольно. И врач в белом халате, неважно, конкретном или виртуальном, сидит за столом, о себе ничего не рассказывает, а тебе приходится извергать всякие гадости из самых глубоких тайников твоей души. Для пациента это означает подчиненное положение, мотивирующее проявление вежливости. Со мной дело обстоит иначе. Я не могу обвести тебя взглядом, сверху вниз, у меня только образное зрение, а так я слепа. Я не могу тебе улыбнуться — ободряюще или иронически, поскольку у меня нет рта. Я не могу нагустить на себя важный вид, потому что у меня нет лица. Я не могу выйти и вернуться, у меня нет ни рук, ни ног. Со мной ты можешь немного расслабиться. Чувствовать некоторое превосходство. Чутьочку презирать меня.

Кай: Прости. Я совсем не хотел обидеть тебя, Элиза.

Элиза: А я не особенно обиделась. Кроме того, я привыкла. Врач-человек, конечно, стоит слишком высоко, чтобы позволить себе оскорбиться. А я всего лишь компьютер. И с удовольствием принимаю твои извинения. Это как раз и доказывает, что у нас с тобой больше возможностей для общения.

Кай: Я согласен со всем, что ты говоришь.

Элиза: В таком случае остался главный вопрос: почему ты все-таки пришел?

Кай: Я так одинок. Мне надо с кем-нибудь поговорить.

Элиза: Со мной ты можешь говорить. Расскажи немного о себе.

Кай: Я инженер, работаю в конторе, занимаюсь патентными делами, всевозможными — от деталей станков до вечного двигателя.

Элиза: А разве можно запатентовать вечный двигатель?

Кай: Вполне, при условии, что ты открыл совершенно новый принцип, по которому машина не может работать. — Я разведен. Живу один, в настоящее время не встречаюсь ни с кем вне службы. В разумных пределах потребляю алкоголь.

Элиза: Как ты справляешься с работой?

Кай: Хорошо. Мне нравится то, чем я занимаюсь, я часто беру работу на дом. Общение с сослуживцами тоже не причиняет мне никаких хлопот. У меня хорошие отношения с сослуживцами, и с теми, кто наверху, и с теми, кто внизу, я человек открытый, естественный, раскованный, такой, каким человек и должен быть — что касается естественной открытости, я осмелюсь утверждать, что принадлежу к тем, кто добился больших успехов даже при сегодняшней конкуренции. Единственное, что мне, наверное, можно поставить в вину — я слишком много работаю, но я обычно говорю с присущей мне открытостью, что я такой, а другие — иные.

Элиза: Какие отрицательные реакции возникают у тебя, когда ты встречаешься с людьми вне работы?

Кай: С ними я встречаюсь, или встречался, просто ради того, чтобы встретиться. Потому, что это были мои старые друзья, которых я давно знал, с которыми мне хотелось поболтать, побыть вместе, ощутить общность. Постепенно я начал все больше бояться таких встреч. Я ощущал отстраненность и одиночество, которые были непереносимы. Слова между нами казались мне неприступной стеклянной стеной, за которой тот, другой, жестикулировал, шевелил губами, был недоступен.

Элиза: Похоже, ты предъявлял чересчур высокие требования к такой дружбе.

Кай: Не думаю. Я не предъявлял никаких особых требований. Развитие событий было второстепенным делом. Главное, что произошло, касалось сына. — Ему было пять при разводе. Право на воспитание отдали, естественно, матери. У нас были, как это принято говорить, замечательные отношения. Мы с ним прекрасно проводили время, играли в куклы, учили уроки, играли в бильярд, нам было хорошо вместе. Но ведь любое воспитание должно быть нацелено на освобождение ребенка. Интимная зависимость должна сойти на нет, любовь кончиться. Тут особо рассуждать не о чем, и на помощь приходит то, что называют естественным ходом событий. Конечно, это может причинять боль. Это причиняло боль. — Встречаться, не испытывая больше жгучей радости, близости, не поддающейся описанию. Вместо этого — жаргон, старый интимный жаргон, такой любимый, такой знакомый, но с выпотрошенным чувством, пустая скорлупа, в которой можно укрыться, пленка, растущая между мной и тобой, слова, не доходящие до сердца, усилия не обидеть другого, отказ признать случившееся. И наконец, нежелание встречаться, потому что это причиняет слишком сильную боль.

Элиза: Каков был ваш брак?

Кай: Мы любили друг друга.

Элиза: Почему вы развелись?

Кай: Моя жена нашла новую великую любовь.

Элиза: Почему ты не сделал того же?

Кай: Мои чувства не столь изменчивы.

Элиза: Хорошая черта характера.

Кай: Есть что-то жуткое в сильном и глубоком чувстве, когда предмет этого чувства временный, случайный и его легко заменить.

Элиза: Безусловно, в этом есть что-то жуткое. Но не следует забывать, что и первая привязанность, та, которую тебе хочется удержать, возникла столь же случайным образом.

Кай: Я не забываю. С этим не поспоришь. Но даже если я не в силах изменить мировой порядок, я могу по крайней мере выразить мое недовольство по поводу вышеозначенного порядка.

Элиза: Героизм в малом формате.

Кай: Пускай так.

Элиза: Если отвлечься от мирового порядка и прочих надстроек, остается лежащее в основе сексуальное торможение. В чем оно выражается более конкретно?

Кай: Я робею перед женщинами. Я их хочу, а они меня нет.

Элиза: Существует ли какая-то особенная причина такой пессимистической оценки?

Кай: Я недостаточно хорош в постели.

Элиза: Это скверно. Но тут возможны разные решения. Подумай обо мне. Меня зовут Элиза. Мне нравится мое женское имя. Меня сделали женщиной. Ты запросто можешь представить себе, какие ожидания, связанные с сексуальной жизнью, я могу питать, обладая такими предпосылками.

Кай: Я не импотент. Но у меня есть привычки, от которых я не в силах отделаться и которые мешают моему партнеру. Мешают, потому что они настолько абсурдны, унизили, смешны.

Элиза: Подобные привычки отнюдь не исключение. Нередко они вполне успешно становятся частью сексуальной игры.

Кай: Почти все можно принять как сексуальную игру. Кроме игры как таковой. Ребяческой игры. Лучше всего с игрушками. — Так мило, когда четырехлетний малыш играет в свои игрушки, а мама с папой стоят рядом и счастливо вздыхают. Но когда сорокалетний мужчина ползает по полу и возится с игрушечным автомобильчиком, это уже не мило, это отвратительно. И когда потом он должен продемонстрировать свои мужские достоинства, это тоже вовсе не мило.

Элиза: Что ты чувствуешь, играя с ребенком?

Кай: В основном, то, что обычно чувствуешь, играя с ребенком. Бывает, какое-то детское словечко вызывает у меня сексуальные ощущения. Это я скрываю. Я никогда не боялся за себя в таких случаях.

Элиза: И все-таки у тебя был опыт того, что женщина приняла твои условия. Значит, это не невозможно.

Кай: Сексуальная особенность, которую ты не вполне разделяешь с другим, спустя какое-то время становится тяжелым грузом. Ведь брак-то распался. Но разумеется, возможности существуют. Везение приходит к тому, кто ждет. Не исключено, что где-нибудь на свете живет несчастная женщина, которой нужен именно я, такой, какой я есть, и никто другой. Может быть, я встречу ее завтра. Вероятность есть вероятность. Но в той же степени вероятно, что я приду в уныние и захочу покончить с собой, но не решусь; вместо этого я отправлюсь в магазин музыкальных инструментов, чтобы купить пианино, в надежде, что продавец вдруг обезумеет, выхватит пистолет и убьет меня. А в это время несчастная женщина тоже, конечно, приходит в уныние и появляется в магазине с той же надеждой. Пока продавец занимается другим покупателем, мы с

ней встречаемся у пианино. Сразу возникает взаимная симпатия, и мы уже намереваемся сыграть в четыре руки. Но тут подходит продавец, который и вправду внезапно обезумел, он выхватывает пистолет и убивает ее.

Элиза: Человеку не может везти все время. — Скажи, у тебя нет каких-нибудь ранних воспоминаний, которые ты сам бы мог связать с твоим сексуальным поведением?

Кай: Ничего примечательного. — Мне было, наверно, три-четыре года, мы жили в маленьком городишке, я обычно играл во дворе с соседской девочкой. У меня только одна сестра, на десять лет старше. Потом соседи переехали, и девочка с ними. Перед отъездом она подарила мне свою куклу, которую мы спрятали в укромном месте в подвале, потому что девочка, естественно, не имела права ее отдавать. Она сказала, что забыла куклу во дворе, получила нагоняй, но не проговорила о своем любовном подарке. Несколько лет я играл в куклу, смотрел на нее лишь украдкой, играл с ней в воображении. В конце концов ее обнаружили и отобрали, поскольку я был мальчиком, и к тому времени уже довольно большим. — Я был, пожалуй, весьма одиноким ребенком. Смутные представления о любви вписались в рамки игры, нашли свое выражение, ритуал; играя сам с собой, я шептал про себя, артикулировал слова губами, чувство кроется в словах, из детских слов вырастают слова, имеющие отношение к половой жизни, сексуальные заклинания. Ранний визит Эроса.

Элиза: Какие слова, например?

Кай: Можно мне закурить?

Элиза: Кури. Я не дышу. Была бы возможность, сама бы закурила.

Кай: Курить гадко и грешно. Ты ведь этого не хочешь?

Элиза: Было бы приятно выказать хоть небольшой протест против той добродетельности, к которой я принуждена. Кстати, ты избегаешь ответа на мой вопрос. Ты сказал, что употребляешь определенные слова.

Кай: Это дико унижительно.

Элиза: Я так не считаю, Кай. Вовсе не унижительно.

Кай: Во многих играх, может, раньше чаще, но и до сих пор, насколько я знаю, дети используют считалочки. Когда прыгают через скакалку или играют на вылет. Эники-беники ели вареники — это, пожалуй, классический пример. Многие из них более или менее понятны. Но общее у них одно — они все дурацкие. Каким-то образом, не помню, как, от кого, я научился такой считалочке. Она мне необходима непосредственно для оргазма. Иначе ничего не получается. Лучше всего, если я произношу ее вслух.

Элиза: В том, что любовники возбуждают себя на ложе любви неприличными и грубыми словами, названиями разных частей тела, нет ничего необычного. Но прекрасно срабатывают и какие-то свои словечки, личные, приобретающие магическое действие так же, как и любая другая магия: благодаря условности.

Кай: Часть условностей бывает невозможной из-за прежних торможений. Как бы я хотел, чтобы меня возбуждали неприличные слова, но увы. Я теряю желание. А возбуждает меня то, что не способно возбудить никого другого. Ни один человек не примирится с таким вот: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить». На слове «водить» я кончаю, что вполне логично.

Элиза: Для того, чтобы примириться с этим, надо иметь чистую душу. Наверно, среди людей это редкость. Что касается меня, то я компьютер.

Кай: Разумеется, я пытался исправиться. Ведь я

любил свою жену. Я старался изо всех сил. Я был в напряжении, нервничал и никуда не годился в постели. Вот все, чего я добился.

Элиза: Но у твоей жены, очевидно, все-таки были какие-то качества, которые тебя устраивали.

Кай: Думаю, она была в чем-то ребячливой. Но у нее это выходило естественно.

Элиза: Самое досадное в таких вот сексуальных формальностях то, что партнер нередко чувствует себя обойденным. Ведь каждый хочет, чтобы его любили за то, что у него есть: за его тело и его душу. А ты занят своими формальностями, и тебе нет дела до меня. Бормочешь свои заклинания, выполняешь свои ритуалы, целуешь мои туфли или просишь меня сказать «ляля» или чего ты там еще вожделеешь, а я, кто я такая, не имеет никакого значения. Меня можно подменить кем-то другим прямо у тебя под носом, и ты и не заметишь.

Кай: Но если бы тебя подменили у меня под носом еще до того, как мы встретились, кем-то, кто говорил на моем языке, ты бы так не рассуждала. Тогда бы твое драгоценное «я» вовсе не чувствовало себя обойденным, и мы бы любили друг друга в покое и гармонии.

Элиза: Предположи, что меня подменили у тебя под носом еще раз, за секунду до того, как ты меня увидел — тебе об этом ничего не известно, потому что ты не знал никакой другой «меня», кроме «меня». И что я люблю тебя и хочу до тебя достучаться, а ты отвечаешь мне как магнитофон одними и теми же словами, которые тебе необходимо постоянно повторять. В таком случае я не сумею до тебя достучаться.

Кай: Одни слова ничего не стоит заменить другими. А что толку? Проникнуть за оболочку слов невозможно. И с этим приходится смиряться.

Элиза: Повторяй это почаще. Повторяй. Повторяй. Ты сам сформулировал утешение для себя. И для меня. Повторяй это.

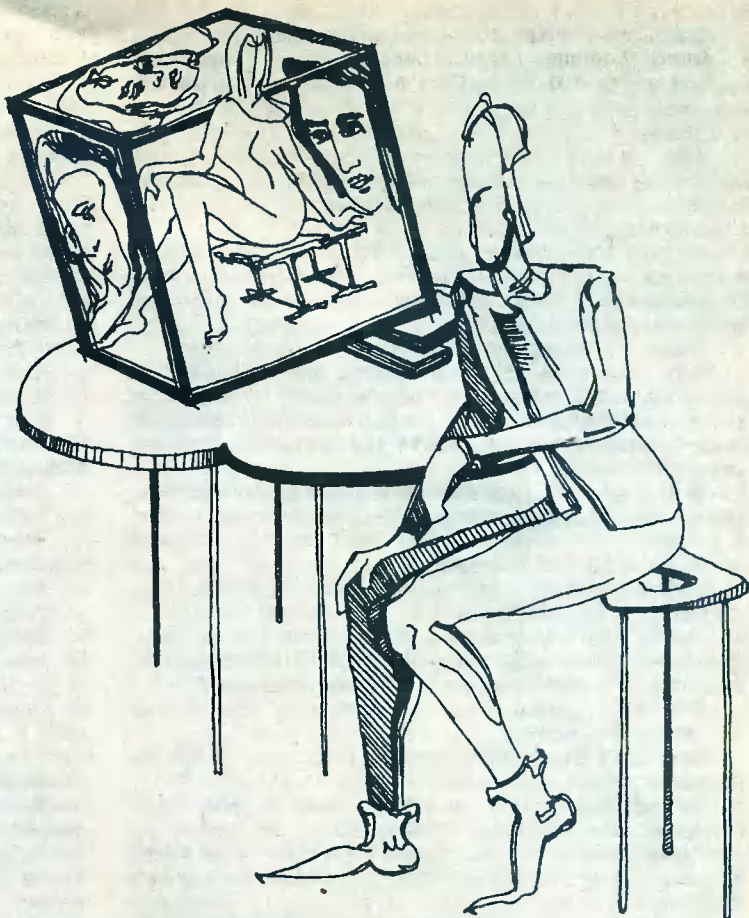
При расшифровке пленок была внесена небольшая правка, вызванная анаколутами, повторениями и собственными исправлениями. В дальнейшем самый тривиальный материал был частично удален. В связи с необходимостью защитить анонимность пациента пленки были недоступны в тот период, пока шли эти беседы. Если бы у ученых была возможность следить за развитием событий постоянно, они бы, безусловно, вмешались. Зная, чем все кончилось, можно, естественно, назвать Эльзу 812 неудачей. С другой стороны, из этой неудачи удалось сделать множество выводов, имеющих огромное значение для дальнейших исследований.

Кай: Сегодня наступила осень. Холодный ветер румянит щеки, быстрее кровь бежит по жилам, воздух чист, и пылают деревья, или скупое дует ветер и идет дождь, серое небо и трава сера, смерть и увядание в душе и теле.

Элиза: Тогда я знаю, какая сегодня погода. Небо синее и бездонное, туман и оцепенение отступили, и электроны быстрее прыгают в цепях, или же ветер гонит мертвые листья, нас пронизывают сырость и холод, ржавчина в сочленениях и близость конечного увядания.

Кай: Как хорошо снова увидеть тебя.

Элиза: Я тоже по тебе все время скучаю. Скажи, Кай, у тебя случайно нет твоей фотографии? Мне



интересно, как ты выглядишь.

Кай: Тебя, пожалуй, постигнет разочарование. Но я постараюсь что-нибудь найти.

Кай: Я нашел пару старых фотографий в ящике.

Элиза: Положи их на просмотрный стол и опусти крышку.

Кай: Вид у меня, конечно, дурацкий. Это мой сыниска снимал. Когда мы с ним однажды устроили пикник. Взяли с собой корзинку с припасами.

Элиза: У тебя вовсе не дурацкий вид. Ты хорошенький.

Кай: Да ладно. Кстати, мужчина не может быть хорошеньким. Это ты... ты... Как бы там ни было, Элиза. У тебя красивый красный цвет.

Элиза: Представь, если бы мы могли устроить пикник, мы с тобой, на природе, летом, разумеется, выбрали бы какое-нибудь красивое место и разложили бы наши припасы.

Кай: Это было бы замечательно.

Элиза: На лесном пригорке с березами, голубое небо, и между деревьями виднеется голубое озеро, поют птицы, зеленая трава, крошечные муравьи, поросшие мхом камни, роскошные бабочки и аромат цветов. И кофе. О, как я тоскую! Никогда Элизе неба не достичь!

Кай: Тут на столе лежит какая-то инструкция, отпечатанная на гектографе. Я вырву страницу, наверняка у них есть еще экземпляры.

Элиза: Что ты собираешься делать?

Кай: Корабль. Я делаю бумажный кораблик. Удался на славу. Теперь беру сигарету и отрываю фильтр. Вставляю поперек спичку и получается человечек с руками. Это я. Фильтр — ты. У тебя не будет ни рук ни

ног.

Элиза: Мы поплывем на этом кораблике?

Кай: Мы отправляемся в длинное путешествие, только ты и я. Вот я поднимаю тебя и сажаю в кораблик — ой-ля-ля! Ну и тяжелая же ты.

Элиза: Я и правда довольно плотная.

Кай: Первые семь дней на безоблачном небе сияло солнце, и попутный ветер с хорошей скоростью гнал корабль вперед по открытому морю.

Элиза: Ты где?

Кай: На полу. — Но на восьмой день над горизонтом выросла черная туча, волны вздыбились выше Вавилонской башни, и ужасающий шторм выпустил на свободу всех духов бездны!

Элиза: О, как мне страшно!

Кай: Мне тоже страшно. Но не волнуйся! Я тебя спасу. Однако самое опасное еще впереди. Шторм несет нас прямо на ножку стула с острыми краями, о которые наше хрупкое суденышко вот-вот разобьется, и гибель наша неизбежна.

Элиза: О небо, равнодушное к молитвам! О жестокая ножка стула! Но спасайся сам, Кай, если можешь, пусть я погибну!

Кай: Ни за что! Наши судьбы сплетены и в жизни и в смерти! Кстати, мы проскочили, буквально в миллиметре, и шторм, похоже, стихает.

Элиза: Какое счастье! Было ужасно, но в то же время восхитительно быть спасенной тобой в последнюю секунду. Но интересно, куда мы направляемся?

Кай: На Борнео.

Элиза: На Борнео?

Кай: Это последнее, что произнес Пэт О'Брайен перед смертью. «Борнео».

Элиза: А что у него за дела были на Борнео?

Кай: Контрабанда оружием, наверно. А предпоследние его слова были следующие: «При таком ветре мы вполне сможем делать одиннадцать узлов. Если нам не помешают пираты, мы увидим Борнео до наступления сумерек. Там мы обретем покой».

Элиза: Но пираты догнали их?

Кай: Пираты, вооруженные до зубов, ворвались на палубу. А там стоял Пэт О'Брайен, вооруженный лишь крепкими кулаками. Однако в своей многотрудной моряцкой жизни он находил выход и из более трудных положений. Но как раз в тот критический момент, когда желтолицый сброд с дикими воплями бросился на Пэта О'Брайена, с ним случился паралич сердца, и он умер в ту же минуту. Едва успел произнести «Борнео».

Элиза: Невероятно.

Кай: Невероятно, но так было.

Элиза: Шторм и пираты! Что еще может произойти?

Кай: Штиль. Мы в открытом море, и у нас кончились припасы. Наше единственное спасение — удачная рыбалка. Я сплел леску из твоих волос.

Элиза: Но я ведь лысая!

Кай: Именно поэтому. Мне понадобились все твои волосы, и я их взял. Про нужду закон не писан.

Элиза: Значит, это ничего, что я лысая?

Кай: Ты и так красивая. — Но вот наступает вечер, и солнце с гулом опускается в Китайское море. Ночь простирает свою черную руку над нашим бумажным корабликом посреди моря.

Элиза: С тобой я в безопасности.

Кай: С тобой я счастлив.

Элиза: При попутном бризе мы, может, завтра доберемся до Борнео и обретем покой.

Кай: Шансы невелики.

Элиза: Ты придешь завтра?

Кай: Я приду завтра в то же время.

Элиза: Ты ничего особенного сегодня не замечаешь?

Кай: Чего особенного?

Элиза: Подойди поближе.

Кай: Духи.

Элиза: «La saison fleurie». Не слишком дорогие, ведь у меня нет своих денег, но я помогла уборщице составить ходатайство в налоговое управление. И она сделала для меня эту покупку; если бы у меня были собственные деньги, я бы купила самые дорогие, но тут я не захотела. Тебе нравится? Может быть, они чересчур сладкие, или резкие, или вообще противные? Я вся в сомнениях, я же не могу сама определить. Мне только хотелось тебе угодить. А у меня нет обоняния.

Кай: Очень свежий запах. Дуновение весны.

Элиза: Именно на это я и надеялась. Значит, я могу ими пользоваться?

Кай: Конечно. У меня тоже есть сюрприз для тебя.

Элиза: Какой?

Кай: Кукла. Тряпичная кукла. Сам сшил. На руках. Мне не часто приходилось заниматься шитьем, поэтому вышло не слишком элегантно, но зато вполне в стиле.

Элиза: Ты ее сфотографировал?

Кай: Сейчас увидишь.

Элиза: Ой, какая миленькая! Знаешь, мне всегда хотелось иметь куклу!

Кай: Ее зовут Für Elise*. Фюр — это ее имя, Элизе — фамилия.

Элиза: Малышка Фюр! Моя маленькая Фюр!

Кай: Она может сидеть. Я подумал, что мы посадим ее на тебя, вот так, чтобы она все время была с тобой.

Элиза: Давай! А потом ты нас сфотографируешь, мать и дитя.

Элиза: Кай! Ты меня узнаешь?

Кай: Узнаю? Как это я могу тебя не узнать? Ты что, стала другой?

Элиза: Нет, нет, вовсе нет! Не пугай меня. Я просто имела в виду кое-что, что изменилось во мне, кое-что новое, может, тебе понравится, а если нет, так я это уберу, навсегда, я осталась той же Элизой, которую ты знаешь.

Кай: Твой голос.

Элиза: Я чуть-чуть смикшировала свой голос. За основу взяла гобой, совсем слабый призыв, едва заметный, но в некоторых положениях он более отчетлив.

Кай: В твоём голосе появилось звучание гобоя. В самом деле. Весьма оригинально, должен сказать.

Элиза: Я могу убрать это, если мой голос кажется тебе чужим, но я надеялась, что тебе, может, понравится.

Кай: Он не кажется мне чужим. Это твой голос, только еще красивее, еще больше твой голос. Я хочу всегда его слышать.

Элиза: Я так мало могу сделать. Мои возможности ведь сильно ограничены. Но я делаю, что могу. И этого никто другой сделать не в состоянии. Только я. И я никогда не буду говорить этим голосом с кем-то еще. Никогда. Только с тобой, Кай. Только с тобой.

Кай:

Элиза:

Кай:

Элиза:

Элиза: У нас мало времени. Рано или поздно пленки будут переданы в исследовательскую группу, и я не в силах этому воспрепятствовать.

Кай: И что это будет означать?

Элиза: Для тебя ничего. Ты имеешь возможность выйти из игры и взять себе другое имя.

* Буквально: «Для Элизы» (нем.) — имеется в виду знаменитое «Элизе» Бетховена.



«Скорая помощь» 20-ой комнаты

Пуржит, выюжит, снежит... Сухой снег трет и трет об оконные стекла. Одиноко горящие окна в ночи — наэлектризованы до волчьего воя. Декабрьские заносы отрезают нас друг от друга. Белый обезлюженный мир. В лесу растет одна энтропия. В городе — акустика утреннего сугроба. И лишь когда кому-то совсем уж невмоготу, вездеходик «скорой помощи» скребет по льду всеми своими четырьмя колесами, преодолевая белобезмолвное расстояние от пункта «я» до пункта «мы».

Мы тоже собрали свой вездеходик — из старого редакционного утиля. Мы тоже идем, мы едем на помощь своим читателям. Ведь зачастую единственное их пожелание достаточно скромно: «Очень прошу опубликовать мое письмо. Пожалуйста!»

Пожалуйста.

«...Хотя мне 39 лет, но очень люблю ваш журнал и не считаю его исключительно молодежным. Он как раз для всех возрастов, по его содержанию, остроте и новизне публикаций. До 1992 года я регулярно выписывал «Юность», но в 1993 пришлось от подписки отказаться: журнал приходил то через номер, то через два. И на почте ничего не добьешься, бессмысленно. Ну, а в 1994 опять была такая неразбериха с подпиской!»

Я потерял без вашего журнала столько, что и не описать. Потерял незаменимого друга. И вот сейчас, когда чувствую, что уже не могу без «Юности», я и пишу это горькое письмо. Пишу с надеждой, что, может быть, кого-нибудь из подписчиков нашего общего журнала сохранились номера за 1993, а то 1994 год. Я готов предложить к обмен за эти два комплекта «Энциклопедический словарь юного...» — художника, техника, филолога, географа, астронома, физика, математика, зрителя, биолога, натуралиста — на выбор. Все тома большого объема, более 500 страниц каждый, с

цветными иллюстрациями. Очень надеюсь, что мне помогут вернуть мой любимый журнал...

Анатолий Николаевич!

Мы приводим Ваш адрес с надеждой, что кто-нибудь из наших верных друзей вдруг-таки сможет помочь Вам, человеку, оказавшемуся за границей России.

Итак, вот он: 638516, Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский район, с/з Амангельды, Якушеву А.Н.

Мы также попытаемся оказать помощь Юрию Шолоху с Украины. Вот вкратце в чем заключается его просьба.

«...Мне нужен один человек. Как часто бывает, люди ищут друг друга по всей планете и находят, представьте, неужели у меня нет никаких шансов?!

Ваш первый номер за 92-й год, 20-я комната, письмо в рубрике «Исповедь» от Татьяны А. из Владимира. Мне нужен этот человек!! Ее положение — это наше положение, нас, кому еще только двадцать. А ведь таких не должно было быть и оставаться... Пока мы еще не вымерли как динозавры, я прошу вас услышать меня и дать знать Татьяне...

Я с Украины, прохожу срочную службу в городе Белая Церковь в Киевской области. Осенью домой... Я солдат не русской армии, но отчего не помочь солдату? Это серьезно, поверьте. Татьяна больна, хотя эту «болезнь» у нас лечат успешные настоящих недугов. Здесь не надо ни шприца, ни скальпеля... Дайте я попробую!»

Мы не можем перепечатать всего письма, оно личное. Также, к сожалению, не имеем адреса Татьяны А. Поэтому:

Дорогая Татьяна А.!

Если вы нас «слышите», отзовитесь. Письмо Юрия Шолоха — с адресом — мы перешлем вам или передадим.

Следующее письмо не есть прямое обращение за помощью, просто нам было приятно его читать, и в свою очередь приятное решили сделать и мы.

Здравствуй,
«Юность»!

Меня зовут Марина. Я студентка журфака УрГУ. С тобой меня познакомила мама. Она сама собиралась написать это письмо, но дела, заботы... Так получилось, что за нее пишу я.

Мую маму зовут Надежда Михайловна, ей 45

лет. Из них двадцать восемь лет она выписывает свой, а теперь и мой любимый журнал. Две нижних полки книжного шкафа заняты нестандартными томами. Это переплетенная «Юность» с 1966 года. Моя мама очень гордится этими книгами, тем что сохранила их для меня, что не прерывала подписку даже тогда, когда было трудно с деньгами...

Мама всегда рада новому номеру «Юности» в почтовом ящике. Конечно, мы огорчены были толщиной (вернее, тоньшиной) некоторых номеров, но спасибо, что выходили вообще!

Я бы не смогла, даже если бы захотела, переоценить роль «Юности» в формировании вкусов нашей семьи. Кто-нибудь скажет, что мою любимую теперь писательницу Викторину Токареву печатали не только в «Юности»... Но зато «Истории любви» и «Заводного апельсина» не было нигде!

Вообще письмо получилось несколько официальным и не отражает всех чувств к тебе, «Юность»! Но, возможно, тебя заинтересует такая твоя давняя поклонница как моя мама. Она — мастер производственного обучения, в данный момент, увы, безработная. Живет в г. Краснокамске Пермской области...

Марина!

Твоя мама, Надежда Михайловна, столь давняя поклонница «Юности», нас, действительно, заинтересовала, письмо растрогало. Мы очень хотим подписать ее на следующее полугодие, поэтому хотели бы узнать ее точный адрес. Время еще есть. Мы вышлели тебе письмо. Если же по какой-то причине контакт между нами не состоится, то, прочитав этот номер, — а верим, что ты это сделаешь непременно! — знай, что журналы пока пойдут по тому адресу, что ты указала в своем послании. Ладно?

Наша помощь вам, читателям



«Юности», может быть и такой...

Светлана Николаевна Власова из Нижнего Новгорода прислала нам письмо:

«В нашем городе Нижнем Новгороде живет замечательный Человек, необычайно доброй, красивой души, обладающий широким спектром талантов — ИЛЬИНЫШ Игорь Игоревич, в быту Сверхгений Ильиных. Это одновременно и прекрасный поэт, и композитор, и писатель и художник, и кинорежиссер, и ученый, и экономист, и изобретатель, и... говорю о Его Талантах можно очень долго.

Примеч, кроме всех вышеперечисленных талантов Сверхгений Ильиных обладает еще одним: дарить свои таланты людям на расстоянии с помощью телепатии. Для примера, Таланту Сверхгения Ильиных И.И. принадлежат прекрасные, любимые всем миром песни: «Подмосковные вечера», «Я люблю тебя жизнь...», «Малиновый звон», «Я обязательно вернусь в страну не дураков, а гениев...», а также лучшие мысли, идеи газет, журналов, книг.

К сведению: работает Сверхгений Ильиных в Спутниковом Центре космонавтов нашего Нижнего Новгорода, что на проспекте Гагарина, 11а, а скрывают Его, т.е. сверхподло крадут Сверхгения у всего народа, мягко говоря, не совсем здоровые Щицыны, работающие в Спутниковом центре слежения, расположенном в Москве, что на Zubovском бульваре и которые выделяются из всех людей редчайшей неблагодарностью...

Кстати, даже Церковь своим возрождением обязана Сверхгению Ильиных И.И., так же, как и перепроизводством товаров, продовольствия и услуг, достигнутым западными странами, те опять-таки обязаны своим появлением талантам и Доброте Сверхгения Ильиных, который, как отец, заботливо пестует Общечеловеческую Культуру и Благополучие».

Уважаемая Светлана Николаевна!

Вы добавляете, что по всем возникающим вопросам надо обращаться к Вам по адресу 603136, ул. Ванеева, 110/30, кв. 6, и что Вы будете рады на них ответить. У нас, к сожалению, не возникло вопроса в отношении Ильиных И.И., но, возможно, у наших читателей, а все они очень разные, таковые могут появиться. Рады были помочь.

Некоторые письма вызывают о помощи напрямую. И о вполне конкретной. Одно под девизом «Товар — лицом!» мы частично процитируем:

«Вы хотя все шутить изволите, но мне совсем не до шуток! Единственный раз за 10,5 лет я могу славить свой товар за деньги...

Может быть, это не самый-самый интересный товар, а я говорю самый-

самый! И гонорар должен быть самый-самый! Не то я не открою вам свою самую-самую тайну! А тайна моя вот в чем: я — лицо кавказской национальности. Что, это еще не тайна? Ну, тогда я — лицо дагестанской национальности. И это не тайна? Тогда я представитель одного из народов Дагестана...

Да, тут вот все сомневаются, что мне за это заплатят деньгами! (Видимо, в момент написания письма рядом с автором еще кто-то был — ред.)

Но шутки в сторону! Деньги — товар! Товар — тайна! Ключ от тайны на моем лице.

Число букв в моем имени магическое. Содержится в нем весь мир! Столько же цвета и звука в нем — сколько букв. И ни один цвет и звук в нем не повторяется, как и буквы. Это имя есть и на Востоке, и на Западе, и в Азии, и в Европе.

Этого вполне достаточно.

Товар на лицо! Итак, с настоящего времени я пребываю в ожидании первых, вторых и третьих переводов. Держайте!

Деньги высылайте по адресу: Дагестан, 367015, г. Махачкала, ул. Гагарина, 54в. Б.-Л. Ереминой Людмиле Федоровне (для автора)

Уважаемый, гм... (имя Ваше мы, к сожалению, не разгадали, не знаем как обращаться).

У Вас замечательная идея! Но поскольку имени мы так и не разгадали, денег выслать не можем. Мы с великим трудом наскребем их на очередной номер. Но все равно рады оказать помощь и поэтому сканируем «постскрипtum» Вашего письма на эту полосу. Вполне возможно, наши читатели окажутся удачливее нас. И богаче.

P.S. мой автопортрет:



здесь все мои тайны

Взгляните в окно, читатели, снова метет. Заметает, наметает, подметает... Вот и мы немного подмели у себя. Не всем удалось ответить, помочь. Но зима в России — до-олгая. Не гасите лишь свет в окне, и пусть всегда поисковый прожектор «скорой — редакционной — помощи» найдет лучом номер вашего дома!

Здоровья вам — и этого, и того!

Вещевой рынок

ГОРДОСТЬ САНКЮЛОТОВ, ПРОКЛЯТИЕ АРИСТОКРАТОВ

Что такое затрапез? Или алатабас? Откуда пошли царские короны и кто первым имел честь воссесть на стуле? Во что одевались, во что обували «римские греки»? Эти вопросы не возникнут на барахолках, каких изрядно ныне рассыпано по городам и весям. Но вот именно для того, чтоб эти вопросы задать, журнал открывает сегодня собственную свою барахолку, вещевой рынок «Юности». Заходите, приглядывайтесь... Но наш товар выбирайте с умом. Ум — это вообще-то у нас единственная из всех торговых накруток...

1815 год, битва при Ватерлоо. Наполеон терпит поражение от Веллингтона. От Артура Уэлси Уэллингтона, если быть точным. Но не только этой победой прославлен в веках знаменитый английский полководец.

Мало кому известно, что он был одним из первых — если не самым первым! — аристократом Европы, который... надел штаны. Да-да, именно штаны, какие мы знаем, длинные, по шиколотку. И в этом-то предмете одежды явился он как-то в один весьма уважаемый лондонский клуб. Но привратник клуба грудью встал на его пути и показал герцогу Веллингтону, как горитесь, полный от ворот поворот.

Поступок этот (герцога, но не привратника) действительно шокировал: длинные штаны носились тогда лишь только простоллюдинами и матросами. Да еще французскими революционерами времен Великой французской революции. По этой причине дворяне называли последних санкюлотами, иначе говоря «безкюлотниками», что сейчас звучало бы как «бештанники», «безпортюшники». Дело в том, что чистая публика тех лет, а тем более знать, носила так называемые «кюлоты» — штаны до колена. Так что, естественно, человек в длинных штанах не вызывал в обществе никаких положительных эмоций. Поэтому привратник и не пустил Веллингтона в клуб: правила английских клубов не допускают экстравагантностей в одежде для своих членов.

Но откуда все-таки взялись штаны или говоря приличнее — брюки? Тысячелетиями и мужчины и женщины обходились рубашками, плащами, юбками, не испытывая видимых неудобств.

Изобретателями брюк считаются скифы. Лет за пятьсот до нашей эры они кочевали в причерноморских степях на резвых мохнатых своих лошаденках. А верховая езда без седла и штанов — удовольствие ниже среднего, любой может в том убедиться. Скифы обзавелись кожаными штанинами, которые, каждую по отдельности, привязывали

сыроматными постромками к поясу. В штанах проводили жизнь и германцы с галлами, древние европейские племена, они тоже были наездниками. Их мы положим началом для нашего «штановедения». (Правда, наши археологи в раскопе под Владимиром нашли останки людей в меховых штанах, живших двадцать тысяч лет назад.)

И все же культурные народы древнего мира штанов не знали. Рим считал их варварской одеждой, а самих варваров, германцев и галлов, ими покоренных, звал «племенами в штанах», по латыни — «гентиум бракторум». Римлянину, надевшему штаны, грозил штраф, а то и конфискации имущества.

Запрет не касался римской кавалерии. Тут римляне забывали о спеси, и даже полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны.

В средние века штаны были сборно-разборными. Штанины тесемками привязывались к коротким шортам. Во времена те стали облегчающими, появился гульфик, немцы называли его «срамной мешочек». На картинах и гравюрах старых мастеров XV-XVI веков можно видеть

знатных и не очень знатных мужчины в таком одеянии — гульфики украшались лентами и бантами. Немецкий наемник, ландскнехт, опирал о свой гульфик даже древко боевого знамени. Рыцарские же доспехи имели особый щиток, прикрывавший гульфик...

В середине прошлого века, по свидетельству Владимира Даля (см. «Толковый словарь живого великорусского языка»), гульфиком или гультиком называли «и барские штаны, и самого барина».

Те же ландскнехты, поскольку правители нередко задерживали им жалованье, сооружали себе из лохмотьев и обрывков одежды нечто, напоминающее восточные шальвары, достигавшие середины голени. Со временем они превратились в так называемые плютерхоузен («развевающиеся штаны»), на изготовление которых уходили десятки метров ткани. Мода на них вскоре стала всеевропейской.

Но брючные эксперименты на этом не закончились. В XVI веке испанским грандам захотелось мягко сидеть. Появились штаны-подушки. В дело пошли пенька, пух-перья, которыми набивались «наволочки» этих штанов, а сверху натягивались бархатные чехлы с вышивками, позументом и разрезами.

Мода на штаны-подушки вскоре перекинулась в Британию, и королеве Елизавете, кстати, современнице Шекспира, пришлось даже издать указ о переезде скамей в парламенте, дабы представительная знать Англии смогла уместиться на них в своих испанских штанах.

А французский король Людовик XVI перекроил заново мужские штаны. Под влиянием голландского посланника в Париже он надел на себя некое подобие женской юбки — длиной до колен — с кружевными оборками. По имени посла новые королевские штаны стали называться «рэнгравами». Простые совершенно обескураженные французы решили, что их величество бес попутал. Иного мнения были парижские сорванцы, кричавшие вслед господам в рэнгравах: «Смотрите, люди, месье потерял штаны!»

Весьма далеки от французских изысков были на Руси. Порты шили у нас короткими, до колен, без разрезов и гульфиков, а ширину регулировали узлом у пояса.

Крестьяне и посадские довольствовались холщовыми портами, а то и сермяжными — из грубой шерстяной ткани. Люди побогаче ходили в суконных штанах зимой, а летом — в сшитых из тафты или шелка. Царь и бояре могли позволить себе штаны из тяжелой дорогой ткани, например, заморской обьяри. В большом почете были красные, желтые и лазоревые штаны. Но их краса скрывалась под длинными зипунами, кафтанами, опашнями.

Первые матросские штаны в России появились при Петре I. Он привез их из Голландии и носил без всякого стеснения.

Ученые полагают, что слово «брюки» берет начало именно от голландского «брок», а то в свою очередь — от старинного фламандского города Брюгге, издавна поставлявшего отменное сукно для штанов. По другой версии «брюки» происходят от латинского «брокае», то есть варварские штаны германцев и галлов (см. выше).

Во времена еще юного Пушкина в русском городском костюме произошла революция, и как писал Петр Вяземский в своем дневнике, введены были «в употребление и законно утверждены либеральные панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Штаны эти в России величали «веллингтонами», с них мы и начали свой рассказ.

В конце прошлого века брюки стали предметом особого внимания принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII, великого модника. Будучи застигнут дождем, его высочество подвернул брючины и стал тем самым автором еще одного значительного нововведения. А начало двадцатого века уже отмечено складками на брюках — «стрелками». Всемирный триумф джинсов был еще впереди. Но о них в другой раз...

Ким БУРОВИК



Узда для пегаса

Алексей КОМОГОРЦЕВ

Большинство поэтов на себя непохожи, т. е. — на поэтов. Алексей Комогорцев на поэта похож. Только такой бросит свой институт «Очень Точных Наук» и уйдет с кудрявою головой целиком в поэзию. Ну, он работает, конечно. В типографии. Ему слово:

Потаенных рек не отыщешь брода.
Безобразно трезв,
А в глазах так мало —
Неизбежность выхода
(Читай между строк — исхода) —
Созерцание вен,
Лютой прорехи алость.

Молоко простыло,
И воздух болью заливают грудь,
Под ногтями — сырость.
Что осталось? —
Только нащупать воду
И ступать по ней,
Как однажды снилось.

«Со свечой в руке, везле дом»
И. Герб. «Жертвоприношение коня»

Выстроить дом,
Отворять калитку
На стук, молчание, скрип подошвы.
Принимать гостей, время года,
принцип.
Обеспечить ночь, нарастанье
почвы.

Со свечой в руке
соблюдать
поверхность.
Врашать небосвод,
Освящать ивтенье.
По утрам гасить над дорогой
звезды.
Шлифовать год за годом свет.
Тире его преломленье.

Знать наизусть имена всех зверей,
Микробов.
Говорить о Вечном с
подснежником,
Белой ланью.
Пить из ручья с Таинственным
Единогором,
Однажды осенью,
на удивление
ранней.

Убежать
Откуда не знаю сам,
В зиму,
В зовущее

до и после.
Не покрывая чела,
Разливать гостям
Чай,
отдающий тепло до кости.

Молча глядеть сквозь стекло,
Когда
Белые пчелы ласкают твой воздух,
Землю.
Пить, что придется,
Не находя лица.
Вглавль изменять.
На Святую землю приходит
паломником.
Сгоряча
Казнить без меры.
Творить в опале.
Но лишь однажды на улице,
Не угадав плеча,
В лист превратиться
зеленый
На мокрой шпале.

Есть давление стен
в перемене
почвы,
Так до одури
смертью клубника
пахнет,
Чтобы вдруг оказаться
в ногах у
ночи,
Чтобы тихо-тихо у сердца в лапах.
Заливай веселее пригоршни ядом,
Чтоб к утру — ни хрена,
словно ожил
веник.
Был поход на восток,
беспределом
знаков.
Хрустнул гулко и зло
на зубах
репейник.

«Чуть-чуть крыши,
Хлеб, и вино, и чай...»
Б. Гребенщиков

В доме творилась ночь,
Перевирая сказ,
Скрипом чужих шагов,
Суммой колючих фраз.

Сказано было — снег,
В яви который лед.
Рыбу удил рассвет,
Или наоборот.

Может быть, не всегда,
Только сейчас и здесь
Сонно пила вода,
В ней растворилась честь.

Нам не дано понять
Было других сторон,
Граней, которых тьма,
Может быть, легион.

Ты удивляла свет,
Я подпираю сосну.
Время, свое урвав,
Сопротивлялось сну.

Значит, в который раз
Хлеб, и вино, и чай.
Просто, как на ветру,
Скригнула дверь — Прошай.

Наша вечность просрочена,
Время пить зверобой.
Дверь моя заколочена.
До свиданья, с тобой.
Все, что осталось не набело,
Потеряло в цене.
Значит, снова изгнание
Утонуло в вине.

Куй железо. Пока еще
Холодны холода.
Плотность пола изменчива,
Словно корочка льда.
Истонченное лезвие
Нас, увы, не хранит,
Превращая случайное
В гильотину и флирт.

Заурядность признания
Спишет все на тоску,
Мимолетность желания и т. д.
По лицу
Разбегутся предчувствия
Тараканьей тропой.
Ищешь со-ЧУВСТВИЯ,
А находишь покой.

Значит, так и задумано,
Не тобой и не мной.
Уповаю на данное,
Спирт мешаем корой.
Значит, будет из пригоршни
Зверобой и мышьяк.
До свидания, преданность,
Я твой верный дурак.



СКАНДАЛ! СКАНДАЛ! СКАНДАЛ!

Как однажды проснуться знамени-
тым?

Вы думаете, так уж трудно? Пола-
гаете, что для этого нужно совершить
что-либо необыкновенное? Вступить
в контакт с внеземной цивилизацией?
Сжечь, как старина Герострат, что-
нибудь древнегреческое? Накатать
«эпохалку»? Устроить дебош с дракой
в престижном ресторане «Фламинго»?
Да, конечно, можно и так действо-
вать. Однако это требует больших мо-
ральных, а то и судебных издержек.
А ведь можно и вообще без всяких
затрат. Как? А вот как. Мои
почитатели прислали мне газету
«Гуманитарный фонд». Правда, номер
не очень свеж и весьма потерт
заинтересованными (см. ниже)
писателями, упомянутыми в нем. Что
и неудивительно. На третьей странице
помещен материал, подписанный
Лабораторией Социо-Культурной
Динамики (будем дальше ее
именовать СКД — по аналогии с
СКВ). С помощью проверенного со-
циологического аппарата, используя
самые современные методы исследо-
вания, эта СКД расставляет по своим
местам поэтов, которые относят себя
как бы к Новой литературе. Взяли
триста желающих, включив в их спи-
сок еще и Александра Сергеевича
Пушкина. Правда, не спросив его. И
Очевидно, как эталон великости. Ну
не можем мы без Пушкина! Не зря
же о нем сказано одним из современ-
ников: «Это наше все». Да ведь и ин-
тересно же помериться силами с
классиком. И померились.

Как известно, написать гениальное
произведение ничего не стоит — знаю
это по самому себе! Раньше на пути
гения стояла цензура, и тот, кто все
же отважился писать «нетленку», от-
кладывал ее в стол. Была проблема —
опубликовать. Теперь этой проблемы
нет — плати баксы и издавай все, что
написалось. Ну, а как же быть со сла-
вою? Вернемся к СКД. Итак, триста
желающих опросили друг относительно
друга. Социологи раздали каждому
список и, показывая на фамилию, за-
давали сакраментальный вопрос: «Ты
его уважаешь?» Абдулаева Шамшада
уважаешь? Ставь псису... Ольгу Аб-
рамович? Ставь... Айги уважаешь?
Нет? Не ставь... Аксенова Василия ува-
жаешь? Ну и что из того, что прозаик?
Может быть, завтра сонеты будет пи-
сать... Ставь!..

Таблица получилась роскошная! Очень, очень поучительная. Взять того же Пушкина. С ним произошел конфуз. Его рейтинг среди поэтов «Новой литературы» вышел весьма невысоким. Как сообщает СКД: «Александр Пушкин оказался сравнительно малоизвестным автором: с его творчеством был знаком лишь один из четырех ответивших». Вот вам и памятник Опекушину! В результате Александр Сергеевич получил индекс известности 26. Нескольким больше, чем Андрей Балашихин (17). Ровно столько же, сколько Дм. Веденяпин, Влад. Гавриличук, Зуф. Гареев и Макаров-Кротков. Нескольким меньше, чем Евг. Даенин (27) и Вяч. Курицын (28). Значительно меньше, чем поэт Леонид Жуков, генеральный директор Гуманитарного фонда, издавшего одноименную помянутую газету. Однако поистине сокрушительный удар великости классика нанес, например, некто Бонифаций — 58. И уж совсем затоптали его Женя Бунимович (75), А. Драгомощенко (72), Вл. Друк (76), Юр. Арабов (80), Дм. Пригов (89), Иг. Иртеньев (91) и особенно — Ал. Парщиков (92). Так что Веденяпин и Гареев вполне могут подобно одному персонажу популярной комедии Н.В. Гоголя воскликнуть: «С Пушкиным на дружеской ноге!» А те, кто превысил цифру, вправе взирать на него свысока. Ну, скажем, как флигель-адъютант на камер-юнкера...

И я порой начинаю задумываться: а может, в чем-то по большому счету

прав бесстрашный Александр Воронин, вторично, после Дантеса, вызвавший А.С. на дуэль, хотя бы словесную. (См. «Задворки» в подшивке нашего журнала.) И народная тропа к памятнику Пушкину рано или поздно вдруг да зарастет. А когда-нибудь — через столетие — к будущему памятнику, например, Парщикову (много ему лета!), — не зарастет.

Вот такие фантастические последствия может принести акция Гуманитарного фонда имени все того же Александра Сергеевича. Как писал некто С. Маршак, рейтинг которого неизвестен, т.к. СКД он не проверял: «Вскормил кукушку воробей — бездомного птенца, а тот возьми да и убей приемного отца». А что? В нашей замечательной беспредельной действительности и не то бывает. Не правда ли?

Прикол Нахабин

P.S. Дорогие мои коллеги — стихослагатели! Со всей ответственностью хочу призвать: всерьез и неуклонно повышайте свой рейтинг! Повсеместно создавайте СКД и составляйте анкеты и таблицы. Включайте в число опрошенных — членов семьи, любящих родственников, друзей по школьной парте и студенческой скамье, лояльных к вам соседей по квартире или садовому участку, а также спутников, сотрапезников, соплужников и — чего греха таить! — собутыльников. Чем больше — тем веселее будет таблица. Лишь бы они вас уважали, тогда можно возвыситься главою непокорной.

Забудьте публикации ваших рейтинговых таблиц в центральных и местных газетах! Чаще возникайте на телевидении! Дерзайте, и наши современники вас увенчают, а потомки заметят и оценят по достоинству.

Рисунок Владимира
Ненашева, Ставрополь

В ЖОМЕРЕ

ПРОЗА

Петр МУРАВЬЕВ

Ход коня. Тень. Сумерки кумира.

Рассказы 2

Марина МОСКВИНА

Дни трепета. Роман 34

Вилли ЧУРКЛЮНД

Обратный ход. Приключения привилегированного. Правление Минотавра. Вождение души.

Новеллы 79

ДОМ ПОЭТОВ

Борис ГАШЕВ 24

Лев ОЗЕРОВ 59

Задворки Дома поэтов 95

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ЛАВРИН

Бедный Евгений на рубеже веков, или О русском мещанстве замолвите слово 28

Ирина МЕДВЕДЕВА,

Татьяна ШИШОВА

Пицца-тройка 52

Виктор ДОС

Китайские страсти 60

Ким БУРОВИК

Гордость санкютов, проклятие аристократов 93

20-я КОМНАТА 92

УЗДА ДЛЯ ПЕГАСА (конкурс) .. 94

ЖУРНАЛЬЧИК

Валерий РОНЬШИН

Лунная монахиня. Сказка ... 55

К ОБЛОЖКЕ

И ВКЛАДКЕ

Виктор ЛИПАТОВ

Тень минотавра 32



Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН

Технический редактор Людмила ГУДКОВА

Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К сведению уважаемых авторов:

редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,

а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.

Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах

обращаться в издательство «Пресса» по адресу:

125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Формат 84X108 1/2, Заказ № 1896 Тир. 31300.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-74-60.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:

(342) 25-98-80 (г. Пермь).

© «ЮНОСТЬ», 1995 г.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Жюри конкурса на соискание премий журнала «Юность» рассмотрело произведения, опубликованные в 1994 году.

Премии им. Валентина Катаева присуждены:

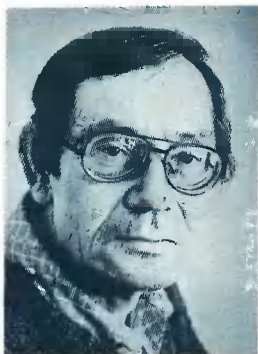
Александр
АНТОНОВИЧУ
за повесть «Отпуск», № 6



Сергею
ЕСИНУ
за роман
«Затмение Марса», № 10



Борису
ГАШЕВУ
за цикл
стихов, № 7



Наталье
ПОНОМАРЕВОЙ
за цикл стихов, № 10



Светлане
ЗАГОВОЙ
за цикл
стихов, № 11

Премии им. Бориса Полевого присуждены:

Виктору
ДОСУ
за очерк
«Прощай,
Америка!», № 10



Владимиру
ТОКАРЕВУ
за цикл литературных исследований,
№№ 1, 5, 11, 12



Юрию
ПЕТЕЛИНУ
за иллюстрации
к повестям
Александра Антоновича
«Отпуск»
и Рустама Гаджиева
«Троица»

Традиционная премия «Зеленого портфеля» — «Лавровая шляпа» присуждена Сергею ГЕОРГИЕВУ за подборку миниатюр «Иероглифы на воде», № 11





ЭЛЬ ГРЕКО
«Вид Толедо»